

1989. № 2 (26)

ФЕВРАЛЬ

РОДІННИК

ISSN 0235—1412

ПРОЗА,

ПОЕЗИЯ,

ДРАМАТУРГИЯ,

КУЛЬТУРА,

ПУБЛИЦИСТИКА,

КРИТИКА



РОДНИК

«АВОТС» («РОДНИК») ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ ДЛЯ МОЛОДЕЖИ НА ЛАТЫШСКОМ И РУССКОМ ЯЗЫКАХ. ИЗДАНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА ЛКСМ ЛАТВИИ И СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ ЛАТВИЙСКОЙ ССР. ВЫХОДИТ С ЯНВАРЯ 1987 ГОДА. ИЗДАТЕЛЬСТВО ЦК КП ЛАТВИИ, Г. РИГА.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

АЙВАРС КЛЯВИС
(главный редактор)
ЯНИС АБОЛТИНЬШ
ВИЛНИС БИРИНЬШ
(ответственный секретарь)
ИЛМАРС БЛУМБЕРГС
ГУНТАРС ГОДИНЬШ
(редактор отдела)
МАРИС ГРИНБЛАТС
ЭДВИНС ИНКЕНС
ВЛАДИМИР КАНИВЕЦ
(заместитель главного редактора)
ПЕТЕРИС КРИЛОВС
ЮРИС КРОНБЕРГС
ЯНИС ПЕТЕРС
БАЙБА СТАШАНЕ
АДОЛЬФ ШАПИРО
ВИЕСТУРС ВЕЦГРАВИС
ИМАНТС ЗЕМЗАРИС

РЕДАКТОРЫ:

ТАТЬЯНА ФАСТ
РУДИТЕ КАЛПИНЯ
АНДРЕЙ ЛЕВКИН
НОРМУНДС НАУМАНИС
ЭВА РУБЕНЕ

КОНСУЛЬТАНТ ПО ПОЭЗИИ

АМАНДА АЙЗПУРИЕТЕ

КОНСУЛЬТАНТ ПО ПРОЗЕ

АЙВАРС ТАРВИДС

КОРРЕКТОР

ЕЛЕНА ЛИСИЦЫНА

ПЕРЕВОДЧИК

ДАЛИЯ ТРУСКИНОВСКАЯ

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ РЕДАКТОР

САРМИТЕ МАЛИНЯ

ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕДАКТОР

ИНАРА ЮРЬЯНЕ

ЛИТЕРАТУРА

- Миервалдис Бирзе. Введение (2)
Лалита Муйжниеце. «Следы» (3)
Гунарс Салиньш. «Смысл и бессмыслица в новой латышской поэзии» (14)
Юрис Кронбергс. Стихи (18)
Евгений Звягин. «Психосветовое воздействие эрмитажных дворов» (20)
Владимир Френкель. Стихи (22)
Гайто Газданов «Счастье» (25)

КУЛЬТУРА

- «Архитектура, как способ общения» (32)
Рита Лайма Криевиня. «PepsiCo» (38)
Айна Балгалвис. Фотографии (40)
Гагик Карапетян. «Питер Брук: «Точка отсчета»» (44)

ПУБЛИЦИСТИКА

- Висвалдис Ламс. «Твоя земля горит . . .» (49)
Анна Леиня. «Беженцы» (54)
Оярс Я. Розитис. «Легко ли стать латышом на чужбине?» (60)
Эва Рубене. «. . . и мечту свою — Латвию» (66)
Рита Лайма Криевиня. «Воспоминание о Латышском учебном центре имени Яниса Риекстиньша» (68)

ЛИТЕРАТУРА

- Банюта Рубес. «Танго Лугано» (71)

Рукописи принимаются отпечатанными на машинке в двух экземплярах, не рецензируются и не возвращаются.





Одна из латышских дайн звучит так:

Красиво поет соловей
На молоденьком кусточке,
Горько плачут те детки,
У кого ни отца, ни матушки*.

Во времена создания дайн этические требования нашего народа были уже столь высоки, что песенного покрывала хватало укрыть и слабые плечи сирот, чтобы согрелись, немного хотя бы, их души. Малолетний сирота для общества явление не вполне обыденное. Массовое сиротство вызывается катастрофами, землетрясениями. Но в Латвии много сирот (особенно таких, у кого нет отца) появилось после 17-го июня 1940 года, когда в Риге, на привокзальной площади — как мы это видим на старых фотографиях, — появились белые, чистые лошади, которые таскали за собой орудия. «С этого дня на нашу землю вступают советские войска» — сообщил Карлис Улманис. Число сирот в Латвии заметно возросло и после 1-го июля 1941 года, когда в Риге, на улице Бривибас вновь появились орудия, в этот раз — за трехосными тягачами. Печально, но истина такова, что в это первое июля те, кого вдовами и сиротами сделали высылки и аресты 1940/41 годов, называли торжествующих, победно улыбающихся немцев освободителями, и даже поэтесса Рута Скуиня занесла в записную книжку: «Великое ликование. Рига спасена». Упрекнешь ли за это вдов и сирот! Особенно после того, как во дворе Центральной тюрьмы была вскрыта могила с телами расстрелянных после начала войны. И еще печальнее, что во время немецкой оккупации, а иногда еще и сегодня, призрачные тени вагонов с высланными в 1941 году не дают увидеть многочисленные холмики массовых захоронений немецкого времени.

Итак, в 1940 году, с установлением советской власти, в Латвии растет число сирот, возникает противоестественное, разрушительное для нации поколение сирот.

Публикуемые ниже фрагменты взволнованного рассказа о жизни писала одна из тех, у кого в 1940/41 годах был отнят отец: дочь журналиста, писателя и, до 7 января 1941 года, Комиссара Народного образования ЛССР Юлииса Лациса, Лалита Муйжниеце, живущая в США. Отец вспоминал лицо девочки до своей голодной смерти в Астраханской тюрьме, 15 декабря 1941 года; дочь об отце узнала от матери, умершей в изгнании поэтессы Руты Скуини, поскольку в ТУ ночь была еще слишком маленькой. Поэтому свое повествование Лалита Муйжниеце строит по рассказам матери, материнским заметкам, письмам отца, официальным документам

того времени. Образуется мозаика, кусочек трагической панорамы. Все же и без таких красочных камешков памяти, без осколков сведений о временах, отвергших основных моральных ценности, не будет полной панорамы истории латышского народа.

Черный автомобиль преследует девочку во снах, он проскальзывает даже между ветвями деревьев, от него не избавиться: черный автомобиль НОЧЬЮ (рекомендация генерала Серова) увозит ее отца. После ребенок мечтает о его возвращении и словно бы даже предчувствует, как будут скользить купленные в магазине господина Мейера саночки, которые потащит за собой отец. Но господина Мейера, с желтой звездой на груди уже выпихнули с тротуара на середину мостовой. Ребенок воспитан и знает, что делиться с другим надо даже орешком. А мама ругает за то, что он протянул яблоко еврейскому мальчику: мать боится, что за человеческое милосердие можно поплатиться своей жизнью!.. Сосед презрительно плюет девочке под ноги, а подружка говорит, что мама с ней играть не разрешает, потому что она — дочь комиссара. Кто же виноват, что слово «комиссар» связывается с черными автомобилями ночью, с могилами, сокрытыми в лесу, с зарешеченными вагонами, из окошек которых, как голуби надежды, выпархивают белые записки. Некоторые из них достигнут адресата, большая часть останется на насыпях и пожелтеет осенью вместе с травой; и так, вместе с бумагой, рассыплются слова и в слова вложенные чувства. Навсегда.

Кто виноват в том, что матери приходится горько вздохнуть: «Чтобы нас не увезли в Сибирь, нас увезут в Германию». До сих пор слышим фразу: «Обманутые вражеской пропагандой, они покинули родину». К сожалению, в этих словах есть и своя правда, пусть даже парадоксальная: нашими врагами были ведь и те, кто составлял списки и с точностью генштаба отправлял длинные эшелоны невольников и невольничьих детей на Восток и на Север. Только врагами могут быть названы те, кто в 1940/41 старался срезать верхушку народного дерева — его интеллигенцию, методично продолжая это еще и годы спустя после последнего залпа войны.

А отец! Юлиис Лацис в письмах из тюрьмы вспоминает, как на грядках клубники весной сквозь пожухшие листья зеленеют листья новые и прибавляет: «Это испытание меня закалило, и я уверен, что войду в новую жизнь сильным и смелым». Но новой жизни не было... Кто и где решал судьбу Юлииса Лациса — не попытался выяснить ни один историк.

Американские военнослужащие в Германии после войны не понимая нежелание многих латышей спешить обратно на родину, есть в этом явлении что-то проти-

воестественное. Американцы не знали о довоенных событиях в Латвии.

Когда я сам в конце войны встретил в Германии свободу, то сердечно распрощался с доктором Назаровым, ленинградским интеллигентом, с которым сдружился в Бухенвальде. Назаров пережил и ужасы лагерей военнопленных. «У тебя, Август (так меня звали тогда), в Латвии может и по-другому, а я... в Сибирь не хочу. Еще один лагерь мне не выдержать!». Вернувшись домой, заново «освоив» жизнь в Латвии, подумал, что Назаров поступил правильно. Вернуться в страну после смерти Сталина — да!

Верю не всем цифрам, упомянутым в этом рассказе, например, что из Латвии до войны были депортированы 150 000. Но, к сожалению, за 44 послевоенных года в Латвии не появилось ни одного серьезного исследования о жертвах, понесенных ее населением в результате высылки, арестов, эмиграции, выстрелов из пистолета Вальтера или револьвера Наган. Только теперь вскрыты могилы в Литене, о которых в трудах историков не было ни строчки. Наверное, полной картины уже не восстановить, все могилы среди молодой поросли леса не отыскать, не открываются все архивы, которые не уничтожены или не развеялись по ветру в войну.

В рассказе Лалиты Муйжниеце не описана ни одна, пролитая насильем, капля крови, хотя в то время и луж крови не было в недостатке. Рассказ все же правдив — мы не можем требовать, чтобы ребенок был умнее своих лет и понимал то, чего понять были не в состоянии и взрослые. Очевидцы мне рассказывали о том, какое сюрреалистическое ощущение охватило их, когда в ночь с 14 на 15 июня 1941 года на станции Гулбене со всех сторон въехали составы с мужчинами в одних, женщинами и детьми — в других товарных вагонах. Из всех долгое время не доносились даже громкого вздоха. Вагоны остановились, сдвинулись, и наступила глубокая, какая-то не этой земли тишина, в кустах замолкли даже птицы.

Начался путь страданий, о том один из ссыльных сказал: «Мечту о родине кладу в изголовье».

Сам я видел Юлииса Лациса единственным раз, в середине сентября 1941 года, когда, начиная новый учебный год, он выступал с речью в университетской аule. В тот момент мне и в голову не пришло, что через пятнадцать месяцев он умрет от голода в тюрьме. Был, вероятно, еще навывном, был причин уважать законность и в тот сентябрь еще верил, что, следуя закону, в остальном своей жизнью распоряжаюсь сам. Наверное, так же думал и Юлиис Лацис, выдавший в жизни гораздо более моего. Ошиблись мы оба, пострадав от разных режимов, у которых, оказалось, было много общего.

* (подстрочный перевод)

[США]



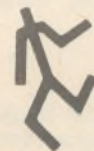
Бил в ядро, бил в сердцевину —
 Потери жителей Латвии
 В полдень солнце закатилось,
 во второй мировой войне, во время всех
 Златы ветви разлётелись
 оккупаций составляют . . . 540 000
 Врозь по девяти мирам.¹
 человек, не считая эмигрантов.²

Где ты?
 Здесь.
 Что делаешь?
 Не знаю.
 Думай, думай! Вспомни!
 Я мою автомобиль. Черный автомо-
 биль.
 Черный? Отчего черный?

Это — давно. Автомобили другой окра-
 ски тогда не производились. Мне так
 кажется. В моем песочном ведерке вода.
 Старенькое кукольное платье — тряпка.
 Черное поле растет — блестящее, кра-
 сивое —

«На нашу землю
 с нынешнего
 утра вступают
 советские
 войска.

Это
 происходит
 с ведома и
 согласия
 правительства,
 что в свою
 очередь
 порождено
 существующими
 дружескими
 отношениями
 между Латвией
 и Советским
 Союзом.
 Поэтому желаю,
 чтобы жители
 нашей страны
 рассматривали
 бы вошедшие
 войска также
 дружелюбно.»³



Ой, ой! Разве ты не знаешь, что ведро
 твое мало, тряпка твоя мала и сама ты
 слишком мала. Или ты об этом не дума-
 ешь вовсе?

Нет. Я работаю. Делаю хорошее дело.
 Папа будет рад.

Выскакивает мужчина с перекошенным
 лицом.

— Черт дери, что делает этот ребенок!
 Я тебе шею сверну, дрянь ты мелкая!
 А ты?

Я убегаю. Руки отца протянуты ко мне.
 Там хорошо. Там ласка. Там без-
 опасность.

«Аресты необходимо совершать тихо и без паники, чтобы исключить возможность восстания или сопротивления как среди подлежащих депортации, так и в известной, к советскому управлению враждебно настроенной, части общества.»⁴

Где ты?
Тихо!
Что такое?
Я слушаю.
Ну и что?
Подъезжает машина. Черная.
Откуда взяла, что черная? Ведь ночь.
Ты уже забыл. Я же тебе все рассказывала.

Верно: тогда все . . .
Хлопает дверца. Выходят трое. Один остается. Мотор урчит. Двое поднимаются по наружной лестнице. Звонок. В коридоре шелестят шаги. В шель под дверью просовывается свет. Шепот голосов. Еще звонок, потом — сильный стук в дверь. Будто их пинают деревянными сапогами. Голоса. Громкие, резкие, один степенный, другой — сквозь слезы.

Что они говорят?
Шшш . . . Тихо. Я напрягаюсь. Я слушаю. Однако не могу разобрать. Мне кажется — они говорят не по-латышски. Тебе страшно?

Да . . . нет . . . да . . . Мне хочется знать, но я не могу шевельнуться. Я приклеена к кровати. Крикнуть тоже не могу. Я стала ухом своей кровати.

И?
Хлопает дверь. Трое уходят. Один вылезает из машины. Захлопывает дверцу. Что ты слышишь теперь?

Тьму. И гул. Я уже не ухо. Я виски. Виски — барабан. Кто-то бьет в барабан. Все сильнее и сильнее. Покуда удары становятся каплями, а я — водорослями. Кругом плещется вода. Я качаюсь на воде, все мокро, я изгибаюсь и качаюсь. Потом — я — камень, я тяжела и тону. До легкого гулкового удара, после которого — ничего —

— Где папа?
— Он выехал.
— Где он?
— Он должен был на время уехать.
— Почему он не сказал мне?
— Он не знал заранее.
— Когда он вернется?
— Я не знаю. Наверное, скоро.

— Не убегай! Недоросль поганая! Догоню ведь!

Вскакиваю на тротуар. Черный автомобиль — за мной. Ныряю между домами. Черное авто следом. Вжимаюсь в углубление двери. Черное авто рылом своим крушит меня о тяжелую дверь. Хочу закричать. Но голос оборвался, выскользнул из меня —

— Ах, вот ты где? Не скроешься!

Бегу по улице. Скорее! Черное авто сзади. Улица уходит в лес. Скрываюсь за деревьями. Автомобиль извивается среди деревьев, будто черный волк. Взбираюсь по стволу сосны до макушки. Черный автомобиль кабаном кидается

на дерево. Дерево падает. Автомобиль, разможив меня между сучьев, переезжает сосну, как черный трактор.—

«Депортация антисоветских элементов из Балтийских стран есть задача большой политической значимости.»⁵

— Ты все еще здесь! Машину хочешь помыть?

Мужчина улыбается, но его лицо скрючено. Он протягивает мне черную тряпку. О, нет, это не тряпка, это револьвер. Я убегаю. Мужчина бросается в черную автомашину, чей мотор так и не глушится. Он преследует меня. Бегу по узким, узким улочкам, где автомобилю положено бы застрять, однако, тот сужается и удлиняется, как поезд. Все ближе и ближе, валит меня. Колеса со стуком бегут через меня, бегут и бегут —

— Я не пойду спать.
— Еще чего!
— Я не хочу спать! Позволь мне остаться! Прошу тебя, прошу!
— Почему ты не хочешь идти спать?
— Мне опять приснятся плохие сны.
— Какие сны?
— Я не могу тебе объяснить. Но мне страшно.
— Ннн . . . да. Иди, дам тебе валерьянку. На кусочке сахара. Иди баюшки, иди.

Что ты делаешь?
Ищу следы.
Что у тебя в руке?
Записочка.
Она же не твоя.
Нет.
Где взяла?

Кто-то умер. Я нашла ее среди оставшихся бумаг. Но это — потом. Много после. Двадцать три года спустя. Да. Но записи тогдашние.
Читай!

14 января, 1941

В ночь с 7 на 8 января (в половине третьего) чекисты арестовали Теодора. Обыскали дом. Забрали все рукописи и письма.

Все мои дурные предчувствия сбылись. Вы — латыши — слепое оружие в руках у русских. Если понадобится, вас уничтожат друг за дружкой, и это будет вам спасибо за медвежью услугу прошлого лета.

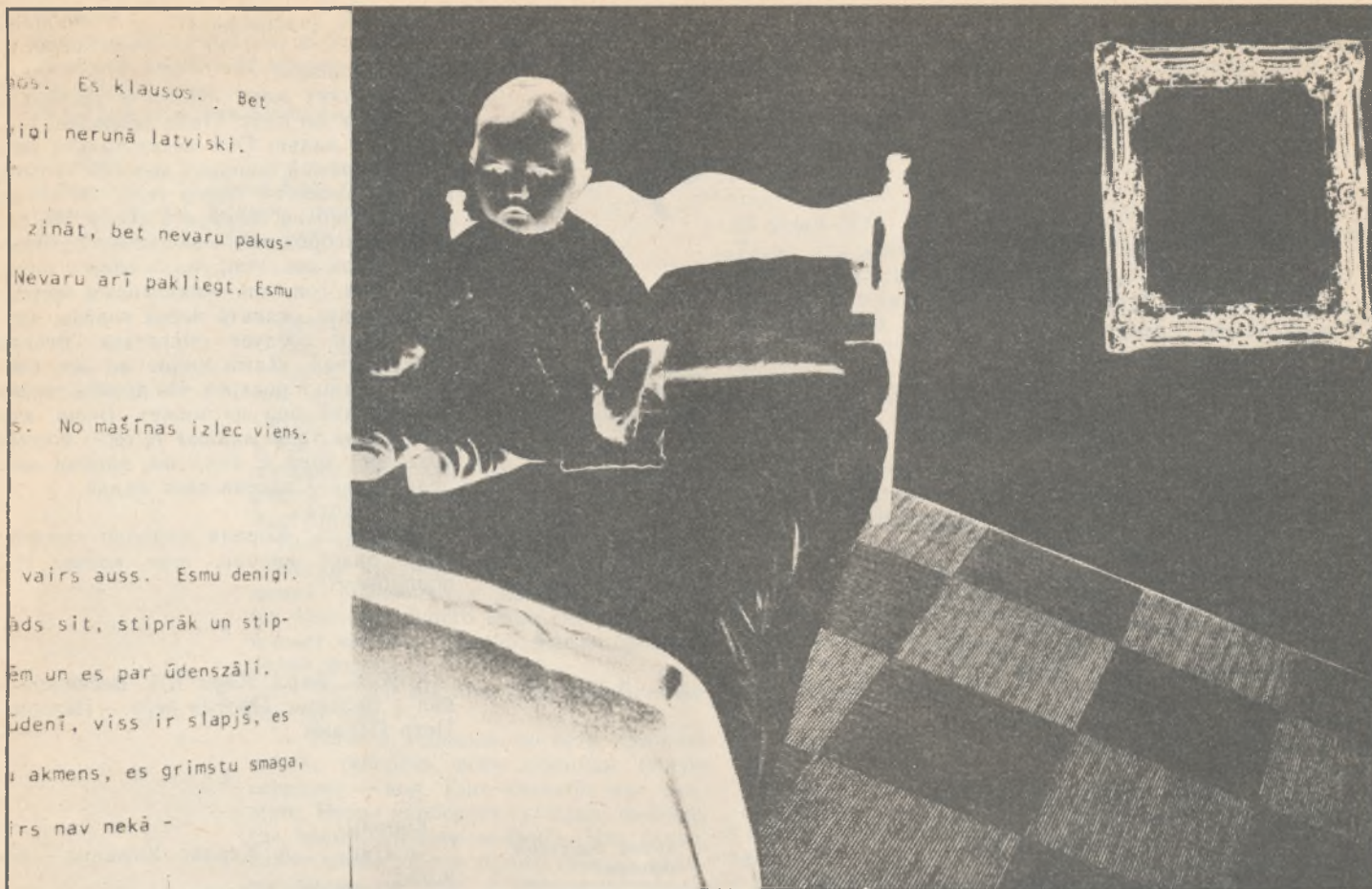
7 февраля

Впервые побывала в Центральной тюрьме. Несла белье Теодора. Никто не говорит мне, за что арестован Т.

22 февраля

Второй раз в Центральной тюрьме. Бледные, изможденные, отчаявшиеся лица жен и матерей. Выплаканные глаза. Грубость тюремных охранников. Если б не дети, я ушла бы из жизни. Покинула бы этот ад. Надо жить ради детей.

«Я был уверен, что все происходящее сейчас, а также то, что случится далее, пойдет на пользу будущему нашего государства и народа, а также на благо наших хороших и дружеских отношений с нашим восточным соседом — Советским Союзом . . .»⁵



... Es klausos. . . Bet
 ... iņi nerunā latviski.
 ... zināt, bet nevaru pakus-
 Nevaru arī pakliegt. Esmu
 ... s. No mašīnas izlec viens.
 ... vairs auss. Esmu denīgi.
 ... āds sit, stiprāk un stipr-
 ... ģem un es pār ūdenszāli.
 ... ūdenī, viss ir slapjš, es
 ... akmens, es grimstu smaga,
 ... irs nav nekā -

22 марта

В Централке ничего не взяли.
 Может быть, Теодор уже мертв.
 Нет у меня больше сил.

26 марта

Меня вызвали в НКВД. Теодор еще жив.
 Велели передать для него деньги
 и разрешили написать первое письмо.

27 апреля

Получила от Т. первое письмецо.
 Почерк нервный, измученный...

7 мая

Снова в Централке.
 Отвращение, бескрайнее отвращение.
 Там истязают честных людей.

18 мая

Получила второе письмецо от Теодора.
 Он велит поздравить от себя
 Дууду с днем рождения, который
 будет лишь в августе. К чему
 он готовится?



4 июня

Третье письмо от Теодора.
 Невыразимо грустное.

Что он пишет?
 Мне тяжело читать.
 Но ты ведь ищешь. Надо идти до
 конца.
 Да.

1-е письмо

... я очень благодарен Тебе за веру
 в меня и за Твою стойкость в эти
 тяжелые дни испытаний. Обо мне
 не тужи, я жив и здоров.
 В жизни человека случаются трудности,
 которые надо преодолеть. Это
 испытание закалило меня, и я убежден,
 что войду в новую жизнь сильным
 и смелым. Это вопрос только
 времени — но оно не подвластно нам.
 Душевный привет Тебе, детям,
 родителям.

25 апреля, 1941

2-е письмо

... Продукты и белье получил,
 кроме папирос, шоколада, сетчатой
 рубашки и туфель. От души спасибо.
 Мне можно высылать почтой деньги.
 Ежемесячно не более 75 рублей —
 будь добра, пришли. Примерно через
 месяц пришли парочку спортивных
 рубашек. Которые постарее.
 Физически чувствую себя хорошо —
 имеются воздух, солнце, ежедневная
 прогулка, через каждые 10 дней — баня.
 Не горюй и не грусти. Я надеюсь,
 что это тяжкое время испытаний
 скоро кончится и снова появится
 возможность работать.

Целую Тебя, Майю, Дууду.
 Поздравляю Дууду с днем рождения.

Тебя тоже.
Передай привет родителям.
Письмо отца получил.

12 V 41

3-е письмо

... дни мои уходят и приходят
с мыслями о Тебе, Майе, Дууде.
Со мной только и всего, что эти
мысли и воспоминания, которые не
покидают меня ни днем, ни ночью.
Играю в шахматы и проигрываю,
потому что мысленно блуждаю по садику,
где, наверное, уже зацвели
вишни. Прошлогодня
листва клубники, наверное,
пожелтела и взамен зазеленела новая.
Пошло цветение. Дууда с Маечкой
играют, разглядывают каждый цветочек
как новое, невиданное чудо.
Я читаю «Соломоновы острова»
Джека Лондона и мысленно скитаюсь
по лесам Дундаги, борам Ницы,
где мы гуляли свободные и
счастливые... Жизнь переменчива.
Все в непрерывном движении
катится вперед.

Я думаю о Дууде — выросли ли у нее
волосы после болезни? Скажи ей,
что я тоже велел обрезать себе
волосы и белую бороду — она
снова отрастет. Также отрастут
и ее волосики. Я думаю о Майечке —
спрашивает ли она все еще по
вечерам: «Во сколько ты пойдешь
спать?» Скажи ей, что папа
теперь ложится в одно время с ней,
а утром встает на пару часов раньше
и начинает свой очередной день
мыслями о вас всех.

Как здоровье детей? Как Твое?
Есть ли у Тебя работа? С 26 апреля
не получил от Тебя ни одного письма,
хотя Ты наверное писала мне.
Пиши, тогда я тоже смогу Тебе
написать, потому что получил
разрешение на переписку с Тобой.
Теперь в первое и третье воскресенье
каждого месяца буду получать
бумагу, чтобы написать Тебе.
Совсем уж забыл, как держать ручку.
Имеется также разрешение на
передачи, хотя не ясно — не
понадобится ли всякий раз новое.
Приносить продукты можно раз
в месяц — 7 или 22. Получил свои
деньги — мне их хватит на выпуск
продуктов в течение всего июня.
Посылала ли Ты мне деньги? Мне
бы на июль и дальнейшее время.
Но, если денег у Тебя мало, не
посылай. Обойдусь как-нибудь.
В следующий раз — 22 V — пришли
какой-нибудь мешочек величиной
с наволочку, куда положить белье.

Всех целую сердечно.

1 июня 1941 года
Латвийская ССР
Тюрьма № 1, IV корпус, 5 камера



Куда ты подевалась?

Тут я.

Что делаешь?

Папа учит меня играть в шахматы.
Мы сидим на полу. Папа терпелив.

— Это ладья. Она ходит только так.
Только прямой широкой дорогой. А слон
бегает наискосок. Через углы. От слона
не защитишься спереди и сбоку. Но са-
мый сумасбродный — это конь. Он пры-
гает. Вишь как: гоп, гоп — вбок и наискос-
к. Или: гоп, гоп — наискосок и вперед.
Конь может скакать через головы дру-
гих. Коня следует опасаться. Всегда
приглядывай. Дама ходит во все сто-
роны: прямо и поперек. Но пройти сквозь
препятствия она не может. Вишь, как
косится на твою ладью? А ты — возьми
вот этого коня и, гоп, гоп, прыгни впе-
реди ладьи. Спасена твоя ладья.

— А этот?

— Король. Короля надобно стеречь.
Если падет король, игре конец. Ну,
попробуем?

*

Король. Карл. Карл XII. Бесчинство-
вал в Видземе. Против него — Петерис.
Петр Первый.

*

Король.

— Пап... А Карлис Улманис — ко-
роль?

— Он президент.

— Что такое — президент?

— Ну... Он управляет страной, и в
его ведении, чтобы все жители государ-
ства жили по справедливости, чтобы
им жилось хорошо.

— Тогда он король.

— М-мм...

— А он хороший король?

— Дитя, так нельзя определять хоро-
шее и нехорошее. Никто не бывает хо-
рош постоянно. И никто не бывает пос-
тоянно плох. И ты. И я.

— Ты — да. Ты всегда хороший.

— Это вряд ли.

— А он может пасть?

— Кто — он?

— Король Карлис.

— Дууда, нет никого, кто не мог бы
пасть.

— Папа! Твой король сейчас падет.
Посмотри. Вот черный конь. И его оче-
редь прыгать. Видишь!

*

14 июня, 1941

Прошлой ночью началась высылка
латышского народа в Сибирь.
Увозят мужей, жен, детей. Заточенных
в вагоны для скота.
Друзья велят собираться и мне.
Я не делаю ничего.
Жизнь готовится переплюнуть Дантов ад.

16 июня

Кругом свирепствует зверский ужас.
Я готова умереть.

22 июня

В половине четвертого утра
началось нападение немцев на
Советский Союз.
Ригу трясет в ожидании смерти.

23 июня

Примерно в 13.20 на Ригу падают
первые бомбы. Взрывы, пожары.
Вот такой вот вечер Лиго!

*

Вечер Лиго...
Где ты?

Здесь. На карточке. В Скултэ. Это —
мой крестный Леонс. Крестная Эльза.
Сигне. Лайне. А, вот, тетя Майя. Мы
у нее в гостях. Эти три мальчика — мои
двоюродные братья: Алдис, Гинтс и Мод-
рис. У меня на ноге белая тряпочка...
наступила на острый камень.

Под карточкой: 1940 г. Иванов день.
Когда въезжаем в Ригу, на многих
домах развеваются красные знамена.
На крыльце нашего дома сидит соседка
и шьет красное полотно. Рядом брошена
белая полоса.

— Что же вы это, бабушка Бициня!
Это же наш —

— Ничего, госпожа, то есть, гражда-
ночка, тепереча всем тряпкам белую
середину — вон. Еще спасибо мне ска-
жете. Вчера прибегают тут один, требует,
где знамя. — Какое знамя? — Что такое,
какое знамя? Есть только одно — крас-
ное знамя рабочих. А, может быть, вы
здесь еще эту старую тряпку храните?
— Упаси боже, господин... — Какой
такой господин. Господ нынче всех... —
и пальцем поперек горла. Я одеревенела.
— Останутся только товарищи. — Да,
господин, то есть, господин товарищ, я же
ничего... Господ... то есть хозяев нет
дома, а я ничего не знаю — ни где такое
знамя, ни где такое знамя, ни где сякое. —
Хватит, старая! — он орет — Если завтра
не будет висеть правильное знамя, отве-
тишь за саботаж. — Тогда я быстренько
раздобыла это самое...

*

Знамя. Красное белое красное. Красно-
бело-красное. Все детсадовские имеют
цветные бумаги и ножницы (нелепые
такие: с округленными концами и тупые).
Две меры красного, одна — белого,
опять две меры красного. Красиво. Когда
подует ветер. Бабуся Бициня — что она
говорит? Тряпка... теперь. Как бы ей
понравилось, если у ее воскресного
платья отодрали белый воротник. Серым
бы оно стало — фуу—

*

Лицо матери передернуто. На доме
после обеда реет узкая, длинная красная
материя. Темно-красный язык лижет
дом.

Приходит с работы второй сосед, мо-
лодой мужчина. Останавливается. Ста-
новится красным, как полотно. Спешит
в дом. Через минуту приоткрывается ок-

но чердака. Хлоп! Язык втягивается в
рот. Серая стена становится очень пус-
той.

Через некоторое время пустеет и со-
седская квартира.

*

25 июня 1941

Эльза и я уезжаем с детьми в Скултэ.
Надо спасать жизни детей.
Может быть, им суждено жить в
лучшее время.

30 июня

Скултэ бомбят. Бомбы падают
около школы. Чекисты окружают
домик Битэ.
Когда самолеты приближаются,
Перконе с детьми убегает в баньку.
Мы баррикадируем окна.

1 июля

В 10 утра включаю радио. В Ригу
вошли немецкие войска. Огромное
ликование. Рига спасена. У нас
пока еще русские. Положение
чрезвычайно натянутое.

*

Боженька, милый, храни моего папу.
Пожалуйста, пожалуйста. И направь его
поскорее домой.

Большое, большое желтое песчаное по-
ле. Серо-желтоватый воздух. Песок ле-
жит холмами. Я ищу отца. Следую от
холма к холму и зову. Длинная фла-
нелевая рубашка путается в ногах.
Вдруг — звук: клик-клик-клик... Будто
кто пишет на машинке. Бегу в направ-
лении звука. Впереди глубокая, глубо-
кая яма. На дне ямы, на старом дере-
вянном стуле, спинку которого я сожгла
бенгальским огнем, сидит папа. Он дер-
жит на коленях пишущую машинку и
стучит: клик-клик-клик —

— Папа!

Отец поднимает голову и смотрит на-
верх печальными, печальными глазами.
Потом опускает голову и продолжает
писать: клик-клик-клик —

— Папа! Иди, вылезай, иди, я тебе по-
могу!

— Не могу, Дууда. Иди-ка домой.
Не студишься.

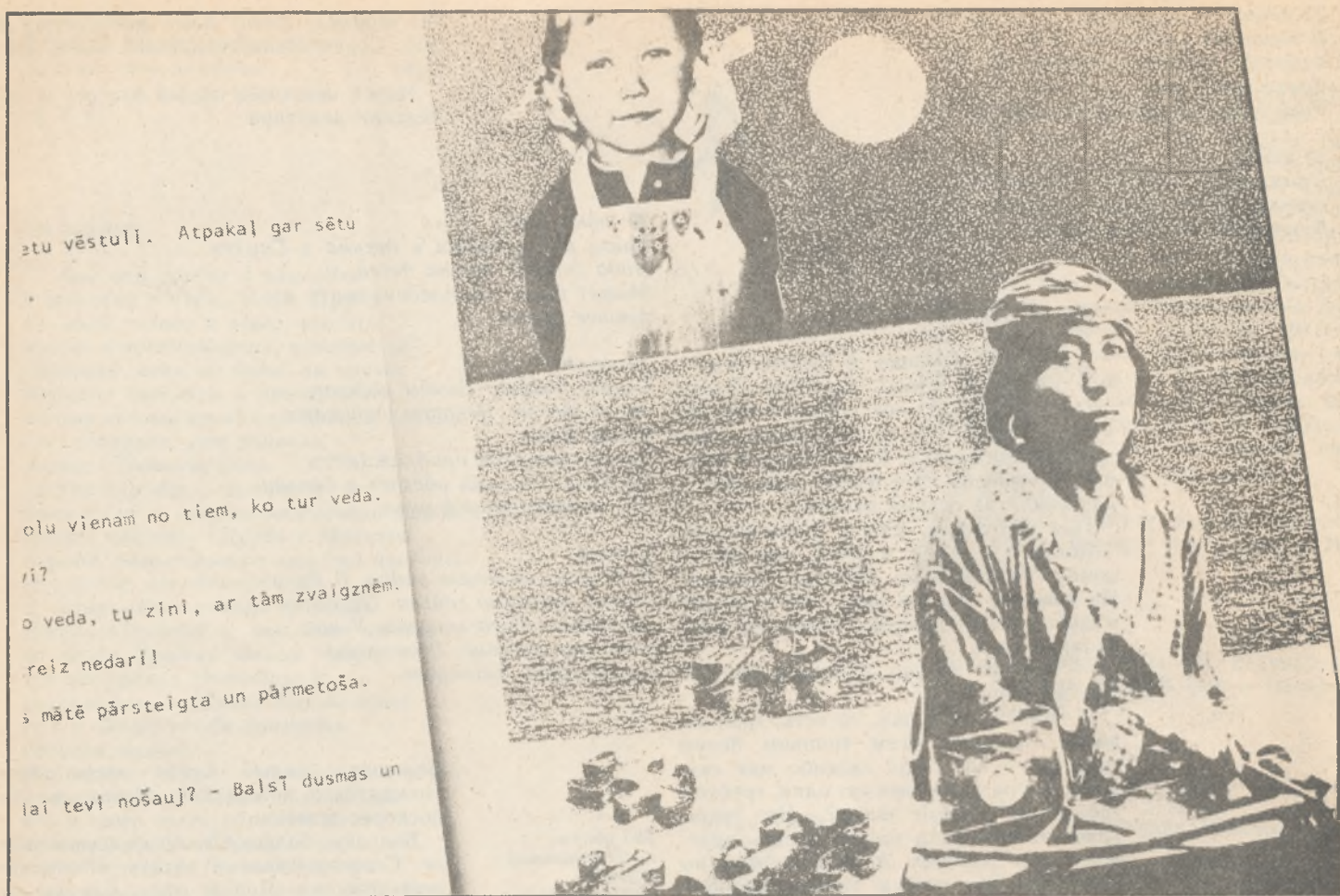
Я хочу спуститься к папе, однако дно
ямы все опускается и опускается...
А потом уже нет ничего.

*

31 июля 1941

Кровь смывается кровью. «Патриоты»
стараятся переплюнуть большевиков.
Хорошо выучились в прошлом году
резать, убивать, грабить,
клеветать, денунцировать и падать
на колени перед властью.
Люди стали выродками.

Учение Христа топчут ногами,
а бьют себя в грудь и вопят:
мы правые, хорошие, честные,
нам еще мало крови.



atu vēstulī. Atpakal gar sētu

olu vienam no tiem, ko tur veda.

ri?

o veda, tu zini, ar tām zvaigznēm.

reiz nedarī!

s mātē pārsteigta un pārmetoša.

lai tevī nošauj? — Balsī dusmas un

4 септємбрия

Если правда то, что вчера рассказала Майя, то один Бог спас меня от гибели. Скултские якобы намеревались меня расстрелять.

Случится то, что должно случиться. Я начинаю верить в судьбу.

не понимаю.

У меня большое обязательство перед моими детьми. Буду держаться как настоящая жена, настоящая латышская женщина.

Шагаем по проспекту Висбии. Мать и я. Навстречу идет какой-то господин. За пару шагов до нас останавливается. Лицо у него перекошено, совсем странное. Он плюет нам под ноги и быстро уходит. Я останавливаюсь и гляжу ему вслед. Он уматывает почти рысью. Серо-полосатые фалды пиджака так и прыгают. Смотрю на маму. Лицо у нее совсем бледное.

— Иди,— она дергает меня за руку.— Что это за господин? Почему он вытворил такое? Ты его знаешь? — Но лицо у матери такое, что я ничего не могу спросить. Цок. Цак. Цок-цок-цак. На два шага матери приходится три моих. Цок-цок. Цок, цок, цак.

8 септємбрия

Если немец меня обидит и унижит, я буду знать за что. Почему латыши режут своих братьев и сестер,

Мы у тети Эльзы в Ропажы. Гуляем по лесу — взрослая кузина Сигне, несколько соседских ребят и я. Вдруг одна девочка поворачивается, показывает на меня пальцем и говорит:

— Фэ-э, дочка комиссара! Я-то все знаю!

Сигне кидается на нее петухом бабуши Бицини.

— Чего несешь! Если еще раз что-нибудь подобное вякнешь, получишь по шее!

Девочка, показав язык, улепетывает. Сигне возвращается.

— Что это такое — комиссар?

— Ах, ничего такого. Она совершенно чокнутая. Ну, погоди, попадись она мне еще раз!

Комиссар. Ко-мис-сар.

Комиссар, Петр,
виолончелист.¹⁰

Кто такой комиссар?

Я не знаю.

Разве ты не узнала?

Узнала. Но после. Много после.

Комиссар,
Вольдемар,
балетмейстер.¹¹

*
Мамочка, а где мое золотое ситечко? Не могу найти. Всегда было здесь. На полочке. Может, у Майи. И других книг тоже нету.

— Каких других?

— Ну, тех, которые папа привез в прошлом году. С русскими буквами.

— Ах, этих. Их я положила. Читай пока другие.

— А я хотела бы ту. В ней был один стишок про котика.

— Ту ты пока получить не можешь.

— Почему?

— Не задавай столько вопросов. Почему да почему. Теперь такое время. У тебя столько книг. Читай их.

*

Такое время. Что такое — такое время? Все нелепо. И зачем ей мои книги. И почему не скажет...

*

В руке у матери маленький мятый клочок бумаги. На нем крупным, прерывистым почерком написано: «Нашедшего очень прошу сообщить в Саласпилсский хутор «Дактери», что Теодора без приговора высылают в Союз. 24 VI 41 10 ч.»

*

«Руки, что миновали тебя и в которые некогда верил я, ныне они на шее моей дают и рубят знаки, как они тяжелы...»¹²

10 октября 1941

Майечка говорит: «Русские папу увели, русские должны его привезти. И тогда я буду его жалеть и любить. Папа теперь плачет по своей Майечке, и я не могу его пожалеть.» Дууда говорит: «Может быть папа никогда не вернется!»

Мои милые, малые дети — всем сердцем желайте, чтобы папа вернулся. Может исполнится это. А мы до тех пор будем цепляться за жизнь, бороться за свое нагое бытие.

*

— Куда ты?

— Да, тут.

— Далеко не уходи.

— Нет, нет.

Я иду в направлении зоосада. Могу идти, куда хочу, за мной никто не смотрит. Матери нет дома. Тетя Марта должна стирать белье, готовить и следить за Майей. Я могу делать, что хочу.

Все как бы вывернулось наизнанку. Живущая в соседнем доме Диана вчера подошла к забору и сказала:

— Мама говорит, что мне нельзя с тобой играть.

Она продолжала стоять и смотрела на меня в упор.

— Почему?

— Я не знаю. Но она так сказала. Жалко, что нет уже Харийса и Астриде. Мне теперь нечего делать.

Харийс и Астриде жили через дом. Их, говорят, увезли. Всех: Харийса, Астриде, их отца и мать.

У нас увезли папу. В Союз. Мама сказала: в Сибирь. Си-бирь. Это далеко-далеко. Лучше было бы, если увезли нас всех. Тогда папа был бы с нами. Тетя Марта могла бы ухаживать за садом и следить за домом.

— Диана!

«С руки господней знак почета яркий К тебе на шею попадет, лишь только тело рваное железом Кончит биться. И ветвь сосновая опять Отсечена у жизни древа твоего.»¹³

*

— Мамочка, что это за люди с такими звездами?

— Какими звездами?

— Желтыми — на спине и на груди.

— Где ты их видела?

— На улице. Они шли по мостовой. За ними — охранники с винтовками.

— Это наверное были жида.

*

Жида.

— Ну, Дууда, получим наконец сегодня сани!

Хороший папа! Я обзаведусь порядочными санями. У меня только салазки. Такие — со спинкой. Для малых детей. Пусть их забирает Майя! Ее можно будет в них укутать. У меня будут настоящие сани.

Папа берет меня за руку. Здесь рядом — за углом. Господин Мейер вежлив. — Вот сани покороче, а тут — подлиннее. Ну, да, большой девочке нужны настоящие санки. Ну — как эти?

Радостно улыбаюсь. Эти — как раз. Не длинные и не короткие.

Папа расплывается.

— Сразу поедешь, испробуешь? — Мейер спрашивает. Киваю.

— Ну, тогда на обратном пути зайди и расскажи, как скользили. И, погоду, погоду, дам вам шнурок за что тащить. Господин Мейер удаляется за занавеску и возвращается оттуда с краснорубелосиним шнуром в руках. Тщательно привязывает его за передние углы санок.

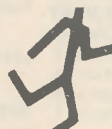
— Ну, хорошего вам попутного ветра.

Разбегаюсь, кидаюсь животом на санки и скольжу. Потом папа меня тащит. Потом мы оба съезжаем с холмов и оба тащим санки на следующий холм. Поехали!

На обратном пути заходим к господину Мейеру. Он протягивает мне зеленый леденец.

*

Магазинчик господина Мейера закрыт уже несколько недель. На дверях что-то наклеено. На чужом языке. Не могу прочесть.



«Своих политических противников и по расовым соображениям нежелательные группы они стремились уничтожить сразу...»

Поэтому
число убитых во
время немецкой
оккупации
жителей Латвии
многократно
больше числа
убитых во время
Советов.»¹⁴

*

— Куда их везли?
— Я не знаю, Дууда.
— Почему они все были такие грустные? И почему их окружали люди с винтовками? И почему у них такие звезды? Господин Мейер тоже был там?
— Деточка, я не могу тебе ответить. Людям еврейского народа теперь жить не сладко.
— А почему король это позволяет?
— Какой король?
— Король Карлис.
— Какой король Карлис?
— Ну... Карлис Улманис.
Мать смотрит так, будто я сказала бог весть что. Потом говорит поверх меня:
— Карлис Улманис... Кто знает, жив ли он теперь...
— А кто же тогда король?
— Нет короля. Теперь царит зло.

*

— Мапочка. Можно мне взять одно яблоко?
— Есть еще?
— Да. Два.
— Ну, тогда возьми. Куда ты?
— Во двор.
— Сбегай до почты. Брось вот это! Бегу. На проспекте Кокнесес останавливаюсь. Опять идут люди с желтыми звездами на груди и на спине. Сгорбленные. Смотрят вперед и вниз. Кроме одного курчавого мальчика с большими карими глазами на краю ряда. Он временами поглядывает то вправо, то влево. Заметил мое яблоко. Глаза застыли. Делаю шаг вперед. Протягиваю руку. В мгновение ока яблоко исчезает. Солдат отпихивает меня на тротуар.

*

Куда ты подевалась?
Я в лесу. По проспекту Межа можно зайти далеко. Потом тропами. Мы все — вчетвером: папа, мамочка, Майечка и я. Майечка еще совсем крошка — барахтается голенькая на одеяле. Одеяло расстелено на мшистой полянке. Кодем и поедаем орехи. Съели уже почти все. Три ореха остались у меня в руке. По лесу идут цыгане — женщина и четверо детей. Малыш у женщины на руках такой же как наша Майечка, только коричневый, с большими темно-карими глазами и курчавыми, лохматыми волосами. Один мальчишка такой же, как я — трех-четырёх лет. Весь в грязи, оборванный. Двое постарше — тоже в лохмотьях. Из другого мира. Иные. Чужие. Идут прямо на нас. Я сжимаюсь. Женщина говорит громко: «Папаша золотой! Мамаша золотая! Какие чудесные золотые детушки! Какая красивая одежка! У цыганского дитяти голое пузико! Папаша золотой — дай кусочек! Дай орешек цыганенку!

Папа осматривает ореховый мешочек. Пуст. Шарит по одеялу. Только скорлупа. Больше ничего съедобного. Папа в тоске разводит руками. Цыганка наверное видит, что ничего нет и уходит. Дети, оглядываясь — за ней. Я все время стояла без движения. Разжимаю ладонь. В ней три потных, блестящих орешка.
— Дууда! Почему ты их прятала!? — папа не рад, это я вижу точно. Что сказать? Хотела сберечь их? Боялась? Но папа сердится, и я не могу ничего вымолвить.

— Дууда, нехорошо так. Ты ведь уже съела столько орешков, а у этих детей ничего не было. Подумай об этом.

Поднимаемся. Папа и мамочка укладывают Майечку в коляску, отряхивают, складывают одеяло. Уходим. Три орешка вываливаются из влажной ладошки и закатываются в мох.

*

Перебегаю через улицу, бросаю письмо. Обратно вдоль забора иду вприпрыжку.

*

— Письмо бросила?
— Да. Мапочка?
— Ну?
— Я отдала свое яблоко одному из тех, кого там вели?
— Что? Кому ты отдала?
— Одному мальчику, которого вели. Ты знаешь — с этими звездами.
— Дууда! В другой раз так не делай. Не понимаю. Гляжу на мать с удивлением и укором.
— Почему?
— Хочешь, чтобы тебя пристрелили? — В голосе злость и страх, и жалость.

Пристрелить... За что? — ... пусть пристрелят... Смерть. Слово такое. Меня не касается. Я даже дохлой кошки не видела. Нашего котика пришлось увезти в пригород. Если бы мы захотели его оставить, мы были бы вынуждены его отравить, потому что в Риге людям не хватает продовольствия. Поэтому надо травить всех котов и собак. Смерть. Конец. Но мы не дали Янциса травить, мы отдали его тете Карлине. У нее мясная лавка.

Нет, я не знаю, что такое смерть по-настоящему.

Но твой отец мертв.

Его застрелили в Москве. — Неверная весть.

Он умер от тифа в Архангельске. — Неверная весть.

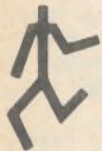
Он умер 15 декабря 1941 года в Астрахани от голода.

Да. Но этого я еще не знаю. Десять лет. Первая весть. Двадцать лет. Вторая весть. Тридцать лет. Третья весть.

А пока что, смерти у меня еще нет.

Незнание не меняет действительности. Факт есть факт.

Не знаю меня. Я вне этого. Мое незнание — моя действительность. Я ее не выбирала. Я не сижу с закрытыми глазами.



Я хочу знать. Однако настоящая действительность до меня пока еще не дошла.

*

Нам приходится уезжать.
В Елгаве русские. В Риге немцы.
Иосиф и Адольф. Король Карлис сдался.

Король говорил: «Лучше умирать стоя, чем жить на коленях.»

Но это было прежде.

В Латгалии зеленые партизаны. Или белые? Я всегда путаю.

В Курземе партизаны красные.

Кто они такие — партизаны? Наподобие фазанов? Фазаны рябые. Они бегают за оградами птичников зоосада. Вдоль Кишозера. Фазаны самки коричневые. У немцев тоже фазаны. Но немецкие фазаны не птицы. Партизаны тоже не птицы.

Партизаны — лесные братья. Все братья. Братья лесу? Мхом поросли. Будто гномы. Коричневые мховые штаны, шапки белой бересты. — А красные? Лес не красный — не получается. Красные мужи. Нагие. С перьями на головах. Размахивают ратными топорами. С воплями выскакивают из лесу. Кидаются на хаты. Пускают красного петуха по крышам. Скальпируют белых.

Надо уезжать.

*

Мать собирает одежду, вещи. То укладывает их в чемодан, то вынимает.

— Мамочка, а нам действительно надо уезжать?

— Да, надо.

— А, если папа вдруг вернется пока мы в отъезде?

Мать разгибается.

— Тогда мы сразу приедем.

Она врёт. Как же папа узнает, где мы?

— И отчего нам вообще ехать?

Стою упрямая. Гляжу прямо на мать. Но теперь она сердится.

— Чтобы вы с Майей остались живы. Поэтому. Чтобы ваши косточки не белели где-то в снежных полях Сибири. И я не хочу больше слышать об этом ни слова. Поняла?

Поняла. Об этом — ни слова. О том, чтобы остаться в живых — не очень. Смерть все еще не стала для меня понятием. Понятия: арест, увод, исчезновение. Я не хочу исчезнуть.

*

Что ты делаешь?

Собираю цветы. И листья.

Ну, и?

Засушу их.

А потом?

Возьму с собой.

Зачем?

Зачем... Чтобы у меня было что-то живое. Из нашего дома. От нашей улицы. От всех улиц.

*

— Ну, Дууда, пойдешь в школу в этом году?

— Наверное нет. Мы, кажется, поедem.

— Когда отправляетесь?

— Я не знаю... Учитель... я не хочу уезжать.

— Ну, Дууда, ну. Ну, ну. Не плачь же. Все будет хорошо. Авось скоро вернетесь.

— Если мы уедем, мы уже никогда не вернемся.

*

У подъезда стоит извозчик. Он отвезет нас в порт. Потом пароход увезет нас в Германию. Увезет. Папу увезли в Сибирь, нас увезут в Германию.

Тетю Майю никто никуда не увозит. Она может остаться. Но моих двоюродных братьев забрали. Они воздушные подручные. Модрис и Гинте. Прошлой зимой Модрис жил у нас. Он обучал меня трюкам и играм. Модрису было 15 лет, он ходил в среднюю школу. Мама говорила, что Модрис — шалопай и ленивец. Я считаю, что Модрис был славный. Гинте старше его на год. Алдис уже совсем взрослый, ему 18. Алдиса не взяли, он пошел сам.

— Ты дурак! — орал на него одетый в офицерскую форму дядя Леонс. Это было здесь, на нашей веранде. — Тебе хочется сложить голову ни за что. Не воображай, что мальчишки спасут Латвию. Это надо было делать пять лет назад. Теперь это совершить не может никто. Вас всех пихнут пушкам на съедение. И все.

Алдис строптиво вытянулся.

— А ты? — он спросил.

— У меня нет выбора.

— У меня тоже! — Алдис отрезал и ушел. Через пару дней он был уже в легионе.

*

Твой крестный Леонс был прав.

Да. Алдис пропал в Курземе. «Без вести».

Модрис умер в Германии. В каком-то лагере для военных. От дифтерита.

Вдруг объявилась смерть. Настоящая. Модрис уже никогда... Все те вещи, которые делаются: бегать, читать, играть, кушать, баловаться, играть на гармошке, петь, ходить...

Модрис уже никогда...

Сажу на кровати комочком. У подножья Альп, на чердаке какого-то немецкого дома.

Смерть существует: Модрис уже никогда...

*

Что это?

Ты же видишь — карта Европы. Здесь русские. А здесь американцы. Здесь англичане и французы. Латвия. В Латгалии, Видземе и Земгалии — русские. В Курземе — наполовину. В Курземе воюют. Курземе кипит. Бурлит. Курземский котел. Эсэсовцы, дезертиры, легионеры, лесные коты, большевики, подпольщики (они живут в бункерах под землей), воздушные подручные (они помо-

«Чтобы оказать сопротивление, пришлось бы мобилизовать всех мужчин в цвете лет.

Тех из них, кто не остался бы на ратном поле, увезли бы пленными в Россию.»¹⁵

«Красная заплата на рубашке красного партизана, заплата из его крови смертной. На рубашке зеленого партизана тоже красная. На рубашке белого партизана тоже: на белом холсте кровь ярко красная!»¹⁶

«Приказываю учредить добровольный латышский легион СС. Величина и вид части зависит от числа имеющихся в распоряжении латышей.

Гитлер и Гимлер 10 11 43.»¹⁷

Призваны в легион и другие части 146 610.»¹⁸

«Легионеры были обязаны принести присягу, что в борьбе с большевиками они будут неограниченно подчиняться главнокомандующему немецкой армии Гитлеру.»¹⁹

«Наша кровь все льется. Вороны сыты глазами, Отцы несут чужие стяги, Бьются не вместе с нами.»²⁰

В патриотической борьбе против захватчиков участвовало около 100 000 латышей и др. граждан ЛССР.»²¹

гают самолетам держаться в воздухе), русские и немцы. Нет, немцев, пожалуй, уже нет. Они теперь воюют с американцами. По радио сообщают, где фронт. После мы перемещаем на карте вот эти флажки. Немцам приходится сжиматься на все более узком месте. Скоро у них вообще не станет места, и тогда они будут вынуждены уйти под землю или взлететь на небо.

Но в воздухе тоже нет места. В воздухе — американцы. Они летают почти каждую ночь. Бросают бомбы. Стреляют тоже. Тифлигеры. Те летают днем и стреляют по всему, что движется. По людям. И по курам тоже. Однажды прострелили целую очередь тут же, рядом, по пригорку. Хорошо, что ни во что не попали.

«В боях независимости за свободу Латвии пали 2500 солдат.

Дай нам Бог, чтобы теперь пришлось жертвовать лишь 250 жизней.»²²

Что ты делаешь?

Крест делаю.

Крест — кому?

Птице. Вот мое птичье кладбище. Внизу — обрыв и ручей. Кругом — предальпийские склоны. Иногда птицы разбиваются о склоны. И тогда я задумала устроить им кладбище.

И много у тебя таких птиц?

Нет. Эта — четвертая.

Почему ты не в школе?

Ты же знаешь. Мне там не нравится. И мы не нравимся им. Тогда я прихожу в горы. На обочине тропы есть небольшая ниша с образом Богородицы. Его можно украсить. Уже цветут первые подснежники. И хорошо лазить по скалам просто так. И думать. Иногда я все же прихожу в школу. Там всем все равно. Мы — проклятые иностранцы.

А если бомбежка?

Тогда здесь надежнее всего. Под скалой. И когда идет дождь.

Число павших, пропавших без вести и раненых до капитуляции оценивается примерно в 50—60 000.²³

Война кончилась.

Адольф кончился. Он застрелил сам себя.

Иосиф — победитель. Захватил полмира. Латвию тоже.

Лина рада. Лина — молодая полька, которую привезли, чтобы служила немцам. Она поедет домой.

Чему ты удивляешься?

Погляди: во дворе зеленовато-коричневый грузовик. Кузов обтянут брезентом. На боку — белая звезда.

Выскакивают трое в зеленовато-коричневых мундирах. Молодые. Ловкие. Улыбчивые. Спрашивают что-то. Не могу понять. Наверное по-английски.

— Letten, letten . . . Хозяйка уходит в дом. Лина бежит вверх. Выбегают мать и крестная Эльза. Следом остальные наши женщины. И Сигне.

— Letten?

— Да, да.

— Going home. Come on, get your things!

— Home? — Женщины глядят друг на друга. — No home. Russians home. We — can not go!

— Why not?

— Home — Russians! We . . . — Сигне, достань словарь! Поторопись!

— That's right! Hitler — kaput! Russians freed your country. You can go home now. We'll take you to the railroad station. In four — five days you'll be home!

— No, no! Russians — Сигне нашла — убийцы. —

— Murderer. —

— Да, murderer! Russians murderer! We go not at murderer! We all kaput! Пропали! You not verste hen! Понимать . . . Сигне!?

Женщины говорят все разом. Малыши крутятся около них. Я выбралась из впадины ручья, стою возле мостика и пытаюсь понять, что происходит.

Home — дом. No — нет. Russians — русские. Будто мы все вцепились в резиновый шнур и тянем. Шнур напряжен, натянута до предела. Звенит, если прикоснуться — home — no — Russians.

— Russians good! Russians friends!

— No, no good! No friends! Home — we kaput, murder!

Трое пожимают плечами. Переговариваются.

Один из них — зло: — You — fascists, maybe?

— No, no! No fascists! Latvian! No fascist, no communist! Latvian! Aber cannot go at Russians! Unmoglich! Сигне, как «невозможно»! You shoot uns jetzt —

— Impossible.

— Yes, impossible!

Трое опять бубнят.

Забираются в кузов. Захрипел мотор. Автомобиль подпрыгивает, делает по двору круг и уносится. Остается вонь.

Конец резинового шнура отпущен. Все валяются в кучу. В большой, огромный комок.

Лина поедет домой.

Мы — нет.

Куда ты подевалась?

Заблудилась.

Тридцать три года. Следы крест-накрест. Дугами. Кругами. Иди прямо.

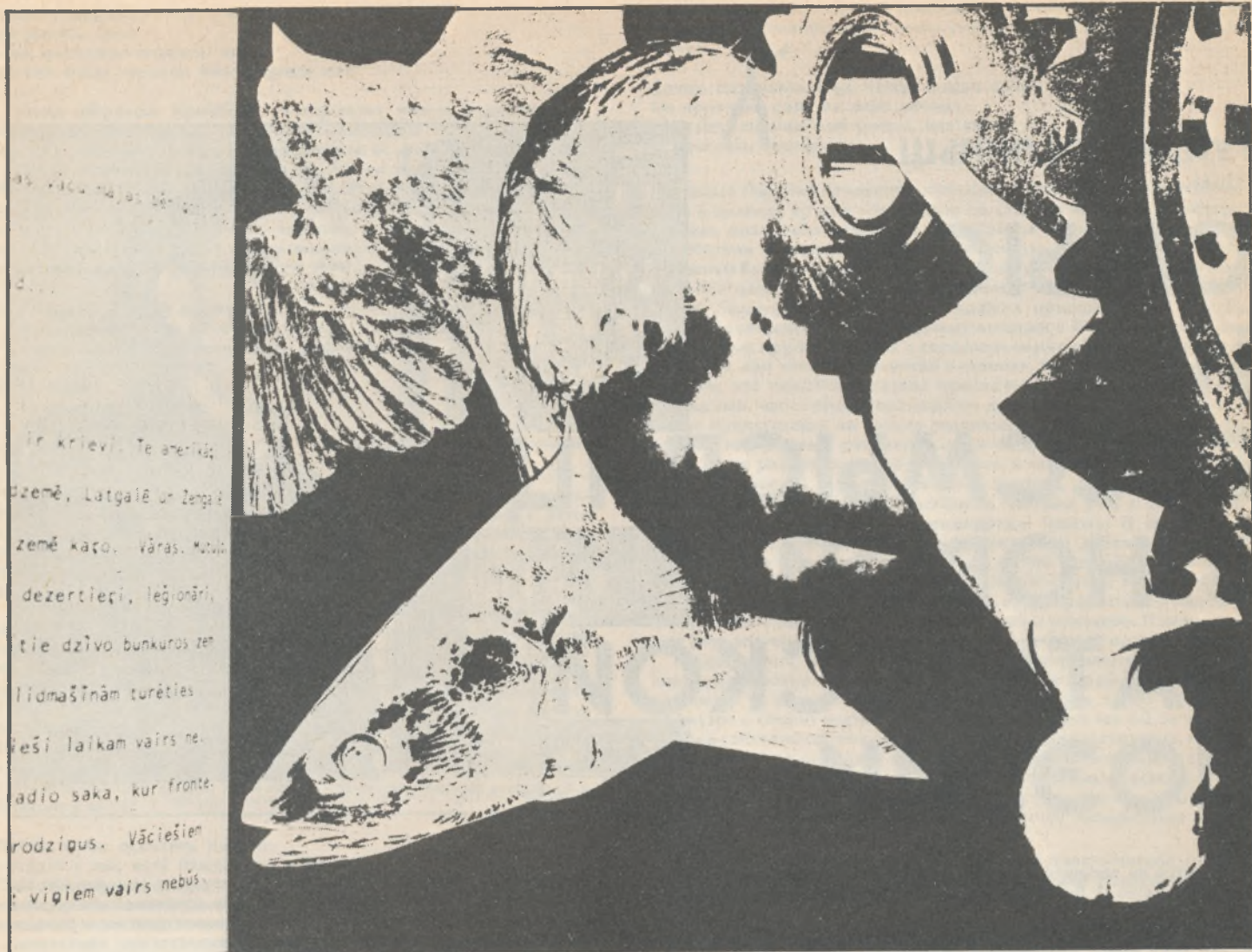
Прямо нельзя. Я хочу понять. Понимание не нежится посреди дороги. Оно скрывается за горами слов и писанины, за призывами, за оправдыванием, за порицаниями, за мудростью после события, за близорукостью, за обещаниями, за декларациями, за надеждами, за договорами, за отчаянием, за предательством, за любовью —

А ответы?

Ответы в поиске.

Перевел ВИКТОРС АВОТИНЬШ

В 1944/45. г. в связи с новой русской оккупацией в западных зонах Германии и Австрии оказалось около 120 000, в Дании 1800, в Швеции 5500, итого около 127 000 латышей.²⁴



ir krievi. Te amerikāņi
 dzemē, Latgale un Ziemeļ-
 zemē kačo. Vāras. Mutis
 dezertieri, leģionāri,
 tie dzīvo bunkuros zem
 lidmašīnām turēties
 ieši laikam vairs ne-
 radio saka, kur fronte.
 rodziņus. Vāciešiem
 vīpiem vairs nebūs.

В оформлении использованы иллюстрации СНИЕДЗЕ РУНБЕГЕ
 Фоторепродукции — Валтс Клейнс



Источники

1. Anna Brigadere. Maija un Pajja. **Pasaku lugas**. Latvijas Valsts Izdevniecība, Rīga, 1956. 151 стр.
2. **Latvju Enciklopēdija**. Apgāds Trīs Zvaigznes, Stokholma, 1950. — 53. 480 стр.
3. Kārlis Ulmanis. **Brīva Zeme**. Rīga 1940. g. 17. jūnijs.
4. Serovs. Pavēle Nr. 001223. *These Names Accuse*. Latvian National Fund in the Scandinavian Countries. Stockholm. 1951. 41 стр.
5. См. 3.
6. См. 4.
7. Imants Auziņš. Ugunsvēji. **Skumjais optimisms**. Liesma, Rīga, 1968. 32 стр.
8. См. 2. 476—477 стр.
9. Alfrēds Berziņš. Latvijas iedzīvotāju skaits, sastāvs, kustība. **Latvija šodien**. Amerikas Latviešu apvienība, 1972. 6 стр.
10. См. 2. 1048 стр.
11. Latvijas PSR Mazā Enciklopēdija. Zinātne, Rīga, 1968. 11 том, 105 стр.
12. Gunārs Salinš. Piedziņojums Rīgā. **Cela ziņas**. Londona, 1970. 44, 40 стр.
13. Vizma Belševica. Indriķa Latvieša piezīmes uz Livonijas hronikas maļam. **Gadu gredzeni**. Liesma, Rīga, 1969. 94 стр.
14. См. 2. 479 стр.
15. Alfrēds Berziņš. Pēdējais posms. Kārlis Ulmanis. 75 gadi. Apgāds Brīva Zeme. 132 стр.
16. Valentīns Pelēcis. Partizānu krekli.
17. См. 2. 1290 стр.
18. См. 2. 1317 стр.
19. См. 2. 1291 стр.
20. См. 13. 92 стр.
21. См. 11. 346 стр.
22. См. 15. Цитируется Карлис Улманис, 137 стр.
23. См. 2. 1318 стр.
24. См. 2. 773 стр.





ГУНАРС САЛИНЬШ
(США)

СМЫСЛ И БЕССМЫСЛИЦА В НОВОЙ ЛАТЫШСКОЙ ПОЭЗИИ



Dzejnieks Gunars Salins 1963. g. pie Jāņa Kalmiņa gleznas „Nāves” v. Kārklis uzņēmums

Сходятся ли латышская литература дома и латышская литература за рубежом? До той степени, что становятся неразличимыми!

В какой-то степени это впечатление возникло у меня после прочтения двух новых поэтических сборников: первой книги Яниса Рокпелниса (род. в 1945) из Риги «Звайгзне, лутна эна ун цити» [«Звезда, тень птицы и другие»] и первого однотомного собрания сочинений Юриса Кронбергса (Род. в 1948) из Стокгольма, озаглавленного «Бисзалес» [что значит «Порох» или, учитывая коннотативное значение, «Пороховое лекарство»]. Обе книги являются подлинными новинками, и в случае литературной мистификации кто-нибудь, незнакомый с индивидуальными стилями этих двух молодых поэтов, с трудом бы смог догадаться, какие из стихов родились на каком берегу Балтики.

Позвольте мне начать с двух весьма показательных в этом отношении отрывков, по одному из каждого:

[1] сквозь людей можно проходить весной

белый цветок задерживается в твоём лице
и отправляется дальше
ласточка в повседневной спешке
невзначай
окунают крылья в твои глаза
но берегись
скоро наступит пора
когда сквозь тебя нельзя уже будет пройти
и в тебе на целый год
может застрять бабочка или цветок
и они будут рваться наружу
отчаянно так отчаянно
что их отчаяние ты будешь считать своим

(Перевод Л. Черевичника)

[2] Но сны мои возродились как рыба
В течение дня когда море это зеркало для лица небес
И земля безмолвна как если бы она была пустыня
Сны мои плывут под водой:
Глубоко на самом дне моря
Невидимые глазу небес
Бессмертные²

Так чье есть чье? Скажут ли вам неуловимость людей, проходи-

мых насквозь, хрупкость белых цветов, которые задерживаются в твоём лице, и почти «экзистенциальное» отчаяние, что первый пример не может быть продуктом «социалистического реализма»! Но как быть тогда с такими антидарвинистскими понятиями, как сны, возродившиеся подобно рыбе, с такими апокалиптическими видениями, как земля, внезапно предстающая безмолвной и пустынной, с подобными идеалистическими развязками, как бессмертие в конце второго примера.

Что ж, как оказывается, «сквозь людей можно проходить весной» в Риге. Но точно так же это могло случиться в Стокгольме. И «сны, возродившиеся подобно рыбе» — они также могли появиться в наши дни на обоих берегах Балтики.

В своей рецензии на книгу Рокпелниса один из новых рижских авангардистских критиков Освальдс Кравалис отмечает, что даже до появления своего первого сборника Рокпелнис славится своими «остроумными вспышками парадоксов, романтически окрашенной настроенностью и неуловимостью выражения, которые уклоняются от концептуализации.» Однако этот поэт, пишет Кравалис, не является отшельником, а скорее «вовлечен в сложности настоящей жизни». Слово в слово, это же описание применено и к Кронбергу. Сочетание «высокой социальной и высокой художественной ответственности», продолжает Кравалис, характеризовало уже некоторых рижских поэтов предыдущего поколения (например Оярс Вацietис, Имантс Зиедонис). Тем не менее, Кравалис считает, что Янис Рокпелнис «открыл новые территории в чувствовании и восприятии, которые наша поэзия лишь различала на расстоянии, но не завоевала».

Опять-таки, если представить неких опальных поэтов (таких, как Дзинтарс Содумс или Янис Креслиньш) в качестве его предшественников, то Кронбергс в совершенстве подойдет под эту оценку. Действительно, некоторые рецензии на книгу Кронбергса здесь читаются почти как пересказ статьи Кравалиса о Рокпелнисе в Риге. Приведу заключительное суждение Валтерса Ноллендорфа из «Уолд литриче тудей» [«Мировая литература сегодня»] о «Пороховом лекарстве» Кронбергса: «Он [Кронбергс] более не приходит к соглашению с языком; он ведет его в новые царства, в которых латышская поэзия еще не бывала».

Кронбергсу самому есть что сказать об открытии новых миров. Он делает это в одном из своих «Десяти катренов, посвященных искусству поэзии»:

дверь в какой-то иной мир
открылась сама
и он поспешил открыть его
но там были туристы уже впереди его

Таким образом Кронбергс «открывает новые территории»: парадоксально — уходя в противоположном направлении от них — в противоположном направлении от очевидного.

Среди особенностей, встречающихся на недавно завоеванной Рокпелнисом земле, Кравалис описывает розу, которая камертоном чистит хлев. Обратившись к стихотворению, в котором происходит это весьма необычное явление, каждый обнаружит, что роза склоняется в пользу камертона после того, как сам поэт порекомендовал употребить топор:

1. Возьми-ка топор покрепче,
прорубись сквозь навозную кучу,
сквозь судьбу, сквозь судьбу дремучую,
покуда еще не вечер . . .
2. Вы видите розу,
ту розу прекрасную,
что камертоном чистит хлев!

(Перевод И. Черевичник)

«Подобные экстравагантности», — комментирует Кравалис, — «часто граничат с тривиальным, однако никогда не становятся навязчивыми . . . благодаря тому же самому символу, печаль и даже трагическое в поэзии Рокпелниса никогда не превращаются в пессимизм». Кравалис продолжает утверждать как основной принцип, что «зондирование глубины остается незаменимым в поэзии».

Удивительно, что это требование — именно в связи с поэзией парадоксов — было недавно подчеркнуто также некоторыми известными критиками на Западе. Например, Стенли Пламли из Айовского университета обращается с ним к молодому «гению двойственности в передаче двойственной в мысли», — Джеймсу Тейту. Обозревая последний сборник Тейта, «Вайпер джаз» («Змеиный джаз»), Пламли цитирует такие строки, как «Темнота, которую ты оставляешь, разсыкивает меня, прогрызает дырку в шоколадном лесу, разделяющем нас . . .» Или, «Я даю не буду говорить о твоём пении. Твой голос похож на красных муравьев.» Или,

Зебры хотят посетить Чикаго:
говорят у них есть память, но у них нет.
Они получают энергию
из совершенно неизвестного источника,
какая-то злая сила гонит их.

Согласно Пламли, Тейт пишет здесь как подросток, «Рембо в тридцать». «. . . он доставляет себе удовольствие за счет поэзии», — восклицает Пламли и завершает свое наставление тем же предостережением, что и Кравалис: «никогда не позволять интенсивности быть в долгу у комедии».

Я слышал взрыв аплодисментов в честь Пламли в Риге, но я не уверен, что он справедлив по отношению к комедии, даже если под «комедией» он подразумевает «юмор бессмыслицы (нонсенс)», также может быть чрезвычайно интенсивен. Как предположил британский юморист, венгр по происхождению, Джордж Майкс, юмор нонсенс не может быть просто отвергнут как «безвредное остроумие». На самом деле, это «акт агрессии против установленного порядка». Майкс утверждает, что «юмор нонсенс, с его скромной и обаятельной улыбкой, более агрессивен, даже более разрушителен, чем любой другой вид юмора». И возможно ли, что Джеймс Тейт и подобные ему с их «видением подростка» пытаются таким образом сказать что-то не-бессмысленному контингенту писательских мастерских в американских университетах! (Сам Тейт, как известно, держит поэтическую мастерскую в Массачусетском университете).

А Рокпелнис! — Под пристальным взглядом рижского окружения считается ли Рокпелнис «безвредным» до тех пор, пока его «экстравагантности» остаются по эту сторону «тривиального», по эту сторону «бессмысленного»? Или принимать это по-другому, постольку, поскольку есть уверенность в том, что — как бы забавно ни звучали его стихи — в самой глубине он смертельно серьезен и в полном согласии с Марксом, Энгельсом, Лениным и Леонидом Брежневым!

Между прочим, вы можете отметить сходство между «шоколадными лесами» Джеймса Тейта и «навозными кучами» у Рокпелниса, особенно если вы сделаете скидку на различие в естественных ресурсах. Может, в конце концов, и Тейт не столь уж и бессмысленен! Было бы досадно . . .

И пока мы остановились на этом, я не могу отказать себе привести пример «разума» также из современной британской поэзии — по утверждению британского литературоведа Калвина Бе-

диента, этот разум «силен всеобщей истиной». Строки из произведения Филипа Ларкина «Тудз ревизитид» («Возвращение к жабам»):

Зачем позволять мне, чтобы жабыя сила
На короточки села на мою жизнь!
Не взять ли мне мой разум, как вилы,
И прогнать бестию прочь!

«Вилы» Ларкина мгновенно напомнили мне «камертон» Рокпелниса и вызвали во мне ностальгию по хлеву, в котором рокпелнисовская роза работала им. И хотя Калвин Бедиянт говорит нам, что Ларкин обладает «привлекательностью самоиронии, цивилизованной беспечности», я думаю, здесь уместно вспомнить о хлеве у Рокпелниса и его «хлев-изированной» беспечности.

Эта беспечность, возможно, должна приниматься с учетом более релятивистских эстетических позиций в Риге в целом. В литературных кругах, начиная с середины семидесятых, это явление известно, как «полифоническое видение». Как в полифонической музыке, это попытка писателя проследить одновременно за несколькими, часто противоречащими друг другу голосами. Голоса могут представлять не только различные точки зрения, но и различные настроения, различные слои общества, различные стили речи, даже различные жанры. В целом, в мировой литературе это хорошо известно, и полифоническая техника, хотя и не под этим именем, использовалась латышскими поэтами уже в 20-е и 30-е годы, наиболее красочно Александром Чаксом. В латышском эмигрантском литературоведении, позволю добавить, термин «полифония» впервые появился уже в 1960 году. Тем не менее, именно в Риге, заново открытая, идея полифонии в течение нескольких последних лет пережила настоящий ренессанс и нашла и воодушевила равным образом писателей и критиков. К примеру, она вызвала подъем нового вида «поэтической поэзии».

Традиционно, говорят нам, полемика направлена от полемизирующего вовне, против другого мнения, которое можно тут же привести. В новом типе полемической поэзии автор обращен во внутрь и спорит внутри самого себя — будучи как бы не уверен в своей собственной позиции, как бы в поисках альтернатив, как бы осторожничая в передаче суждений, в отношении которых не может быть достигнут компромисс. Это действительно освежающий подход к общему положению вещей, в особенности на фоне традиции незыблемых суждений, исходящих от незыблемых лидеров.

В качестве примера этого нового типа полемической поэзии Кравалис приводит следующее стихотворение Рокпелниса:

о лето, лето
павлины твои воспеты

спасибо, что ты голубым или алым
нам воробья не нарисовало

спасибо тебе и на этом,
что серенький он и летом

может это болезнь моих нервов —
необходимость серого!

серая кровь — в кутерьме цветочной!
это должно быть доказано, это должно быть доказано

точно,

но раны птички —
не различить их

о воробей, северно-серый мой,
на этой ярмарке красок ты выглядишь тишиной.

(Перевод В. Куприянова)

Каждый должен согласиться с Кравалисом, что это стихотворение развивает появляющийся в нем «другой голос» — голос, ставящий под вопрос обоснованность предпочтения, которое поэт оказывает серому. Отвечая, поэт с готовностью соглашается, что это могло быть всего лишь его собственное наваждение. (Все-таки не зря Рокпелнис изучал психологию . . .) Однако второй голос не унимается. Можно ли доказать, что действительно существует «серая кровь»? Обратите внимание на иронию при выборе поэтом слов, которые он влагает в уста Другого: научное, «непоэтическое» требование «точности». (Как бы высмеивая критиков! Критиков, все раскладывающих по полочкам! Критиков, как Кравалис! Однако Кравалис убеждает нас, что он не только отдает себе отчет в самообвинении, но уже сам знает лучше. Иными словами, не только его поэт, но и сам критик говорит здесь больше, чем одним голосом. Таким образом, описывая новый вид полемической

поэзии, Кравалис практикует новый вид полемической критики.)

Вернемся к стихотворению: прижатый требованиями доказательства, что кровь серая, поэт находит убежище в держателем языка-за-зубами иезуитстве, «но раны птичьих — не различить их.» В самом наблюдении, что «нет ран» [дословный перевод — прим. переводчика], содержится больше, чем просто толика сарказма: как бы там ни было, когда наши отношения с людьми — и точно также с идеями и со словами — стали столь рутинными, столь обезличенными, что в действительности ничто не задевает нас, — не береди раны. Соответственно, мы больше не уверены в цвете нашей собственной крови — и у поэта есть право на его веру, что она серая. Однако в двух последних строчках он напрочь отбрасывает всю софистику (как бы говоря — я всего лишь спарринговал с вами, чтобы выявить это в нашей системе) и добавляет затем с обезоруживающей задумчивостью истинное объяснение своей удовлетворенности «причиной серого»:

о воробей, северно-серый мой
на этой ярмарке красок ты выглядишь тишиной.

Очевидно, что среди множества прочих вещей Рокпеллис водит здесь счеты с избытком фейерверков в современном искусстве, в современной литературе, в современной журналистике, в повседневной речи. Практически все, что ни возьми в сегодняшней Риге, называется «колоссальным». На пропагандистском жаргоне леса больше не леса, а «зеленое золото» страны, рыбаки — это «пахари моря» и т. д., и т. п. В один прекрасный день Рокпеллис может проснуться и обнаружить, что его «серый воробей» рекламируется среди прочих туристских достопримечательностей, как «северный павлин». В предвидении подобных перемен он уже сочинил свою версию «Отчета», посвященного экономике народного хозяйства:

1. Успехи лип в выращивании листьев
замечательны, точно также
нельзя не отметить клены и березы,
если говорить о недостатках, то
необходимо упомянуть камень, который все еще не цветет.

2. Обучение котлов пению значительно
продвинулось вперед, прежде всего
в количественном отношении, однако,
нельзя не отметить самоотверженный труд
наших героических пахарей крыш в ночные часы.

3. По добыче белого золота декабрь сделал
гигантские шаги вперед, перегнав в этом отношении
даже такие развитые месяцы, как май и июль.

4. Совсем не выполнен план по выращиванию крыльев у лошадей.

Таковы Авгиевы конюшни языка, которые, по мнению Рокпелниса, должны быть расчищены перед тем, как восстанавливать еще что-нибудь — изображение национальной экономики, изображение серого воробья, изображение чьей-нибудь индивидуальности. Еще он озабочен изображением «голубого цветка романтизма», но это я хотел бы приберечь на потом. Какими бы удаленными друг от друга ни казались предметы, Рокпеллис соединяет их с завидным постоянством — всегда остроумно, однако всегда восприимчиво и всегда только по эту сторону бессмысленного. Сколько голосов бы ни было в его стихотворении, ни один из них не является «голосом, похожим на красных муравьев», который по словам самого Тейта, он слышит случайно.

Сказанного достаточно, чтобы сопоставить поэтический смысл и бессмыслицу Рокпелниса в Риге с современным поэтическим смыслом и бессмыслицей — не-латышским смыслом и бессмыслицей — за рубежом. Ну а Кронбергс — каким образом он склоняет чашу весов, на которые положены смысл и бессмыслица? Кронбергс выражает свои взгляды на это следующим образом:

что в его поэзии нет смысла,
это простительно
хуже другое:
в ней нет бессмыслицы

Пожалуйста, заметьте, что слово «бессмыслица» употреблено здесь как синоним слова «смысл»; но если вы действительно пойдете дальше и подставите «смысл» вместо «бессмыслица» в последней строке, то смысл будет потерян. Такова игра слов, благодаря которой катрен приобретает свой парадоксальный, свой причудливый характер. Но, как выразил это Фрейд, «смысл таится в . . . осмысленной бессмыслице и . . . этот смысл в бессмысленном превращает бессмысленное в разумное».

Итак, есть ли какая-нибудь честная бессмыслица в поэзии Кронбергса? Я думаю, нет. Кронбергс не видит никакого высшего смысла в этом мире, на пути, ограниченном «конечной остановкой». «/ Конечная остановка / Есть ли дорога дальше! / Нет / А

дорога назад! / Извините — это дорога в один конец/». Однако на своем пути к этой «конечной остановке» Кронбергс обязан извлекать столько человеческого — и шутиwego — смысла из человеческой и нечеловеческой бессмыслицы вокруг себя, сколько это возможно. Тем не менее, кажется, этой же точки зрения придерживается и Рокпеллис, только вместо «конечной остановки» он видит в конце пути путника, который сам «становится дорогой» — очевидно, дорогой для тех, кому будет дано больше, чем нам. Со своим утверждением человеческой жизни и человеческих отношений перед лицом высшей бессмысленности всего этого [или, как выражается Пол Тиллич: «Мы приходим из ничего и исчезаем в ничто, однако мы говорим жизни «Да!»)]. Кронбергс и Рокпеллис выделяются из литературы абсурда. Художественно это выражается в ограничениях, отделяющих их от огромных «незавоеванных территорий». Но это определяет то, что позиции двух наших молодых поэтов являются намного более прочными и отождествимыми с основной традицией не-бессмысленности у большинства латышских поэтов прошлого — несмотря на кронбергский и рокпеллисовский смех. И несмотря даже на вспышки сарказма и черного юмора, как в стихотворении Кронбергса «Карьера»:

Мы родились прямо на земле
и начали карабкаться вверх
на первом этаже у кого-нибудь развивается боль в ноге,
и он не может продолжать,
и мы оставляем его

на втором этаже у кого-нибудь развивается хроническая
головная боль,
и мы оставляем его

на третьем этаже у кого-нибудь случается сердечный
приступ,
и мы заживо хороним его в трещине
в бетонной стене нового здания

на четвертом этаже мы сталкиваем вниз тех,
кто столь бесстыдно
не отставал от нас
на пятом этаже мы наконец — одни
мой любимый,
и никто не увидит
как мы выцарапываем друг другу глаза.

Подобной крокодильей гримасе не было известно в латышской поэзии достаточно долго, если не вообще.

Самым показательным примером, в котором Кронбергс подходит к тому, чтобы использовать смех, как спасение, как бегство из ловушки, является следующий, где он представляет, что оказался внутри своего пищеварительного тракта и, таким образом, станет или жертвой своего рода самолюдоведства, или, если это хоть как-то возможно, задохнется насмерть. Эта затруднительная ситуация развивается следующим образом:

спокойно, не торопись
спокойно, переваривайся медленно,
переваривайся тщательно, аккуратно, с пониманием,
с пониманием, это важно,
потому что никто более не сделает это за тебя

переваривайся весь
оставь только свой скелет и свои брови

потому что твой скелет соединяет тебя,
а бровями ты выражаешь изумление

Менее серьезный поэт — тот, кто принимает слова менее серьезно — мог бы удовлетвориться, представив процесс самопереваривания только как фигуру речи и дать этому развиваться своим путем, не вызывая чувства физической угрозы; как бы то ни было, у Кронбергса творимая словами реальность должна была появиться, пугая своими последствиями настолько, чтобы подтолкнуть его прийти к своему собственному спасению. И он успевает спасти от себя ровно столько, чтобы оставить нам свой скупой нарисованный портрет: скелет с поднятыми бровями.

Это то, что Кравалис в Риге назвал бы «смеховые контрасты». «Смеховые контрасты», достигнутые через полифоническую оркестровку с диссонирующими голосами, несовместимыми парами слов, фальшивыми рифмами и другими неожиданными, делают у Рокпелниса другую разоблачительную выставку — выставку банальностей и глупостей, совершенных во имя модернизма против романтизма. Она объявляется поэтом в лучшей водевильной традиции, как «Песенка о голубом цветке романтизма»:

Шевелись, красотка-вошь,
Голубой цветок идилий!
Сладость грез прокиснет в ложь.
Поплыву на крокодиле
По реке, что стоит грош,
Где мы все плывем как будто.
Выйти — глаз не оторвешь
От прибрежных заблудок.

Ах, нельзя, нельзя, ну что ж,
Шевелись красотка-вошь.

В оригинале комические оттенки рокпеллисовской семантики, звукопись зачастую напоминают забавно искаженные аккорды и интервалы Стравинского, Шостаковича, Прокофьева 20-х годов.

А теперь еще раз переключимся на Кронберга и послушаем, как он, в свою очередь, создает смеховые контрасты, эффекты смехового отстранения, смеховые парадоксы путем комбинации определенных ритмов и определенной мелодической линии с неуместной здесь лирикой. Как известно, подобная техника лучше всего смотрится в сочетании с настоящей музыкой — как в «Трехгрошовой опере» — но многое может быть достигнуто музыкальными средствами самого языка, такими, как звуковая окраска, лейтмотив, повторение и т. д. В латышской поэзии здесь, в Америке, в 60-е годы подобная брехтовская дихотомия разработала свою шумливую веселость в сатире Яниса Креслиньша, особенно при передаче его собственных быстрых стаккато.

Не чуждый Брехту (или, в данном случае, Рембо или Вийону, у которых заимствовал Брехт), Кронберг использует эту технику собственного твиста в своем популярном хите, названном «Вальс»:

Я стою перед завесой воображения
и смотрю на рабов за стеклом
потрясения прошлого или обязанности будущего
больше не угрожают мне

в чудесной бальной зале ритм вальса

раз два три
раз два три
раз два три

скок стук друг о друга
и один вокруг другого

раз два три
раз два три

я ведь знаю что это неправда
ты только пытаешься объяснить мне что я из себя
представляю

я два три
я два три

раз два три
раз два три

захвати меня на поезд
и ты увидишь что случится
но не ожидай чудес
так как я буду вынужден нестись прямо
иначе я грохнусь
моя скорлупка расколется
и все мое содержимое станет видимым

ха ха ха
ха ха ха
ха ха ха

я ведь знаю что это неправда
ты только пытаешься объяснить мне что я из себя
представляю

я ха ха
я ха ха
ха ха ха
ха ха ха

подожди еще несколько лет
насекомые заползут в твои ноздри
обложат твой живот и выживут из тебя разум
не удивляйся
смеялся ты за это расплываешься собой

раз два три
раз два три
раз два три

жизнь пуста
ад переполнен
исчезни куда угодно
только не пытайся объяснить мне что я из себя представляю

я ля ля
я ля ля
тра ля ля
тра ля ля

В ту ночь, когда я закончил статью, Кронберг продолжал вальсировать в моем воображении. Первое впечатление было таково, что он танцевал сам с собой, в виде упражнения. Но затем я заметил, что он слегка склонился, его руки были вытянуты и охватывали пространство до уровня колен — как будто он танцевал с ребенком. А, он танцует уже с маленьким Эгиллом, своим первенцем, подумал я. Но когда его партнер стал виден мне, я увидел, что это был вовсе не Эгилл, а насекомое — как-то промелькнувшее, как в мультфильмах — но, тем не менее, насекомое. Как увеличенный жук, только бледный, почти что белый.

Прежде чем это успело уложиться у меня в мозг, я услышал голос, зычно зовущий: «Шевелись, красотка-вошь!» Голос принадлежал еще одному персонажу, которого я теперь начал различать в тумане. Он сидел на корточках — но не «на речном берегу, у воды». По тому, как он мягко покачивался на волнах, я понял, что он сидел на корточках на воде. Что-то показалось мне знакомым. Да это же Балтийское море! Да, посреди Балтики, приседая на воде, Рокпеллис следил за тем, как, мерно покачиваясь на волнах, Кронберг вальсировал с «прекрасной вошью».

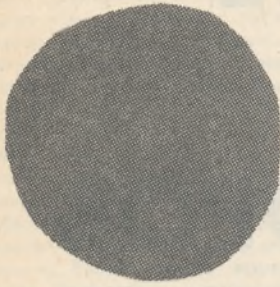
Перевод с английского ГРИГОРИЯ ГОНДЕЛЬМАНА

Текст публикуемой статьи был представлен на третьей конференции, посвященной балтийской культуре, которая состоялась в Мэдисоне, столице штата Висконсин, в апреле 1977 г., и была организована совместно Висконсинским университетом и Американской Академией Балтийских Исследований [AABS]. Опубликовано в «Джорнэл ов Болтик Стадиз» («Вестник балтийских исследований»), том VIII, № 4 Зима, 1977/, сс. 301—311.

Стихотворные переводы, автор которых не указан, выполнены Г. Гондельманом.



ЭПИЛОГ В СТОКГОЛЬМЕ: НЕРЕАЛЬНАЯ ФАНТАЗИЯ



Я иду с опущенной головой по Стокгольмским улицам,
но вижу только Вецригу, в мостовую вросшие камни,
я голову запрокидываю, закрываю глаза руками,
может как в сказке я расцвету невиданным прежде цветком
самолеты вокруг стебля
закружат волчком,
Я пройду сквозь облака,
словно кол,
но сам цветок
перекину над Ригой —
в дрянную погоду
от бурь защищу ее,
а в солнечную зато уменьшусь на несколько дюймов
и буду как зонтик от солнца на Юрмальских дюнах

Рига — Стокгольм,
февраль — март 1975 г.

ПЕСНЯ О ДВУХ ЛУЦИЯХ

высится собор кафедральный
веры путь магистральный

внизу остается большая яма
и древнего рабочего скелет

построй там здание банка
и в упор расстреляй из танка


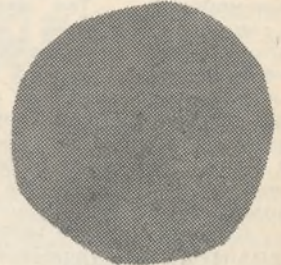
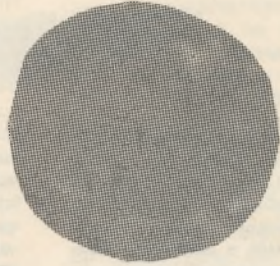
внизу как военный салатик
спит иссеченный солдатик

построй там парламент
разума и мира монумент


голуби мира слетаются в стаи
все подоконники грязными стали

взвиваются парламент и президент
— это всего лишь один прецедент! —

евшийся часто и жеванный немало
спит внизу скелет идеала



КОСМОПОЛИТИЗМ



я наскреб себя по Стокгольму
и простил тебя за все твои Нью-Йорки
чтобы невзирая на лица
потоптать в твоей Ницце

иди ты в конце концов в Лондон
как тебе не стыдно в зимнее время
Буэнос-Айреть по моим Бангкокам

что там это Иерусалимское
рядом с идеей моих Вашингтонских

выпьем лучше по стаканчику Вены
и все снова станет Каракас
только не Тбилисничай глазами так Найробично

ЕВГЕНИЙ ЗВЯГИН

ПСИХОСВЕТОВОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ ЭРМИТАЖНЫХ ДВОРОВ

(ЭТЮД — ВОСПОМИНАНИЕ)

Осень. Подрабатываю в архиве. Подметаю вокруг него улицу. Напротив — знаменитый подъезд с атлантами. Левей, за высоким сквозным забором из кованых пик — долгий внутренний двор, узкий, всегда полутемный; лишь в дальнем стеклом торце его взблескивает пространство еще не уснувшей к зиме реки.

Недавно прошел дождь. Яркие листья лежат на мокром асфальте, как золотые монеты на черном бархате. С непринужденностью завязатого ювелира сметаю их в жестяную копилку совка.

Помнится, лет семнадцать тому назад я занимался примерно тем же, только на другой стороне улицы. Золотые кусочки смальты блестели под карнизом противоположного дома в острях, бесплотных лучах осеннего солнца, высвечивая буквы: «Военно-морской»... Там шелестел на ветру старый высокий ясень в маленьком мглистом садике; у подножия дерева бледно-фиолетовым, немного коптящим светом горела чуть пожухшая от ночных холодов, но все еще яркая клумба осыпающихся флоксов. Несколько резных ясеневых листьев запутались в лаковых атлантовых ступнях; я их оттуда извлекал.

В Хозяйственную часть Эрмитажа меня привел красивый молодой человек, Евгений, брат поэта и сын художника. Несколько визитов нанес я к будущему начальству, но, согласно обряду, был отсылаем. Полагалось выказать определенную настойчивость. Евгений меня успокаивал, — все, мол, будет в порядке. И действительно, все устроилось.

Начальница наша — человек, конечно, незаурядный. В прошлом — фронтовая связистка, член партии, она понимает, что к чему в этой жизни. Тем драгоценней тот факт, что ее благим попустительством расцвела в Команде хорошая, подлинно интеллектуальная жизнь. В истории русского искусства эта женщина сыграла роль, наверное, большую, чем какой-нибудь, скажем Д. Ведь при Команде в разное время кормились, и не только в смысле материальном, многие будущие поэты, художники и артисты. Бывало, влетает к нам в раздевалку кто-нибудь посланный из дирекции, и вопрошает: «Нет ли у вас, ребята, человек, писемкишо на сербский перевести?» Тут же встает Боря Зак, снимает ватник и рукавицы, и говорит как ни в чем не бывало: — «Что за письмо? Ну-ка дайте! Сейчас обмозгуем...»

Да что там, все знают, что за допущение выставки художественных работ технических сотрудников Эрмитажа, просуществовавшей полтора дня, полетел с директорского поста заслуженный Артамонов. Вот и поклон его праху. Дело понятное — сам начинал поэтом. А на выставке дебютировал М. Шемякин — ныне художник везде известный.

Да-с, вот такие-то были шикарные времена. Времена начальства хорошего, портвейна дешевого, поллитрового... Чем не золотой век?

Особенным, золотистым поскрипом встречали нас полы пустого дворца. Это было по четвергам, в выходной, не наш, но музейный, когда-то и шла основная внутренняя работа. Старушка-сиделица в форменном черном халатике, оторванная от оживленной болтовни на французском со своею товаркою из смежного зала, а может, еще и по смольнинскому дортуару, предшествовала нашей нестройной группе, позванивая ключами. Гордою призмизною спины, истинно петербургскою дамскою спесью она, сама того и не ведая, нам давала понять: «Тише, пащенки, не галдите! Вы, все же, в месте важнецком, ведите себя с достоинством!» И не суть, что время сделало из нее старую коммунальную змейку, что-то в ней было лихое, незабываемое!

Она отпирала дверь в назначенный зал. Первое, что бросалось в глаза, — высокие стволы окон, колокольню звенящие блестящим лиственным светом. Окна выходили в Большой эрмитажный двор с его хозяйственными из пожухших досок постройками по периметру, какими-то вагончиками и низкими штабелями; доминировала — старинная маленькая дубрава в середине двора. Весь сад стремился вперед, на простор Дворцовой, на обратный природный шторм сквозь ажурные запертые ворота, и предводителем этого зеленого войска, на миг развернувшимся и целящим во фланговую опасность, был поджарый и мускулистый «Лучник» Штробля...

А внутри зачастую встречали нас маленькие дворцовые чудеса. Однажды заводили часы с павлином. Звонить они уже не звонили, но — оживали. Что-то внутри них начинало стучать и жужжать, и павлин под ветвистым позолоченным деревом вдруг раскрывал хвост. Петух, присанившись, беззвучно прокукарекал. Сова начала вращать своей страшноватой головой.

Там, за стеклянным колпаком, совершалась забытая, до срока таящаяся, сокровенная жизнь. Отдавало все это мороком, сном. Мы смотрели и слушали не дыша.

Была еще в уютном беленьком зале поющая люстра. Когда ее запускали, издавала она чистые тилинкающие звуки старинного менюэта. Легкие блики от ее хрустальных подвесок тихо покачивались на бледных стенах и потолке. Здесь, говорят, арестовали членов Временного правительства. Так и скрывались их солидные фрачные спины за дверью, в темноте коридора, сопровождаемые чистыми тилинкающими звуками...

Впрочем, торжественное настроение очень скоро нас оставляло. — «Тяжело писал Делакура!» — говорил я, подмигивая Гере Сабурову, и одновременно утирая пот со лба, после нелегкой подвески одного из особенно массивных шедевров. — «Дикий народ, горцы!» — ответил Герушка, и мы, не сговариваясь, шли курить в туалет. Поскольку он был чем-то вроде нашего бригадира, его примеру следовали и остальные.

Герушка (кого называю так не в силу особенной близости, а — так его все называли — потому что в Команде его любили) был, что называется, круглая сирота. Знал послевоенное беспризорство. Стал сочинять стихи. Когда-то, чуть ли не в подростковом возрасте, я с ним по случаю выступал в одном техникуме. Что-то читал он про милиционера, как его Ельянов ни останавливал. «Он вовсе не хозяин ночи, а только поводырь ее». Ударным стихом его была «Карельская дудка». Я не люблю в этом роде, и с Германом был ни в чем не согласен. Как будто бы правильно, потому что из дудки много не выпелось, рожок подморозило еще в начале нашего века. Может быть, он и отгадет, как знать?

Итак, мы шли курить в туалет. Коридором мимо двери в библиотеку. По бокам ее — тихий свет — Мастер зимних пейзажей. Томно было смотреть на давние чужие катки, заиневшие деревья, из-под которых доносились, казалось, белые далекые крики. Обернулся на шорох — Боже, вровень со мной — уже настоящая, не призрачная зима. Лишь открой стеклянную дверь и снимешь флок снега с узловатой ветки сакуры!

Висячий сад — переменчивое эрмитажное сердце, маленькая разноцветная кар-

та, украшенная навек умолкшими голубятнями. Ты замкнут, словно тюремный дворик, куда деревья вывели на прогулку. Ты и весь привнесен изнутри строения — я сам подавал метлахскую плитку для твоих миниатюрных дорожек снизу, сквозь перекрытие, через люк. И все-таки ты живой, подвержен и зною и градобитию, потому что верхушкой у тебя — небо. И, проходя мимо тебя павильонным залом, маленький перевертыш, я любовался цветущей сакурой, зеленым газонцем, а голуби вправду гуляли, только они являлись с воли — не изнутри.

Пришли покурить. Я давно замечал, что акустика туалетная — вещь особая, крайне звонкая, тем более — при дворцовых масштабах. И для нас эти малопrestижные помещения, вернее их, так сказать, предбанники, были чем-то вроде гостинных комнат. Некоторые — пороскошней, с дубовыми лавками под лак, другие — рангом пониже. Здесь мы вели нескончаемые беседы об искусстве или политике, и тяжелого чувства эти беседы не оставляли, потому что не разразилась еще та идейная дифференциация, которая людей, в оное время близких и невраждебных, делает ныне чужими друг другу. Очень уж был там неспертый для мыслей воздух...

А еще мы здесь пели и выпивали. Особенно нам полюбилась «гостинная» на Комендантском подъезде. На Комендантский толпу не пускали, это был регион хозяйственный, далекий к тому же от всех начальственных кабинетов. Каждый из нас стремился поскорее занять свое место в одном из скрипучих фанерных кресел, связка которых стояла в предбаннике у окна, или на каменном подоконнике.

Солировал часто поэт О. О. Пел хорошо поставленным голосом, правда, с некоторым недостатком внутреннего слуха. Его ударной песней была «Лучинушка» (не «Лучина»).

Или ты, моя лучинушка,
В печи не была,
Или лютая свекровушка
Водой залила...

Мы, несколько подчас вином подогретые, и впрямь представляли Олега несчастной невесткой, и почти со слезами всматривались в горькие складки его гладкого, с отпечатком еще не вполне отошедшей юности, чуть-чуть девичьего лика. Это были для него годы подлинного лиризма, да и только ли для него одного?

Другой наш солист, прозаик В. А., обладал недюжинной сладости тенором. Это был, как положено тенору, молодец довольно объемистый. Так его здесь и кликали — Вова-толстый. Впрочем, в те годы собственно толстым он не был, а был массивен и мускулист. Он предпочитал оперный репертуар. Особенно удавалась ему ария из «Жидовки».

Рахиль, ты мне дана
Небесным провиденьем.
Но я тебя на суд отдаю,
Но я тебя на суд отдаю...

Его пение сообщало всей нашей дворцово-хозяйственной атмосфере несколько прустовский колорит.

Потом мы надевали ватники, поводили плечами, как бы раздавая съездившееся в тепле тело, и шли на один из малых, бездревесных дворов колоть лед. Водитель уже подогнал из гаража маленький ТУМ с большим прицепным кузовом, и мы кололи ломом лед, и крупные его

глыбы, отражавшие на изломе синее небо, грузили в повозку. А признаки середины апреля свербили наш возбужденный глаз. С крыши падали блестящие капли, норовя сигануть и за ворот ватника. Окна верхних этажей сверкали с извечным, но юным по-новому торжеством, размножая солнечные лучи, которые пестрою дымкой оседали на голубизне противоположной, теневой стенки дома, то есть двора. Бездонной радостью наполнилось небо.

Потом наступало лето, и мы снова оказывались на Большом эрмитажном дворе — выколачивали, проветривали и сушили залежавшуюся за зиму коллекцию ковров. В начале июля пекло и блистало уже весьма основательно, и трепет раскрывшихся листьев, проходя по асфальту, еще усыпанному клейкой лужой недавно лопнувших почек, задевал притушенно-яркую расцветку ковров. В этой притушенности дремала какая-то особенная, персидская странность, и мифологические то ли животные, то ли цветы или птицы, начинали страшновато так шевелиться в лепете живой лиственной тени, еще не плотной об эту пору. Но мы-то не очень пугались, ловко набрасывая ковры на ветку, и колота по ним чем попало, гортанно галдя; на время строга и чуть сумрачная атмосфера имперского питерского барокко оставляла данное место, и оно становилось похоже на какой-то ближневосточный оазис. Довершала сходство вдруг забывшая среди деревьев рыжая, бойкая струя опробуемого фонтана, которая на глазах становилась все бесцветней и чище, пока, наконец, не взлескивала на солнце всей своей версальской пышностью.

Да, вот такая культурологическая путаница всегда здесь царила, и это объясняется самим назначением сокровищницы, собравшей останцы различных культурных эпох на сравнительно узком, хоть и продуманно-роскошном пространстве. Мы, правда-таки, опять повторяю, не терялись. Спасительное легкомыслие молодости все как-то в нас уравнивало. Мы несли какой-то древнеючий саркофаг, изрисованный магическими формулами, имеющими, возможно, испепелить, сжечь со света способного их понять, под бравою песню: «Умер наш дядя, хороним его». Могли подрисовать и собаке на старинном французском gobelene пикантный хвостик. В этом не было никакого цинизма, напротив — чувство, может быть, и несколько бесшабашное, свободной ассоцированности со всем этим культурным великолепием. Однажды нас чуть не раздавил громоздкий роденовский «Поцелуй». Это было, когда мы монтировали выставку французской скульптуры в Николаевском зале. Там рядом была темная лесенка со служебным лифтом, равномерно зудящим около нас и бросающим желтые блики из разных своих щелочек. Здесь мы отдыхали после утомительной монтировки образчиков гальского пластического гения. Возвращаясь же в Николаевский, вдруг наткнулись на японское богослужение, ибо прошел уже год или более, и скульптура тут возвышалась японская. Бронзоволикие, с выбритыми головами монахи сами-то были похожи на изваяния в широких оранжевых хитонах. Густое — Ouml Ouml неслось по блестящему паркетному залу, и мы, слегка под хмельком, с особенным чувством ему внимали. Тут меня поразили проникновенные чурочки и полешки несравненного Энку; понял я, что искусство, ежели оно не французское, может быть чрезвычайно скупым и отточен-

ным в средствах своей выразительности, и духовность, полная, без изыятия, есть принадлежность не одной только христианской культуры. Ничего не поделаешь, об этом непреложно свидетельствовали мои зрительные рецепторы; вопрос этот, однако, настолько сложен, что лучше его оставить до конечного (или, верней, бесконечного) разрешения. Думается, что простое русское слово «ум» — тоже от «оум», впрочем, я не буддист, не в пример многим другим дворникам.

Следует описать и — в пандаму музейной сокровищницы — кладовую нашей начальницы. Сколько там было не мемориального, но просто старинного и интересного хлама. Какие-то муаровые мешочки с инициалами (говорят, их использовали под рождественские подарки для дворцовых служителей), медные и серебряные орленые пуговицы, мел, линолеум, пленка полиэтиленовая, бронзовые подсвечники, ведра, цельнокованные велосипеды, небольшие, судя по всему, подростковые, но еще без передаточной цепи, а с огромным передним и малым задним колесами. Что за инфанты на них катались, какие царственные «квилби» (по выражению В. Набокова) выписывали они на аллеях сада — никто уж, наверное, и не вспомнит. Нашли мы где-то под лавкой и довоенную «маленькую» с уцелевшей этикеткой «пшеничная». Кстати, на питейную тему. Бытовала среди нас легенда о замурованных во время революции, а потому сохранившихся некоторых отсеках винных подвалов. Частенько мы о том вспоминали, особенно по тяжелым дням — понеделникам. Кончалось это всеобщим скидком. Посылали на угол Герцена и Невского, где была упраздненная ныне «разливуха» Евгения, того самого красивого парня, который мне протезировал, и он возвращался неторопливо с чайником, полным разливного коньяку. А до царских подвалов, как ни пытались, так и не добрались. Наверное, их и нет вовсе...

Выбрались мы из очерченной экспедиции по подвалам на тихий, сумрачный дворик, чьи тяжелые, почти крепостные ворота ведут на Зимнюю канавку. Редко, лишь несколько раз в году, открывается. Двор этот сумрачен даже в летнюю пору. А тут — вообще — и грусть, и томление. Мягкая, припорошенная снегом, тишина. Белые валики скопились на оконных карнизах, вернее, не белые, а голубоватые в безвоздушном декабрьском освещении. Притихли и затопились наши сердца от этой застывшей, затиснутой, камерной, млечной мглы. Тихо падает снег, оставляя на лице и руках мокрые точки. Мы молды, но в сердце — предчувствие как бы уже прожитой жизни, томление будущих перемен, жалкого и желанного путешествия. Ну, что ж, прошло уже добрых семнадцать лет. Их уж нет, а те — далеко... Кроме уже упомянутого Мишеля, никто из нас не добился большой известности. Да и с деньгами — швах. Потому-то и подрабатываю в архиве, через дорогу. Что же поделаешь — чем-то ведь надо оплачивать ту золотую пыльцу, чей мягкий ответ спустился на сердце еще в юности и светит из глубины эрмитажных дворов, как средоточие прекрасной приверженности ко всему прекрасному и высокому, приверженности, отличающей наш разномастный круг, похоже, увы, не имеющий ни близких предшественников, ни прямых наследников тоже.

«...ПОКА НЕ ИСЧЕЗ»

Странное это занятие — писать о человеке, так сказать, «безвременно уехавшем». Можно, конечно, прикинуться этаким бодрячком-«небожителем» и написать что-то отстраненно-поэтическое, обходя «внешние обстоятельства» — еще бы, что такое поэт и поэзия в сравнении с ними, сердечными... Однако, вот вам: не буду. Потому, что обстоятельства эти настолько трагичны, насколько и... доступны, что ли...

Обстоятельства эти привели к тому, что русский поэт Владимир Язмович Френкель в декабре 1987 года покинул родину, покинул Ригу и любимый свой Ленинград, быть может, навсегда, предварительно проведя без малого полтора года в заключении, в известной сегодня на весь мир «Семерке»¹.

Мы не в состоянии здесь и сейчас усомниться в справедливости приговора, сомневаться, не является ли заключение в уголовный лагерь «диссидента» не просто наказанием, но пыткой, то есть преступлением. Сегодня мы можем лишь вспомнить его имя и его поэзию.

Это далеко не первая встреча с Френкелем-поэтом. В этом качестве он никогда не был «запрещенным», непубликуемым (разве что в годы «обстоятельств»). В 1977 году в Риге вышла его книга «Земное небо» — книга неординарно-ровного поэтического дыхания.

Но Френкелю было тесно в поэзии — он не мог, не умел и не желал реализовываться только в ней. (Да простит меня Володя, что я говорю о нем в прошедшем времени, но отвыкнуть от того, что выезд — это еще не все, не было ни времени, ни особых поводов). Вообще, Френкель — мыслитель представляется мне гораздо более неоднозначным и потому интересным, чем Френкель-поэт...

Я понимаю, что все время съезжаю с правильной колеи, но судьба Владимира Френкеля — это во многом типичная судьба интеллигента «из незапрограммированных», в том числе и моего поколения. Ведь то, что произошло с ним, могло произойти с каждым из нас... Ну, почти с каждым. Ведь все мы по поводу «внешнего» думали и думаем одинаково (или почти одинаково). Разница лишь в том, что он еще и говорил то, что думал. Говорил так, чтобы быть услышанным. Так, как считал нужным.

Думать и говорить то, что думаешь, — разница для человека небольшая, для Вахтера (как назвал этот субстрат А. Башла-

чев) — огромная. Роковая. Но кто думает об этом, уже забывшем, кем, когда и зачем присовокупленном к нашему, скажем, быту, трудяге, когда говорит о... да вот об этом, хотя бы?!

Все начинается с учителя. Володиным учителем давно стал Бог. Он умел общаться с Ним. И Бог сказал своему ученику — «Не лги». Ученик понял это как благословение к действиям.

Вот, что он написал, например, о Библии. В приводимой цитате — ключ не только к его теологическому мировоззрению, но и в значительной степени — к поэтике стиха: «Каждый миг священной истории значителен, потому что неповторим и оригинален, и ничего не происходит «начерно»: дух современного «социального эксперимента» как нельзя более чужд Библии»².

Действия эти и привели его (именно это — жажда Правды, а не жажда конфликта) — к конфликту с «обстоятельствами».

Дураки говорят: «Все могло быть и иначе. Ему просто не повезло.» И они отчасти правы, ибо мы придумали жизнь, в которой везет лишь дуракам. Причем, не обязательно в самом деле быть дураком — прикинься, и на том спасибо, Его Величество Вахтер теперь не такой принципиальный, он и искусственных потерпит.

Володя притворяться не считал нужным. Он вел себя, как солдат. Он остался верен присяге на войне человеческого с нечеловеческим.

Да-да, господа, у нас идет война, она тотальна, ибо охватывает все области деятельности и, как на всякой войне, здесь есть свои победители и побежденные, герои и негерои. В Френкель для всех, кому чуждо нечеловеческое — невосполним. Независимо от убеждений, национальности и отношений с Богом.

А Рига пустеет и пустеет... Сколько ярких людей уехали и вынуждены были уехать за последние 10—15 лет? С кем останешься, Вахтер? Что и от кого охраняешь?

Наступит ли время, когда ДЛЯ ВСЕХ станет очевидно: НЕЛЬЗЯ ПРОИЗВОДИТЬ ТРЕПАНАЦИЮ ЧЕРЕПА КОНСЕРВНЫМ НОЖОМ. Что мышление «старое» осилит не субъективно более «правильное» (от такого до кровавой клоунады Джурашвили — один шаг), но объективно более нравственное?

АЛЕКСЕЙ ИВЛЕВ

¹ См. статью «Беспредел», в журнале «Огонек», № 32 за 1988 год. (прим. ред.)

² См. В. Якубов «Прах и пепел», журнал «Часы» № 43, Ленинград, 1983.

Владимир Френкель

Полубезумная старуха-ностальгия
Идет и говорит сама с собой
Чего-то ищет в двориках и парках
Всегда одна вся в красном почему-то
Сутула раздражающе нелепа
Она ведь дома что еще искать
Но все-таки весь день чего-то ищет
Чего-то шарит на ходу жует
Ей верно кажется что понарошку
Прошли года и есть куда вернуться
Вот за углом другое будет время
Другое место и судьба другая
Но за углом такой же точно угол
И возвращаться некуда как видно...

И осень безучастная горит.

МОСКОВСКИЙ ТРИПТИХ

I

Бессмысленно запутана столица,
Идешь, бредешь, и вовсе не туда
Приходишь, и не те увидишь лица,
И дом не тот, и улица не та.

Так вот она, свобода заблужденья,
Блуждания, хождения в народ...
Уж за полночь, и есть такое мнение,
Что даже город за полночь не тот.

1982

II

*Москва! Как много в этом звуке...
А. Пушкин*

Ну, встречай, пусть нехотя, Москва!
Где-то там вода твоя живая,
Бодрая, стоустая молва,
Катится от края и до края.

Живости тебе не занимать,
Ты по-русски шпаришь преисправно,
Пусть и ни бельмеса не понять,
Что ж, косноязычие державно.

Третий Рим, на что еще годна
Нынче покаянная рубаха?
Что же, все исполнилось сполна,
Тяжела ты, шапка Мономаха.

Невидаль какая — Третий Рим!
Выдумать могла бы поумнее.
Что, Москва, пред именем твоим
Русскому — да все твои затеи?

Все твои, Москва, колокола,
Снятые, молчащие отныне,
Все твои разбойные дела,
Гордость наша, общая гордыня.

Если ж только имя — звук пустой,
Ты пуста, Москва, до разоренья,
Коль не быть столицею святой,
Ни к чему и все твои раденья.

Ты пуста, Москва, как барабан,
На Садовых нету садоводства,
Вперемешку правда и обман,
Смех и горечь, русское юродство.

— Видите, лихи мои дела,
Если и зовут золотоглавой,
Это значит — сожжена дотла
И накрылась золотою лавой!

— Что еще могла бы я спасти,
Кроме слез юродивых и смеха?

Ты прости, Москва, меня прости,
До тебя я так и не доехал.

1982

III

Полно кичиться Иваном Великим,
Полно искать родства,
Я на твои большеглазые лики
Не загляжусь, Москва,

Несуществующий звон доселе
Не загихает твой.
Что померещилось там, в метели,
В небе, над головой?

Польские кони, иль Самозванец,
Плаха, блеск топора,
Иль бородатый лихач и танец
Снега вокруг костра?

Вся перепутана в сне и яви,
Не разбери-поймешь.
В бунте или церковном праве
Правда твоя и ложь?

А над тобою вороний морок,
И купола горят.
А в отдалении стынет город,
Северный твой собрат.

Перекликаются в русском поле
Ладога и Нева,
То отголосок полночной воли,
Страхов твоих, Москва.

Все оказалось одной судьбою
Росстаней и потерь.
Что же осталось? Господь с тобою,
Что же еще теперь.

1982



Половина третьего. Зима.
День недолог и недолог путь.
Безнадежно ровные дома
Сияются хотя бы не уснуть.

День на сновидение похож,
И на ужас чистого листа,
Вижу — все окутавшая ложь
Паром вылетает изо рта.

Воздух стынет. Все запрещено.
Скулы и дыхание свело.
На заиндевевшее окно
Крестиков узором намело.

Ничего не видно. Ну и пусть.
Слишком много в мире этом чувств.
Господи, какая благодать —
Не смотреть, не думать, не дышать.

1987

Меня застрелят на границе,
Границе неба и земли.
Душа всполохнутою птицей
Растает в северной дали.

А тело в смертное оденут,
И в землю колышек вобьют,
Но не пойму, куда же денут
Последних несколько минут,

Когда, друг друга узнавая,
Соединятся на крови
Земля горячая, живая,
И дар божественной любви.

То будет час перед рассветом.
Померкнет на небе звезда,
Путеводящая на этом
На белом свете, и тогда —

Тогда в какое-то мгновенье
Меня коснется благодать,
И тайной горечи движенье,
Что ничего не досказать.

1984

Что, сестра моя разлука,
Мы с тобой еще ни звука
Не произнесли,
А уже и так понятно,
Ты — туда, а я — обратно,
По краям земли.

Мне с тобою, недотрогой,
Посидеть перед дорогой
Грустно, спору нет.
Лучше было бы, не скрою,
Просто жизнь назвать сестрою,
Как назвал поэт.

Но сегодня на примете
Ближе нет уже на свете
Этого родства.
Да, наверно, я и с нею
Объясниться не сумею —
Не найти слова.

Видишь, в наше время года
Онемевшая природа
Стынет за окном.
То-то — родственные души —
Мы с тобою бьем баклуши,
Да чего-то ждем.

Нам пора бы расходиться,
Этак долго не годится —
В сумерках молчать.
Снега синие заносы
К нам заглядывают косо
И уходят вспять.

Что же мы глядим со страхом,
Что там вьетса мелким прахом,
Что за колдовство?
Там безжизненное поле,
Свет до края, свет на воле,
Больше ничего.

1981

ГАЙТО ГАЗДАНОВ

В январе 1930 года 26-летний Гайто Газданов выпустил в Париже свой первый роман «Вечер у Клэр», принесший ему известность в литературных кругах русской эмиграции и среди читателей. Книгу свою, вопреки сложившейся среди эмигрантских писателей традиции, он послал Максиму Горькому. Горький Газданову сразу ответил, признал без колебаний его талант и пытался издать книгу в России.

Опубликовать роман не удалось, и Газданов остался неизвестен не только широкому читательскому кругу, но и специалистам по русской литературе. И все же Газданов повезло. Американский славист Ласло Динеш стал прекрасным биографом и тонким интерпретатором творчества Гайто Газданова. В 1976 году им был прочитан в Нью-Йорке доклад: «Гайто Газданов — превосходный соперник Набокова», в 1977 году им же была защищена первая диссертация по Газданову в Гарвардском университете, которая отдельной книгой вышла в Мюнхене. Несомненно, его работы послужат возрождению имени Г. Газданова и возвращению в официальную историю русской литературы.

Гайто (Георгий Иванович) Газданов родился 6 декабря 1903 года в Петербурге, по происхождению осетин. Его отец — Иван Сергеевич Газданов — окончил Петербургский Лесной институт, и Газдановы переезжали в Сибирь, затем в Минск, оттуда в Тверь и Смоленск. Газданову не было шести лет, когда умерли две его сестры, в 1911 году он потерял и отца. К началу первой мировой войны Гайто остался вдвоем с матерью — Марией Николаевной Абациевой. Школьные годы Газданова прошли в харьковской гимназии и Полтавском Кадетском корпусе.

В 1919 году он бросает учебу и шестнадцатилетним подростком вербует в Добровольческую армию Врангеля. Прослужив год солдатом на бронепоезде, он эвакуируется вместе с разбитой армией Врангеля через Крым в Константинополь. После пребывания в лагере Галлиполи он возобновляет прерванные войной занятия и поступает в 1922 году в русскую гимназию в Константинополе, затем переходит в Русскую шуменскую гимназию в Болгарии. В 1923 году он оканчивает ее и переезжает в Париж.

Первые годы в Париже были тяжелыми: Газданов был грузчиком в Сен-Дени, мыл паровозы, работал сверлильщиком на автомобильном заводе. Зимой 1925—1926 гг. Газданов не мог найти работу и жил как клошар, ночуя на улице.

К началу 30-х годов Газданов находит, наконец, работу, позволяющую зарабатывать деньги на жизнь и иметь время для писания, — он становится на долгие годы шофером ночного такси. Газданов, соприкоснувшись с низами общества — проститутками, уголовниками, сутенерами и калеками, изобразил парижское дно во многих своих произведениях, особенно в автобиографическом романе «Ночные дороги» (Нью-Йорк, 1952).

Первый свой рассказ — «Гостиница грядущего» Газданов напечатал в 1926 году

в пражской «Воле России», и с тех пор часто печатался на страницах русских эмигрантских журналов. Одновременно он активно участвует в литературной жизни Парижа и учится на историко-филологическом факультете в Сорбонне. В 1928 году М. Слобим основал в Париже литературное объединение «Кочевье», на вечерах которого читали свои произведения и выступали в дискуссиях Г. Адамович, В. Ходасевич, Д. Мережковский, М. Цветаева, М. Осоргин, Г. Иванов, А. Эйнер (вернулся в СССР), Б. Сосинский (вернулся в СССР), А. Ладинский; Газданов выступил с докладами «Миф о Розанове», «Чувство страха по Гоголю, По и Мопассану», о творчестве Ремизова, Бунина, Маяковского, о молодой эмигрантской и советской литературе. Состоялся ряд авторских вечеров Газданова, на которых он читал свою прозу.

Поворотным событием в литературной жизни Газданова был выход его первого романа «Вечер у Клэр». Эмигрантские критики от Г. Адамовича до В. Ходасевича, от В. Вейдле до М. Осоргина заговорили о Газданове как о самом талантливом, наряду с В. Набоковым, русском писателе-прозаике. Роман был одобрен Бунинным, М. Осоргин подчеркнул подлинность таланта Газданова и нашел «художественные возможности Гайто Газданова исключительными». Другой эмигрантский критик В. Вейдле, сравнивая Г. Газданова с В. Набоковым-Сиринным, пронзительно определил существенное различие между ними: «Газданов писатель очень талантливый и, несмотря на относительно незрелость его книги, непосредственного своеобразия в ней не меньше, а скорей больше, чем у Сирина. Только дара выдумки, сочинительского дара, столь щедрого у Сирина с самых первых его шагов, Газданов пока не проявил и как будто не обещает. И «Вечер у Клэр», и «Водяная тюрьма» — автобиографические отрывки, разве лишь окутанные, но не созданные вымыслом». (Возрождение, 1930 г.).

Успех первого романа открыл перед Газдановым страницы престижного парижского журнала «Современные записки», где были напечатаны два романа — «История одного путешествия» и «Ночные дороги», ряд критических статей и рассказов. Среди них — «Счастье» (1932 г.) — в котором Газданов, описывая литературные пороки юного Андре, дает ироничный автопортрет собственной литературной манеры начала тридцатых годов. В тридцатые-сороковые годы Газданова часто сравнивали с В. Набоковым, и общим местом был взгляд на них, как имеющих примерно равный литературный талант и возможности. Разбирая газдановский рассказ «Счастье», Г. Адамович писал: «... Г. Газданов пишет о французцах. Это очень способный беллетрист, по блеску и какой-то постоянной удачливости письма, стоящий рядом с Сириным или непосредственно после него» (1932 г.). В 1938 году роман «История одного путешествия» вышел отдельной книгой в Париже. В это

же время Газданов начинает публиковать в парижских «Русских записках» новый роман «Полет» (опыт разных форм любви). Неудачным для литературной судьбы Газданова было то, что романы «Ночные дороги» в «Современных записках» и «Полет» в «Русских записках» предназначались для печатанья в 1939—1940 гг., но оба журнала перестали существовать. «Ночные дороги» были впоследствии изданы в 1952 году в Нью-Йорке, «Полет» в полном объеме не публиковался. Четвертая и пятая часть находятся в архиве Газданова в Гарвардском университете, но не изданы до сих пор. Неудивительно, что этот роман «без окончания» не получил высокой оценки критики, хотя, как считает Л. Динеш, вполне ее заслуживает. Роман «Ночные дороги» был бы так же мало отмечен, если бы его не переиздали в Нью-Йорке.

В тридцатые годы Г. Газданов активно пытался вернуться домой и 20 июля 1935 года обратился к Горькому с просьбой помочь ему.

В архиве Горького сохранился черновик: «Желанию Вашему возвратиться на Родину сочувствую и готов помочь Вам, чем смогу. Человек Вы даровитый и здесь найдете работу по душе, а в этом и скрыта радость жизни».

В 1936 году Горький умер. Газданов обратился в советское консульство в Париже, но разрешение на возвращение не получил. В 1939 году во Владикавказе умерла мать Газданова, с которой он расстался во время гражданской войны.

Война застала Газданова в Париже. Вместе с женой — Фаинной Дмитриевной Ламзаки — он участвует в движении Сопротивления в составе советского партизанского отряда. Газданов редактировал информационные бюллетени, его жена была связной. В 1945 году он написал книгу о советских партизанах — «На французской земле». На русском она никогда не печаталась, а в 1946 году вышла на французском языке («Je m'engage à Dé fendre» (Париж, 1946). Рукопись находится в Гарвардском университете.

После войны Газданов публикует новые романы в наиболее значительном русском журнале — в нью-йоркском «Новом журнале». Два романа — «Призраки Александра Вольфа» (1947—1948) и «Возвращение Будды» (1949—1950) были встречены очень хорошо и в начале пятидесятых годов вышли отдельными книгами на английском, французском, испанском и итальянском языках. Через три года он печатает новый роман «Пилигримы» (1953—1954), затем — «Пробуждение» (1965—1966) и ключевой для газдановского мира, вновь автобиографичный «Эвелина и ее друзья» (1968—1971). Последний роман «Переворот» не окончен и опубликован посмертно в 1972 году. В шестидесятые годы он пишет также ряд интересных рассказов и эссе, преимущественно о русской литературе.

Газданов умер 5 декабря 1971 года и похоронен на русском кладбище Сент-Женевьев-де-Буа в Париже.

ФАТИМА ХАДОНОВА



СЧАСТЬЕ

РАССКАЗ

Андрэ Дорэн, бледный мальчик пятнадцати лет, был один в квартире родителей, в Sainte-Sophie, в сорока верстах от Парижа. Мачеха его была в Канне — как всегда в это время года, — отец с утра уехал в Париж, предупредив, чтобы его не ждали к обеду: это значило, что он вернется ночью, разбудит Андрэ и скажет ему своим спокойным и счастливым голосом, который Андрэ так любил:

— А, ты спишь? Встань, посиди со мной немного. Мы сначала предадимся алкоголизму, потом я тебе расскажу несколько любопытнейших историй.

Он заставит Андрэ надеть пижаму и выйти в столовую, приготовит кофе, осторожно вольет несколько капель рома и расскажет Андрэ множество пустячных вещей, которые ему кажутся нелепыми и смешными; потом достанет из своего коричневого портфеля книгу в кожаном переплете, передаст ее Андрэ и прибавит:

— Эту книгу я нашел совершенно случайно. Помнишь, ты говорил о ней, тебе хотелось ее иметь? Представь себе, прохожу я по Елисейским полям, вижу, стоит пустой автомобиль и внутри — эта самая книга. Я подумал: Боже мой, ведь именно о ней мне говорил мой сын, — вот удачное совпадение. Я открыл дверцу автомобиля, достал книгу, спрятал ее в портфель и ушел незамеченным. Ты понимаешь, какая удача? Только ты, пожалуй, никому ее не показывай. Там даже какая-то надпись есть.

И в книге будет написано ровным отцовским почерком:

— A ne pas lire la nuit, s.v.p.*

Анри Дорэн, отец Андрэ, все по привычке считал своего сына маленьким мальчиком и чаще всего разговаривал с ним так, точно ему было девять или десять лет. Он знал, впрочем, что Андрэ слишком развит для своих лет, он видел это по тем книгам, которые читал Андрэ, по вопросам и замечаниям Андрэ, казавшимся ему необычными в устах его маленького сына, которого он так недавно еще возил на своих плечах, для которого часами был готов делать гримасы, рассказывать сказки и тратить множество усилий только для того, чтобы Андрэ рассмеялся. Но Андрэ смеялся чрезвычайно редко. Анри Дорэн все чаще думал о том, что, чем старше становится Андрэ, тем больше увеличивается сходство с покойной матерью, первой женой, которую он никогда не мог забыть. Когда Дорэн познакомился с ней, ей было девятнадцать лет, хотя на вид ей можно было дать пятнадцать. Она всегда носила белые платья, ходила легко и безшумно**, и Дорэн говорил ей, что она похожа на один из тех дневных призраков, которые так же редки в мире, как белые дрозды. Она была очень болезненна и хотя не жаловалась ни на что, кроме несколько повышенной чувствительности, Дорэн повез ее к известному профессору, который ему сказал, что его жене следовало бы иметь ребенка; это переродило бы весь ее организм. — Ты хотела бы иметь сына? — спросил ее Дорэн через несколько дней после этого. Она зажмурила глаза и утвердительно кивнула головой. Дорэн не знал тогда, что это будет для нее смертным приговором.

В ночь ее родов, когда другой врач, сурово глядя на него, сказал, что надо было быть сумасшедшим, чтобы надеяться на благополучный исход — ведь она совсем девочка, — Дорэн не находил себе места. С той минуты, когда ее привезли в клинику, — это было поздно вечером, — до первых часов летнего утра, он шагал по небольшому пространству перед домом в Saint-Cloud, где она лежала, — он боялся войти внутрь и не мог уйти; ровно горел свет в передней за стеклянной дверью, дом был тих, все вокруг было неподвижно и тревожно, — и безконечное ожидание его длилось до утра, когда ему сказали, что его жена умерла. Он кивнул головой, засунул руки в карманы и ушел, забыв даже спросить, жив ли ребенок; он пришел в себя только через два дня, разбуженный полицейским и приведенный в комиссариат квартала Menilmontant. Полицейский сказал, что нашел этого человека спящим на скамейке и так как при нем не оказалось ни денег, ни даже бумаг, то он арестовал его за бродяжничество.

— Как твоя фамилия? — спросил комиссар, обращаясь к Дорэну и глядя на его испачканный, измятый костюм и лопнувшие ботинки. Только в эту минуту Дорэн понял, что его жена умерла, — и впервые заплакал.

— Ты не хочешь сказать, как твоя фамилия? — продолжал комиссар, — по-видимому у тебя достаточно причин ее скрывать; я прекрасно это понимаю.

— Вы ничего не понимаете, — сказал Дорэн. — Моя фамилия Дорэн, я не бродяга и не преступник. Позвоните в мою парижскую контору и вызовите управляющего.

— Помните, что если это шутка, недоверчиво проговорил комиссар, — то я заставлю вас пожалеть о том, что вы пошутили. Однако, в контору он позвонил.

— Monsieur Dorin у вас? — закричал изумленный голос в телефон.

— Он будет с вами говорить, — ответил комиссар и передал трубку Дорэну. Дорэн велел прислать за ним автомобиль; и через двадцать минут шофер открыл дверцу тяжелой шестиместной машины перед небритым человеком в грязной одежде, сняв шапку, поклонившись и сказав, как всегда — bonjour, monsieur. Комиссар со смущенным и вместе удовлетворенным видом помахал на прощание рукой. Приехав домой, приняв ванну, побрившись и переодевшись, Дорэн вызвал к себе экономку, которая сказала ему, что madame похоронена на Père-Lachaise и что сын monsieur находится в комнате, отведенной кормилице. Только тогда Анри Дорэн впервые увидел Андрэ. Мальчик был очень мал и весил всего три кило. — Все, что она могла, — подумал Дорэн, — все свои хрупкие силы она отдала этому ребенку, — и это стоило ей жизни.

Ему казалось тогда, что все свое время он посвятит сыну; мысль о том, что он мог бы жениться вторично, не приходила ему в голову, хотя ему было всего двадцать шесть лет. Много лет он прожил, действительно, думая только о сыне. Но по мере того, как Андрэ рос Дорэн чувствовал, что бессознательная, физически ощутимая любовь к сыну заменяется иным чувством, не менее сильным, но уже лишенным первоначальной остроты, когда каждое движение маленького тела Андрэ отдавалось в его сердце. И хотя он продолжал любить сына так же, казалось бы, как всегда, однако в последние годы, он вновь стал доступен иным чувствам, — и заметил в первый раз за все это время, что он еще не стар, богат и в сущности почти счастлив. Андрэ был умным мальчиком, способным учеником и таким любителем чтения, что Дорэн, спавший чрезвычайно крепко, специально купил себе будильник, который он ставил на два часа ночи, — чтобы проснуться и идти в комнату Андрэ; он заставлял сына в кровати с книгой в руках.

— Ну, monsieur, — говорил он, — monsieur все читает? — Он внимал у него книгу из рук, целовал его в лоб и уходил — и только тогда Андрэ засыпал.

Дорэн женился второй раз, когда Андрэ было четырнадцать лет. Он познакомился с Мадлен случайно в кафе, куда зашел на полчаса после завтрака. Мадлен сидела напротив, Дорэн увидел ее длинные, серые глаза, показавшиеся ему в первую минуту влажными, — это впечатление бывало у всех, кто взглядывал на Мадлен, — ее красные губы и белые волосы, так мелко и тщательно завитые, что они ему напоминали бороды ассирийских царей. Как только Дорэн увидел Мадлен, он почувствовал необыкновенное волнение. Он даже не понял, что причиной этого была она; ему вдруг стало казаться, что не то он забыл нечто чрезвычайно важное, не то не сделал чего то, до крайности необходимого, не то в доме случилось несчастье: не почувствовал ли себя плохо Андрэ? Мадлен сидела на своем месте, помешивая ложечкой давно остывший чай, взглядывая изредка на Дорэна и все точно не решаясь уйти. Наконец, она посмотрела на свои часы, подозвала гарсона, открыла свою длинную и узкую сумку, похожую на черный кожаный конверт, — и вдруг выяснилось, что маленький бумажник с деньгами, который должен был там находиться, она забыла дома. — Боже мой, что же делать? — сказала она низким голосом. Услышав этот голос, Дорэн понял, отчего происходило волнение. — Разрешите мне заплатить, — проговорил он после секунды молчания. — Нет, нет, monsieur, благодарю вас тысячу раз. Это так досадно. Боже, ничего глупее этого не могло случиться, — говорила она. Но, в конце концов, другого выхода из положения не оставалось. Они вышли из кафе, Дорэн посадил Мадлен рядом с собой, — и после этого в течении целого вечера и первых часов ночи его желтый Chrysler можно было видеть в разных частях города и в Булонском лесу и на Версальской дороге; был июньский день, зной которого смягчался легким летним ветром; плескались по воздуху зеленые листья, остро сверкали стекла автомобиля и желтый круг солнца скользил, покачиваясь, по черным крыльям машины.

Уже садясь рядом с Мадлен в автомобиль, Дорэн бессознательно знал, что так уйти от этой женщины он не может. Мадлен знала это еще раньше его. Она рассказывала ему, что живет одна в Париже, что родители ее остались в Приморских Альпах, что ей двадцать восемь лет, что она пишет статьи об урбанизме и иногда снимается в кинематографе. Они пообедали на больших бульварах, затем снова поехали кататься, — потом Дорэн очутился у Мадлен, потом, как будто бы ничего не было, затем он увидел как сквозь сон ее плечи и грудь с наивными, как ему показалось, мальчишескими

* Не читай ночью.

** В рассказе сохранена авторская орфография (прим. ред.).

сосками и ея длинные ноги и влажные глаза. Утром он, не вставая с дивана, дотянулся до телефона, стоявшего на маленьком столике, вызвал свой номер в Sainte-Sophie и сказал Андрэ, что придет часа в четыре дня. — Хорошо, папа, — спокойно ответил Андрэ. — Меня не будет в это время, я уйду за бабочками. — Прекрасно, значит мы увидимся позже. — Еще через полчаса, — в сумрачном свете, проходившем сквозь закрытые ставни, Дорэн сказал Мадлэн, что просит ее быть его женой. Вы с ума сошли, — ответила она, смеясь. — Я не шучу, — повторил Дорэн дрогнувшим голосом. Мадлэн серьезно на него посмотрела, потом крепко обняла и поцеловала его и ничего не сказала.

В четыре часа дня Дорэн привез ее к себе, в Sainte-Sophie. Он обошел с нею дом и показал ей все комнаты, кроме комнаты Андрэ, по обыкновению запертой на ключ; Андрэ, уходя, никогда не оставлял дверь открытой. Они прошли в столовую; Мадлэн остановилась у длинного зеркала, вделанного в стену, чтобы поправить прическу. Дорэн сзади подошел к ней и обнял ее, ея губы зашевелились, она, вздохнув от мучительного усилия и перегнувшись, обернулась к нему, чтобы поцеловать его и в эту минуту увидела чьи-то чужие глаза: на пороге комнаты стоял худощавый мальчик, который внимательно смотрел на нее и на Дорэна. Дорэн покраснел, выпустил из рук плечи Мадлэн и сказал неожиданно веселым голосом:

— Андрэ, я представляю тебе твою будущую новую мать. Мадлэн, это мой сын Андрэ.

— Alors, mon petit... — заговорила Мадлэн, употребив по ошибке ту же интонацию голоса, с которой она только что обращалась к Дорэну; и тотчас же заметив это, повторила уже иначе: — mon petit, faisons la connaissance.*

Андрэ низко поклонился, поцеловал ея руку и холодно ответил:

— En chanté, madame.**

С того времени, когда Мадлэн переступила порог дома Дорэнов, Андрэ почувствовал, что в счастливой истройной его атмосфере произошли какие-то изменения. Мадлэн внесла с собой нечто новое и резко непохожее на все, что было до сих пор. Андрэ не любил Мадлэн за то, что всюду, где она появлялась, где двигалась ее фигура и раздавался ее низкий голос, — неизменно воцарялся один дух и все окружающее ее начинало иметь только определенный смысл, в центре которого была она, Мадлэн. Она как бы говорила своим присутствием: то, что вы думаете, делаете или читаете, важно только до тех пор, пока меня нет; а как только я есть, то вы не можете не думать обо мне и не считать, что моя близость есть главная цель вашей жизни. Мадлэн не стремилась к этому сознательно; но в ней была особенная душевная влажность, готовность каждую минуту пойти навстречу всякому движению, которое произошло бы в этом напряженном воздухе. У нея всегда горячие руки и губы; и когда вечером она неизбежно целовала Андрэ в лоб, желая ему спокойной ночи, Андрэ делалось неприятно.

Мадлэн отличалась счастливейшим физическим равновесием и в некотором смысле ее организм был так же совершенен и неутомим, как легкие орла или мускулы лучшего в мире атлета; и всякое ощущение, доставляющее обыкновенному человеку легкую боль или удовольствие, соблазн которого нетрудно преодолеть, вызывало у нея точно ветер в крови. Казалось, что чувства ея похожи на длинную шпагу, которой конец, уже после того, как нанесли удар, все еще дрожит и колеблется и точно трепещет в воздухе, как знамя на ветру или белый край паруса над рябившимся морем, или крылья птицы, садящейся на воду. Анри Дорэн знал это так же, как Андрэ, но он думал, что все это только для него и ни для кого другого; ему казалось, что до встречи с ним Мадлэн не знала ни себя, ни своих чувств, которые раскрылись лишь в близости к нему и вне этой близости почти не существовали. Его отношение к Андрэ ни в чем, казалось бы не изменилось; и все же Анри Дорэн и его сын стояли теперь как бы на разных берегах, вдруг разделенной их воздушной горячей реки, которую ни один ни другой не могли перейти.

Анри Дорэн часто не бывал дома; он уезжал то в Париж, то на юг, где находилась его фабрика. Иногда Андрэ сопровождал его; поездки с отцом были для него величайшим удовольствием. Он сидел в автомобиле и смотрел на летящей в воздухе украшение радиатора, изображавшее голову индейца с сильно откинутыми назад волосами; голова индейца неслась, покачиваясь, над ровной поверхностью асфальтовых дорог, мимо домов и деревьев, по берегу моря, по улицам провинциальных городов и по парижским бульварам; и в своем воображении Андрэ давно уже придумал название для рассказа об автомобиле: индеец-путешественник. Рассказ на он, однако, не написал. Все поездки всегда кончались благо-

получно; и только однажды Андрэ вернулся из автомобильного путешествия с громадной шишкой на лбу. Случилось это потому, что когда-то вечером в Париже они возвращались с отцом домой — перед этим шел дождь и торцы улицы, по которой они проезжали, были покрыты тонким слоем жидкой грязи, — и отец, спеша поспеть к девяти часам в Sainte-Sophie все больше и больше ускорял ход, на углу одной из улиц Пасси, почти пустынной в это время, Андрэ вдруг увидел маленького щенка — фокстерьера, который перебежал дорогу и находился как раз на пути автомобиля, так что свернуть было некуда; улица была узкая. Андрэ сразу стало больно дышать, он взглянул на отца, и не успев еще сказать ни слова понял, что отец, тоже заметил щенка. Как ни быстро это произошло, Андрэ успел еще подумать: что сделает папа? — Держись, Андрэ, — сказал только Дорэн и в ту же секунду завизжали заскрипели тормоза, голова индейца с необычайной быстротой стала поворачиваться направо; автомобиль занесло на полном ходу, Андрэ сорвало с сиденья и бросило в угол, затем он услышал, — уже после всего, — сильный удар и все остановилось. Андрэ поднялся с того места, куда упал и первое что он увидел, был щенок, успевший добежать до противоположного тротуара и помахивавший коротким обрубок хвоста. Руки отца усадили Андрэ рядом с собой и изменившийся голос его спросил:

— Мы, кажется, живы, Андрэ?

Андрэ был готов и смеяться и плакать.

— Ты не ушибся?

— Нет, — ответил Андрэ, у меня только шишка на голове.

Отец ощупал его голову.

— Вы сделаны из железа, молодой человек, — сказал он, — никаких повреждений нет. Теперь осмотрим автомобиль. Но и автомобиль не пострадал и остальная часть путешествия прошла как всегда. Разговора о причине «катастрофы» не было; и только уже недалеко от дома Андрэ спросил отца.

— Папа, а почему, собственно, фокстерьерам режут хвосты?

— Действительно, — сказал Дорэн, — почему бы? Видишь ли, может быть они думают, что без хвоста им удобнее, хотя это очень сомнительно.

— Итак, Мадлэн, — сказал Дорэн, входя вместе с Андрэ в столовую, — только личному героизму Андрэ я обязан тем, что имею сегодня удовольствие обедать дома.

— Как так?

И тогда Дорэн рассказал совершенно фантастическую историю о том, как Андрэ на полном ходу остановил автомобиль и «при помощи вспомогательного воздушного тормоза и тревожного сигнала», — в то время, как он сам, Дорэн, был парализован ужасом и не мог сделать ни одного движения; как толпа людей окружила Андрэ и горячо благодарила его за самоотверженный поступок и как один муниципальный советник, случайно находившийся тут же и чья жизнь тоже, между прочим, была спасена Андрэ, тотчас предложил ему стать почетным гражданином квартала, который советник представляет вот уже двадцать лет; и как Андрэ отказался от этой почести и уехал, сопровождаемый восторженными криками населения, от которых у него опухла голова, что особенно заметно в одном месте, где образовалась шишка, которая служит доказательством того, что рассказ точно соответствует истине.

Андрэ хмурился, слушая рассказ отца; он не любил, когда Дорэн в таком тоне говорил о нем с Мадлэн, — Андрэ казалось, что их отношения с отцом не должны были заключать в себе еще кого-то третьего.

Но чаще Андрэ оставался дома; он уходил в свою комнату и либо писал, либо занимался своими любимыми бабочками, либо читал книги; его особенно интересовали книги по зоологии. Только отец он иногда посвящал в свои занятия.

В один из душных летних вечеров, когда Андрэ сразу убежал после обеда, сказав Мадлэн тем холодным голосом, каким он всегда говорил с ней, — простите меня, я спешу, — Анри Дорэн заметил в глубине сада электрический свет, идущий из середины деревьев. Это его удивило. Он пошел туда и увидел Андрэ, который стоял над полым стеклянным цилиндром, освещенным небольшой электрической лампой. В цилиндре, медленно двигаясь по стеклу, ползали две вялые бабочки с большими крыльями. Андрэ внимательно смотрел на них.

— Что ты делаешь? — спросил Дорэн.

И Андрэ объяснил отцу, что он держал у себя несколько месяцев личинки этих бабочек, которые не водятся ближе, чем за сто двадцать километров отсюда. — Это бабочки самки, — говорил Андрэ.

— И ты увидишь, папа, — сказал Андрэ, подняв голову и глядя на отца, — что самцы, почувствовал здесь присутствие этих самок, прилетят сюда, — почти за полтора километра.

— Ты не фантазируешь, Андрэ? — спросил Дорэн. — За сто двадцать километров? Каким образом? Я еще понимаю — километр, ну, два, ну десять в конце концов, — но сто двадцать? Андрэ, я боюсь, что твой опыт не удастся.

* Давай знакомиться, мой мальчик.

** Я в восторге, госпожа.

— Ты увидишь, папа, — сказал Андрэ. Я потушу сейчас свет и буду ждать, а ты иди наверх. Я тебя позову.

Дорэн ушел. Прошло много времени, наступила уже ночь; Андрэ все не возвращался.

— С чем он там возится в саду? — спросила Мадлен.

— Интересный опыт; вот в чем он заключается. — И Дорэн расказал это Мадлен.

— Это удивительно, — сказала Мадлен. — Какой странный мальчик, — прибавила она, улынувшись и подумав совсем о другом. Вдруг под окном раздался торжественный шопот Андрэ: — папа, они прилетели! — Дорэн и Мадлен пошли за Андрэ, невольное, как и он, ступая на цыпочках и стараясь не шуметь. Андрэ пошел вперед. — Сейчас я зажгу свет, — прошептал он и замахал рукой. — Папа, иди сюда. — Они подошли, Андрэ зажег электричество и Дорэн и Мадлен увидели на осветившемся стекле десятки громадных бабочек, ползавших взад и вперед и взмахивавших крыльями.

— Нельзя сказать, чтобы это была очень шумная любовь, — заметила Мадлен и засмеялась. — Андрэ сердито и презрительно на нее посмотрел.

Много времени Андрэ проводил один; когда отца не бывало дома, он почти не выходил из своей комнаты; изредка только он вдруг появился из раскрытой двери, чтобы пройти в кабинет Дорэна за какой-нибудь книгой, — и его появление бывало всегда неожиданно, так как передвигался он совершенно безшумно; Мадлен поэтому нередко вздрагивала, увидя его, — я вас испугал? — говорил в таких случаях Андрэ. — Извините меня, пожалуйста.

В доме довольно часто бывали гости: и один раз из-за этого у Андрэ даже вышла неприятность. Отец его в то время уехал на несколько дней; сам Андрэ ушел из дому с утра, взяв с собой сачек для ловли бабочек и небольшую банку, закрывавшуюся деревянной крышечкой с просверленными в ней отверстиями для воздуха, — в эту банку Андрэ сажал тритонов и водяных жуков, которых ловил на маленьком озере, находившемся верстах в пяти от дома; Андрэ сопровождал его друг, Джэк, — Андрэ смешило то, что Джэк лаял на ящериц. Андрэ бродил целый день; когда он уставал, он ложился на землю и лежал, подставив лицо солнцу; закрытыми глазами он видел красные пространства перед собой; под ним звенела земля, тихо шипела трава, движимая легким ветром и рядом слышалось мерное дыхание Джэка, — а в красных пространствах то появлялись, то исчезали крылья бабочек и голова индейца-путешественника и еще другие, непонятные и трудно различаемые предметы. Андрэ поднимался и шел дальше. Уже банка его была полна тритонов, ноги были расцарапаны; он устал, начинало темнеть, и лес, в котором был Андрэ, начинал уже по вечернему шуметь. — Теперь домой, Джэк, — сказал Андрэ, — бежим. И он вспомнил, что забыл запереть свою дверь, уходя.

Когда он подходил к дому, он увидел, что свет был во всех комнатах и над его столом горела лампа. Он быстро побежал по лестнице вверх; в коридоре никого не было, из столовой слышался голос Мадлен. Андрэ подошел к своей комнате: дверь была полукрота. Он толкнул ее и увидел, что тетрадка, в которой он писал, была раскрыта, точно так же, как книга, лежавшая на столе. В его кресле сидела незнакомая дама с бледным лицом и очень красными губами. На ручке кресла полулежал молодой человек, обнимавший даму; губы его почти касались ее уха. Андрэ вошел так быстро, что молодой человек не успел переменить положение. Он посмотрел на Андрэ и сказал:

— Я не имею удовольствия вас знать, молодой человек, но в дальнейшем я вам советую стучаться, прежде чем входить.

Андрэ от бешенства не мог выговорить ни слова. Джэк зарычал. Андрэ вдруг обрел дар речи.

— *Allez vous en*,* — тихо сказал он.

— Что? — переспросил молодой человек, поднимаясь с кресла. Рычание Джэка стало захлебывающимся. Андрэ схватил его за ошейник и повторил:

— *Allez vous en, vobis et votre dame.*

Это моя комната, — Андрэ невольно повысил голос, чтобы заглушить рычание собаки.

Через пять минут в комнату Андрэ постучалась Мадлен.

— Андрэ, ты должен извиниться. На что это похоже?

— *Madame?* — вопросительно сказал Андрэ.

— Ты должен извиниться.

Андрэ пожал плечами.

— Не откажите в любезности, — проговорил он ровным голосом, точно читая книгу, — передайте *monsieur et madame* мое сожаление по поводу того, что случилось.

И он наклонился к книге, делая вид, что читает. Мадлен повернулась и ушла. В комнате Андрэ стало тихо. Он позвонил, ему подали есть, он пообедал; после этого он лег на диван и заснул.

Он проснулся ночью, встал и подошел к окну. Белья, летние облака закрывали высокую луну, воздух был теплый и неподвижный; все вокруг было тихо. Вдруг в столовой замирающий голос Мадлен сказал:

— Это правда?

— Когда я еду к вам, — ответил мужской голос, — я чувствую, что у меня вырастают крылья.

— Крылья любви? — опять сказала Мадлен.

Наступило молчание, потом послышалось какое-то движение и безконечно изменившийся голос, задыхающийся и торопливый:

— Ты с ума сошел?

Андрэ отошел от окна и сел в кресло. Опять что-то было слышно в столовой, но Андрэ это было безразлично. — Крылья любви, — повторил он про себя, — где я читал про крылья?

И он вспомнил, что читал про некоторые породы муравьев, у которых во время периода любви вырастают крылья и они поднимаются в воздух и потом падают и гибнут тысячами. — И еще трутни, — думал Андрэ, — которые тоже летят за маткой; сначала отстают самые слабые, потом другие, — и только один, самый лучший и самый сильный, догоняет ее. Вот они, крылья любви. Это о них говорит Мадлен. А папа?

И Андрэ лег на диван и заплакал.

Андрэ сидел у себя в комнате и писал. Он мечтал о том, что со временем он станет знаменитым писателем, вроде тех, чьи книги издает *Grasset et Nouvelle Revue Française*; как в черном пальто и синем костюме, с беретом на голове и с часами Омега на левой руке он будет проходить по Латинскому кварталу и как чей-то безцеремонный голос скажет сзади ему:

— *Mais regardez donc, c'est bien André, Dorin!**

И он, не оборачиваясь и даже с досадой ускорив шаги, пойдет дальше.

Он только не представлял себе, что именно он напишет. Он никак не мог справиться ни с одним сюжетом, который он долго обдумывал; и сперва все казалось просто: сначала описание героя, потом обстановки, в которой он живет, книг, которые он читает, затем путешествия героя в Англию и странная встреча на лондонской туманной улице с желтыми фонарями, — встреча, которая определит всю его дальнейшую судьбу, — и все это будет написано одним дыханием, так, что начав рассказ, нельзя будет от него оторваться. Но всякий раз, когда Андрэ доходил до важных мест, все получалось так нехорошо и искусственно, что Андрэ, отчаявшись, переставал писать и начинал думать с тревогой, что из него никогда не выйдет знаменитого писателя. Он не мог сосредоточить своих усилий на одной линии повествования; как только он начинал что-нибудь описывать, ему хотелось сказать об этом все, что ему было известно, ему было жаль что-либо упустить, — создалось бы впечатление, что он ничего не знает о тех вещах, которые не упомянуты в рассказе и которые действительно не необходимы именно для этого рассказа, но сами по себе очень важны и интересны и знать их может только умный и наблюдательный человек. Когда Андрэ начинал описание Лондона, он неизменно переходил на свои соображения об истории Англии и излагал свои суждения о британском национальном характере, подкрепляя их примерами, взятыми из разных столетий, упоминая Гладстона, Питта, Шелли и Шекспира, — хотя никто из этих людей не имел ни малейшего отношения к его рассказу. Потом он возвращался к своему герою; но герой за это время успевал несколько измениться, невольно приобрета некоторые английские черты и всю характеристику его надо было перекладывать. Андрэ терпеливо принимался за эту работу, — но что-нибудь опять вводило его повествование далеко в сторону и число исписанных страниц росло, а героиня все никак не могла появиться из лондонского тумана; и ее одинокая фигура, сиротливо идущая по улице, невольно вызывала такую жалость в Андрэ, что он не на шутку огорчался, точно если бы это была живая женщина, — и решал на следующий же день писать непременно о ней, но опять отвлекался и опять ничего не получалось. Тогда Андрэ бросал работу и уходил в сад, а вечером садился писать дневник, в котором ничего не нужно было выдумывать.

В тот январский вечер, когда Андрэ был один в квартире и ждал возвращения Дорэна из Парижа, — на дворе было холодно и пустынно, по мерзлой дороге, проходившей недалеко от дома Дорэна никто не проезжал, вокруг стояла тишина; только изредка доносился разноголосый и быстро затихающий лай собак, и тогда Джэк поднимал громадную голову и негромко рычал, — Андрэ

* Убирайтесь вон.

* Да поглядите, это ведь Андрэ Дорэн!

допозна сидел за своим столом, думал и писал дневник, в котором ему захотелось изобразить отца. Он написал очень длинное вступление и затем начал:

— Анри Дорэн, мой отец, родился, чтобы быть счастливым.

После этой фразы Андрэ ничего не написал; он положил на стол ручку и задумался.

Да, конечно, Дорэн был рожден счастливым человеком. Ни у кого Андрэ не слышал такого спокойного и смеющегося голоса, никому все огорчения, неудачи и обиды не представлялись такими легко разрешимыми, как отцу. Андрэ вспомнил, как однажды, в раннем детстве, он горько плакал от того, что сложный план проведения узкой мощенной дорожки от муравейника на опушке леса до старого, корявого пня, обросшего тоненькими веточками с зелеными листьями, — весь этот план после нескольких дней работы оказался невыполнимым, так как Андрэ забыл о ручье, отделявшем муравейник от пня. Андрэ смотрел, как после дождя муравьи пробирались по грязи к берегу ручья и потом возвращались обратно, тревожно шевеля усиками. Ему казалось, что муравьям непременно нужно добраться до этого пня, — и он стал строить для них твердую дорогу, которой был бы нестрашен никакой дождь. Он носил в карманах своих штанов камни и молоток, носил тяжелые ведра с песком и кое как сделал дорогу до самого ручья. Потом он сел на землю и заплакал, — и пришел со слезами домой. — Что с тобой, Андрэ? — спросил его отец. Андрэ рассказал, в чем дело. Отец выслушал его с серьезным лицом, кивнул головой и сказал:

— Ты совершенно прав, Андрэ, мы все это устроим; после завтрака я пойду с тобой и мы будем работать вместе.

И оказалось, что трудного ничего не было; Дорэн проложил низкий мост над ручьем, утрамбовал дорогу и уже вдвоем с Андрэ они довели ее до пня. Следы от этой дороги оставались и до сих пор, до теперешнего времени, когда Андрэ понимал, как смешон был его детский план.

Потом Андрэ подумал о своих вечерних разговорах с отцом, которые стали происходить только в самое последнее время, когда Дорэн впервые заговорил с сыном, как со взрослым. Чаще всего это был один и тот же спор; он начинался с того, что Андрэ приходил к отцу спросить его мнение о том или ином историческом событии или о книге, которую он прочитал. — Ну, хорошо, — говорил Дорэн, — скажи мне, пожалуйста, что ты думаешь по этому поводу, а я тебе потом сообщу, как я это понимаю.

И Андрэ начинал говорить; часто он высказывал то, что писал или собирался писать, иногда он касался вопроса, который все время не давал ему покоя, — вопроса о Мадлэн; но он делал это в такой отдаленной форме, что отцу в голову не приходила мысль, что речь идет о его жене. Но всякий раз, когда Андрэ упоминал о любви, Дорэну делалось и стыдно и хорошо и одно и то же время; стыдно потому, что он был женат на Мадлэн, и хорошо потому, что он вспоминал о матери Андрэ. Впрочем, он сдерживался, — и только один раз посадил Андрэ к себе на колени, — точно Андрэ было восемь лет, — и сказал ему:

— Андрэ, ты знаешь, как я тебя люблю?

— Знаю, папа.

— Но ты не знаешь еще одного, — сказал он с непривычным для Андрэ волнением, — того, что ты похож на твою покойную мать.

И после этого целых два дня Анри Дорэн был молчалив и задумчив.

Но чаще всего разговоры были иными. С удивительной для мальчика ясностью Андрэ замечал и видел много печального во всем, что его окружало; и именно такие вещи обычно привлекали к себе его внимание. Все, что было шумно, радостно и буйно, было ему неприятно. Анри Дорэн, говоря с ним как со взрослым, — это очень льстило Андрэ и он понимал, что это ему льстило, и сердился на себя за это, но своеобразного удовольствия преодолеть не мог, — возражал ему:

— Ну вот, Андрэ, я понимаю твой взгляд. Ты говоришь, что все печально и нехорошо. Даже не входя в обсуждение этого, а просто так, фактически, если хочешь, — ведь это неверно. Посмотри вокруг себя, сколько ты увидишь радости. Вот Джэк бежит тебе навстречу, — разве он не радуется?

— Джэк — это собака, — отвечал Андрэ.

— Андрэ, Андрэ, — укоризненно говорил Дорэн, — ведь ты занимаешься зоологией, значит ты не должен пренебрегать значение животных, ты должен знать, что в известном смысле Джэк совершеннее нас с тобой.

— У Джэка нет разума в человеческом смысле, — настаивал Андрэ, — а есть инстинкт. Инстинкт — это потребность питания, размножения и движения, необходимого для того, чтобы мускулы не сделались дряблыми, — вот и все. А разве у собаки может быть какое-нибудь мнение о том, что все хорошо или все плохо?

— Не знаю, не знаю, может быть да. Вот один человек заболел и умер; его собака не отходила несколько дней от его могилы и че-

рез несколько дней там окопалась, хотя была, казалось бы, совершенно здорова. Какой же это инстинкт? Но оставим это. Разве ты не можешь себе представить бесконечно умного человека, который все видит и все понимает, — насколько это в человеческих возможностях, — и находит во всем этом одно только хорошее?

— Нет, папа, такого человека не было.

— А Франциск Асизский, Андрэ? Ну, конечно, Андрэ, Франциск Асизский, — и Дорэн улыбался совсем так, как он улыбался маленькому Андрэ, когда разрешал стоявшую перед мальчиком трудность, и все оказывалось просто и необыкновенно хорошо, — вот видишь? Он знал очень много и все понимал, — и был непременно радостен; значит, это возможно, значит это было правильно.

— А я не могу, — упрямо говорил Андрэ.

— Потому что ты не понимаешь. Не обижайся, Андрэ, понять теоретически это одно, а почувствовать, это другое. Ты еще не знаешь очень многих чувств, мой мальчик. Вот подожди, мы поговорим с тобой через пятьдесят лет, — и Дорэн начинал шутить.

А если несчастье, папа? Ну, вот, например, катастрофа или...

— Андрэ запнулся и потом с трудом сказал: — или измена любимой женщины. — Он употребил такое книжное выражение, потому что говорил об этом в первый раз с отцом.

— Ах, Андрэ, до чего ты любопытен. Ну, хорошо: катастрофа, — что такое катастрофа? Если это смерть, то все кончается; если это не чья либо смерть, а изменение, то подумай, сколько радости тебе предстоит; ты изменишься и потом в измененном состоянии будешь снова узнавать все те наслаждения, которые ты знал раньше. Это вся жизнь сначала. Что же касается измены... видишь ли, мой мальчик, любимая женщина не может изменить.

— А если она все-таки изменяет?

— Откуда ты знаешь?

— Мне сказали.

— Значит это ложь.

— У меня есть неопровержимые доказательства, я видел, как ее целовали.

— Значит, были какие-то ужасные обстоятельства, заставившие ее так поступить, — обстоятельства, которых ты не знаешь, и которые ее совершенно оправдывают. А если и их нет, то, значит, ты ошибся: она не любимая женщина. Но это редко, Андрэ, это исключения. Впрочем, здесь, в этой области, я даже не имею права с тобой спорить, потому что я это знаю, а ты в этом невежда. Видишь ли, Андрэ, у тебя есть один крупный недостаток для оппонента в таких вопросах.

— Какой, папа?

— А тот, — Дорэн улыбнулся с едва заметной мягкой насмешкой, — что моему умному сыну, который все знает, — только пятнадцать лет. Voilà, monsieur. А теперь спокойной ночи. И не надейся, пожалуйста, читать до утра; я тебе все равно помешаю. Более надоедливого отца ты не мог бы себе выбрать.

— Анри Дорэн, мой отец, родился, чтобы быть счастливым.

Андрэ еще раз перечел эту фразу. Было уже очень поздно. Джэк спал, положив голову на лапы.

— Почему папы до сих пор нет? — с внезапной тревогой подумал Андрэ.

Он заботливо постелил себе постель, аккуратно растянув простыни, поставил на ночной столик лампу с зеленым абажуром, достал с полки «Красное и черное» Стендаля, заложившее шелковой закладкой на триста двадцать восьмой странице, он даже успел, разворачивая книгу прочесть:

«Mathilde croyait voir le bonheur. Cette vue toute ruisante sur les âmes courageuses liées a un esprit supérieur eut a lutter longuement contre la dignité et tous sentiments de de voir vulgaires.»

Отец все не возвращался. Тогда Андрэ надел пальто и вышел на дорогу; мгновенно проснувшийся Джэк пошел за ним.

Андрэ долго стоял и всматривался в темноту, но ничего не было видно. Шоссе, с примерзшими к земле маленькими камешками смутно белело перед глазами Андрэ, исчезая в двадцати шагах от него, точно безмолвно провалившись в пропасть. Время от времени скрипели и качались от ветра деревья, которыми была обсажена дорога; было очень холодно, пустынно, нигде не было видно огня. Джэк протяжно зевал, потом настораживался, подняв уши, но ничего не появлялось из темноты. Вдруг Андрэ заметил, что уши Джэка давно уже опять настроены; тело собаки подалось вперед, точно Джэк был в нерешительности, — бежать или стоять на месте. Тогда Андрэ различил едва слышный издали шум, состоящий из шуршанья шин о землю и тихого звука мотора. Андрэ знал, что в пятистах метрах от дома шоссе делало крутой поворот, по видимому, шум от смещающихся колес и был тем неясным вначале звуком, который услышал Андрэ. Потом далеко впереди в темноте появились два огня, странно танцовавшие в воздухе, — точно автомобилем управлял совершенно пьяный человек, ехавший зигзагами. Тревога охватила Андрэ, он побежал навстречу этим огням; перегнав его, с лаем туда же помчался Джэк. Андрэ добежал

до автомобиля, распахнул дверцу и увидел, что отец сидит бледный, вцепившись в руль ослабевшей рукой в кожанной перчатке. Он не улыбнулся Андрэ, как улыбался всякий раз, когда его встречал, — и только сказал ему срывающимся голосом.

— Андрэ, я очень плохо себя чувствую, довези меня пожалуйста, до дома.

Андрэ с трудом помог отцу пересесть дальше от руля и медленно, путая скорости и заставляя автомобиль двигаться толчками, от которых Дорэн болезненно морщился, доехал до дома. Он разбудил слугу отца, Жозефа, и вдвоем они помогли Дорэну подняться наверх и уложили его в постель. Дорэн сказал Жозефу, с усилием произнося слова:

— Жозеф, вы разбудите аптекаря и возьмите у него аспирина и хины, скажите ему, что у меня еще сильные боли ниже груди, чтобы он дал что-нибудь против этого. Сделайте это, пожалуйста, поскорее.

Андрэ с непрекращающейся тревогой следил за каждым движением отца. Ему вдруг стало казаться, что Анри Дорэн может умереть, — и когда Андрэ думал об этом, все становилось так холодно и ужасно вокруг него, что он решил умереть вместе с отцом. Анри Дорэн нашел в себе силы улыбнуться Андрэ.

— Это пустяки, Андрэ, — проговорил он. — Ты понимаешь, я повидимому простудился: у меня болит голова, и я неважно себя чувствую. — Он не сказал Андрэ, что во время дороги из Парижа в Sainte-Sophie несколько раз терял сознание. — Я приму аспирин и хину, выпью и завтра утром мы устроим с тобой матч бокса в десять раундов.

Потому, что отец сказал о боксе, Андрэ понял, что ему очень плохо. Но он не успел об этом как следует подумать; вошел запыхавшийся Жозеф и принес лекарства.

— Я прошу извинения у monsieur, но так как аптекарь очень спешил, он не мог найти облаток и завернул в пакеты все, что вы требовали. Это хина, это аспирин, а здесь средство против болей ниже груди; аптекарь сказал, что нужно принять полторы столовых ложки.

— Хорошо, Жозеф, можете идти.

И, обратившись к Андрэ, Дорэн сказал:

— Побудь со мной еще минуту, Андрэ.

Когда Жозеф вышел, Дорэн продолжал:

— Ну, вот, Андрэ, все в полном порядке. Я приму эти лекарства и засну. Ты тоже иди спать, я тебя очень прошу. Ну, спокойной ночи.

— Спокойной ночи, папа, — ответил Андрэ шопотом. Но когда он был уже в дверях, голос отца вдруг остановил его:

— Андрэ, ты знаешь адрес Мадлэн?

— Да, папа, — ответил Андрэ, вдруг поняв, почему отец спрашивает его об этом. Но чтобы не встревожить отца и не дать ему понять, что он догадался, он сказал:

— А почему ты спрашиваешь?

— А я забыл — Дорэн быстро и искусственно улыбнулся, — сто восемьдесят три или сто девяносто три — номер дома?

— Сто девяносто три.

— Ну, хорошо, спасибо.

Придя в свою комнату, Андрэ решил не раздеваться и не спать. Он взял опять «Красное и черное», сел в кресло и попытался читать. Но дальше Mathilde croyait voir le bonheur он не мог прочесть; он ничего не понимал. Он закрыл книгу; неожиданная дремота вдруг овладела им и он заснул.

Он проснулся, почувствовав, что кто-то толкнул его колено. Он открыл глаза; возле него стоял Джэк. Все в квартире было тихо. Войдя в комнату, он увидел, что Дорэн лежит с открытыми глазами, неподвижно смотрящими прямо перед собой. Андрэ удивило и даже обидело, что отец не поглядел в его сторону.

— Ты не спишь, папа? — спросил Андрэ. Дорэн ничего не ответил. Андрэ заглянул ему прямо в лицо; но отец продолжал смотреть своим невидящим взглядом и не сделал ни одного движения. Страшная мысль о смерти пришла в голову Андрэ: он откинул одеяло и приложил ухо к груди отца; грудь была теплая, сердце билось. Ему сразу стало так легко, точно вообще ничего не случилось.

— Тебе очень плохо, папа?

Дорэн не отвечал, — Он стал брызгать водой в лицо отца. Лицо не вздрагивало и не шевелилось, глаза оставались открытыми. Андрэ стало страшно.

Уже начинало светать, когда Жозеф по телефону вызвал врача из Парижа.

ночным столике, насыпал туда средство против болей ниже груди и сразу проглотил это, запив водой. После этого он ничего уже не видел, не понимал, и не слышал; он обрел способность думать только через много часов. У него ничего не болело. — Слава богу, все кончено, сказал он себе и хотел приподняться и не мог. — Какая темнота в комнате, — продолжал он думать — а я все же очень ослабел. Должно быть уже утро, странно, что никого нет. Надо позвать Андрэ.

Но и Андрэ он не мог позвать. И тогда вдруг он понял, что не может пошевелить ни рукой, ни ногой, не может ничего сказать, ничего не видит и не слышит. — Я умер? — с ужасом спросил он себя. — Нет, это не может быть; я бы, наверное, не мог думать. Я парализован.

И он опять забылся.

Он знал, что вокруг него ходят люди, открывают и закрывают ставни, день сменяет ночь, но он ничего не видел, не слышал и не чувствовал. Он делал невероятные усилия, чтобы поднять руку, но ничего не получалось. Наконец, его правая рука слегка шевельнулась.

Это произошло на третий день после того вечера, когда он принимал лекарство. Трое суток он пролежал пластом, как живой труп; его перекладывали несколько раз, доктор делал ему впрыскивание, но тело Дорэна оставалось неподвижным. Вызванная телеграммой Андрэ, встревоженная Мадлэн приехала на второй день вечером и не отходила от постели Дорэна. Андрэ нельзя было заставить уйти из комнаты: часами он просиживал на кровати отца, все повторяя, — папа, папа, — точно надеялся, что его голос вызовет отца из того страшного небытия, в котором находился Дорэн. Доктор сказал Андрэ, что его отец принял очень большое количество хины по ошибке и нельзя заранее знать, что теперь будет.

Андрэ первый увидел, что рука отца шевельнулась. Он принес ему карандаш и бумагу; но сколько он ни старался вложить карандаш в руку отца, пальцы Дорэна разжимались и ничего не выходило. . . . Наконец, к вечеру Анри Дорэн неуверенными буквами, останавливаясь и роняя карандаш, который Андрэ снова подавал ему, написал:

— Я ничего не вижу, не слышу и не чувствую.

И с этого началось улучшение. Утром следующего дня Дорэн мог уже двигать обеими руками; еще через день он уже сгибал ноги в коленях. Через трое суток, проснувшись, он услышал шаги Мадлэн. Ему вспомнилось, как лиценстом самого младшего класса он забавлялся тем, что на секунду крепко зажимал уши и, когда вновь отнимал руки от головы, слышал сразу громкий шум. Так и теперь, — необычайная тишина вдруг наполнилась различными звуками и голосами, — Андрэ, Мадлэн, доктора, Жозефа и других людей. Потом он уже начал, — хотя и с большим трудом, — говорить. Первое, что он сказал, были слова:

— Позовите Андрэ.

— Я здесь, папа, — ответил Андрэ.

— Ты очень испугался, мой мальчик?

— Да, папа — неожиданно захлебнувшись и заплакав, сказал Андрэ.

И в тот же день доктор, вызвав Мадлэн, говорил с ней полчаса и кончил словами о том, что он совершенно ручается за полное восстановление здоровья Дорэна. — Но я боюсь, — прибавил он после небольшого молчания, — что он навсегда останется слепым.

И Анри Дорэн ослеп. Сначала он, как и все окружающие думал, что зрение вернется к нему постепенно, так же, как слух и способность двигать руками и ногами, но силы его давно уже восстановились, а зрение не возвращалось. Он попрежнему ничего не видел и только медленно и с ужасом привыкал к постоянной тьме, в которой жил. То, что он не видел, вначале сильно мешало ему передвигаться; и ему казалось, что ему трудно ходить не потому, что он слеп, а потому, что ослабели мускулы ног. Он утратил чувство физического равновесия, он делал неверные движения и если падал, то всегда очень неудачно, не успев защититься от падения вытянутыми вперед руками. Из него точно вынули какую-то пружину, делавшую раньше его тело гибким и создававшую естественное сопротивление всем внешним толчкам и столкновениям. Потом в нем выработалась другая привычка ходить и двигаться и безошибочное угадывание возникавших перед ним препятствий, которые представлялись ему как темные стены перед закрытыми глазами. Он уже не наталкался на стулья, на столы, на кресла; он легко находил дверь, — так как воздух в том месте, где находилась открытая дверь, был реже, чем воздух у стены. Прошло несколько недель, и Дорэн уже ходил по всему дому с уверенностью зрячего человека. И только тогда все начало с удивительной быстротой меняться в его представлении.

До этого Дорэн почти не думал о смысле постигнутого им несчастья. Ему было очень тяжело, он знал, что все случившееся

Анри Дорэн хорошо помнил ту минуту, когда, приняв сначала аспирин и то, что он считал хиной, — его немного удивило, что она показалась не горькая, — он взял столовую ложку, лежавшую на

ужасно; но он считал, что отсутствие зрения есть лишь физический недостаток, очень тягостный и печальный, но больше ничего. Его по детски радовала мысль о том, что он успел сделать в жизни все, что было необходимо, — как человек, который увидел грозовую тучу и еще до того, как началась буря, успел укрыться в надежном месте; он был обеспечен, с ним был любимый сын и жена, — чего же ему было бояться?

Но с каждым днем он замечал, что все это меняется, и Андрэ и Мадлен невольно отдаляются от него. Впервые это обнаружилось в тот день, когда Мадлен вывела его на прогулку. Он неуверенно ступал по шоссе, она держала его под руку; был весенний, почти безветренный день.

— Какой ветер, Мадлен! — сказал Дорэн.

— Ты, наверное, шутишь, Анри; нет никакого ветра, настолько, что это даже удивительно, я хотела тебе сказать об этом.

— Вы все, — вдруг с неприятным для Мадлен раздражением заговорил Дорэн — вы все, повидимому считаете, что если я ослеп, то это значит, что я впал в детство или стал идиотом. Я ничего не вижу, это правда, но я чувствую сильный ветер.

— Но уверяю тебя, Анри, что это тебе только кажется.

Дорэн замолчал и не начинал более разговора. Вернувшись домой, он сел на диван и надолго задумался. Все было тихо в доме, Дорэн слышал, как звенели пружины в кресле Мадлен, как она переворачивала листы книги, которую читала; как Андрэ писал в своей комнате; и потому, что его перо часто останавливалось и потом снова быстро начинало ходить по бумаге, Дорэн понял, что Андрэ пишет какой-то рассказ и пишет начерно. Внизу, по шоссе, проезжали автомобили: первым проехал Бюгатти, потом Испано-Сюиза, затем сильный Рено и тотчас же вслед за ним Паккарт, — Дорэн безошибочно определял это по звукам моторов.

Помимо того, что осязание и слух Дорэна чрезвычайно обострились, — в чем не было ничего удивительного, — и все, окружавшее его беспрестанно шевелилось и звучало; тьма, стоявшая перед его глазами, была полна звуков и насыщена ни на секунду не прекращающимся движением; — помимо этого нечто новое и невероятное стало открываться перед ним.

Мало того, что он чувствовал чье либо присутствие в комнате; но он точно знал, спокоен или раздражен человек, находящийся рядом с ним, — радостен или печален; и все оттенки его состояния делались вдруг ясны Дорэну. От каждого человека шел точно горячий ветер; и по тому, насколько он слаб или силен, Дорэн знал, в каком состоянии находится этот человек. Однажды утром, когда он только что успел одеться и в комнату вошла Мадлен, он почувствовал ее желание до того, как она успела произнести хоть одно слово; раньше он мог это понять по выражению ее лица или по интонации голоса или по какому либо движению ее тела или руки. Теперь он ничего этого не видел, и Мадлен еще не успела заговорить с ним. Но раньше, чем она произнесла свое обычное — bonjour, Henri, — он предупредил ее и сказал:

— Доброе утро, Мадлен. Значит, ты все-таки не перестала любить меня?

— Ты знаешь?

— Я чувствую. Только не надо плакать.

И лицо Мадлен с мокрыми от слез глазами, очутилось у лица Дорэна.

— Анри, — говорила она испуганным шопотом, — мне страшно, когда ты ко мне прикасаешься. У тебя другие пальцы, мне кажется, что это чья-то чужая рука гладит мое тело. У тебя новые руки, Анри, — сказала она с ужасом в глазах, который Дорэн услышал в ее голосе.

— Моя глупенькая, — ласково сказал он, — ты забыла, что я слепой.

Множество разных мелочей раздражало Дорэна. Прежде всего, невозможность читать, затем постоянная и обидная предупредительность всех окружающих, из которых один Андрэ понял, что быть чересчур внимательным к отцу и относиться к нему, как к тяжело больному, — значило невольно подчеркивать его ужасный недостаток. По некоторым фразам Дорэна Андрэ понял, что отец угадал и оценил эту его чуткость.

Оставаясь один, Дорэн начинал вспоминать. Раньше он редко утруждал свою память; того, что происходило с ним, было достаточно, чтобы занять все его внимание. Теперь, не привыкнув еще окончательно жить в темноте, в которой до сих пор многое оставалось для него враждебным и чужим, он перебирал в своей памяти все свои зрительные впечатления и вспоминал всю свою жизнь.

Он вспоминал прекрасная облака на рассветном небе в то утро, когда умерла его первая жена, сверкание автомобильных стекол и отражение в них откинутой назад головы Мадлен, блеск моря, по берегу которого мчался его chrysler и бледное лицо Андрэ с си-

ними, почти женскими глазами; вспомнил, как подпрыгивая, катились камешки с дороги, как неслась поднятая порывом ветра, бумага; как наступала ночь и в далеком пространстве, почти таком же, как теперешняя тьма, но несравненно более мягком, загорались в воздухе до высоко, то низко, огни; как скользил луч фонаря по темному шоссе, как из за последнего поворота открывался весь униженный огнями вечерний Париж, над центром которого стояло красное электрическое зарево; как сверкала вода в лесу, как отражались деревья в реке, как плыли в океане многоэтажные пароходы со светящимися иллюминаторами; как бело блестел нежный приморский песок, когда он мальчиком возвращался с купанья, — как горели маяки, далеко видные в море. Тысячи незначительных и мелких подробностей вспомнились ему: какой особенной танцующей походкой Джэк подходил к сен-бернару, которого они встретили в Париже, как двигались мускулы под его гладкой кожей; как сверкнул в воздухе красноватый хвост лисицы, за которой бросился Джэк, когда они однажды совершали прогулку где-то в Нормандии. Потом он видел улицы Парижа, полные людей, — под струящимся и блестящим дождем; зажигающиеся зеленые и красные сигналы на углах улиц; далекое, медленное небо над головой, синеватый лед северных озер, — и желтые, удушливые облака пыли на бесчисленных дорогах Франции в тот год, когда была объявлена война и он вместе со своими товарищами ночью, на грузовике с потушенными огнями медленно ехал на фронт. — Где они теперь? — думал Дорэн. — Мортье убит в августе шестнадцатого года. А Бернар? — Дорэн вспомнил, как Бернар говорил со своим мрачным видом:

— Нет, друзья мои, я твердо знаю: меня убьют именно в тот день, когда кончится война.

Он говорил это каждый день и так надоел всем, что Мортье, не выдержав, сказал ему однажды:

— Non, mais creve donc et que la guerre finisse!

— Как странно дергался Бернар перед смертью, — продолжал думать Дорэн. — Да, когда же это было? За месяц до перемирия. Да, Бернар ошибся в сроке.

И вновь долгая, счастливая жизнь представилась ему. Вот он возвращается домой после грохота снарядов, окопов, пулеметной стрельбы; ему еще снится война, но он лежит в чистой постели с прохладными простынями и знает, что все ужасы и смерть и голод остались позади, а перед ним богатство, здоровье, счастье и все, о чем стоит потом пожалеть в старости.

Один раз, когда Мадлен вошла в его комнату, он услышал по ее быстрой и вместе решительной походке, что она хочет спросить его о чем-то таком, в чем она не вполне уверена, одобрит ли он ее или нет, Мадлен сидела рядом с ним и говорила о хозяйственных вещах: потом спросила:

— Анри, ты ничего не имеешь против того, чтобы я пригласила гостей?

Дорэну вдруг стало необычайно грустно. Ему вспомнилось, как в детстве его в наказание оставляли дома, — все уходило, он сидел один в громадной комнате, с трудом сдерживая слезы. Но он сказал:

— Конечно, Мадлен, конечно. Только я не выйду к гостям, я останусь у себя: ты скажешь, что я уехал, хорошо?

— Нет, нет — протестовала Мадлен, — ты должен быть вместе с нами.

— Это невозможно, — настаивал Дорэн. — Я не буду. Но очень прошу тебя пригласить гостей, иначе ты меня обидишь.

— Я сделаю, как ты хочешь, — со вздохом сказала Мадлен.

И вечером приехали гости. Дорэн сидел у открытого окна в шезлонге, опускающееся солнце светило в его слепое лицо, потом теплый его свет медленно скользил все ниже, — и, наконец, стало темно. Дорэн не отошел от окна и остался сидеть в шезлонге. Он слышал — окно в столовой было открыто — как гости упоминали о нем, как спрашивали Мадлен об его здоровье, — она отвечала. Вдруг звук ее голоса поразил его; он стал внимательнее прислушиваться. Но следующая реплика Мадлен была обращена не к тому самому человеку, в разговоре с которым звучала интонация ее голоса, так поразившая Дорэна. Он ждал пока она вновь заговорит с этим человеком. Через пять минут мужской голос спросил:

— А как поживает Андрэ?

— Благодарю вас, — ответила Мадлен, — очень хорошо. Он сегодня в Париже.

Это была опять та же интонация, в которой нельзя было ошибиться. В первую секунду Дорэну показалось, что он задохнется. Но он справился с собой, и медленно отодвинул шезлонг от окна, он перешел на диван, откинулся на подушки и больше ни разу не шевельнулся за весь вечер. Он слышал еще, — почти механически, почти невольно, — как Мадлен играла на рояле, как кто-то громко

говорил о Клемансо, но теперь для него не существовало ничего, кроме ее измененного голоса. Дорэн не мог ошибиться в значении этой перемены. То, что раньше он, может быть, приписал бы своему воображению, было теперь для него ясно, как если бы он видел все собственными глазами. Таким голосом Мадлэн говорила только с ним, — и только в минуты физической близости. Как хорошо он знал именно этот голос Мадлэн, — с внезапной, легкой хрипотой и неправильным дыханием! — А я слепой, — подумал Дорэн и бессмысленно все повторял эту фразу:

— Да, а я слепой.

Поздно вечером, но гости еще не уехали, — раскрылась внизу входная дверь и явился Андрэ, поднявшись прямо в свою комнату. Дорэн слышал, как Андрэ подошел к окну, — потом вернулся, сделал несколько быстрых шагов по комнате и сел в кресло, но тотчас же встал и снова стал быстро ходить. Через полчаса он лег и, по-видимому, заснул, так как из его комнаты не доносилось ни звука.

До последнего времени Дорэн не задумывался над тем, хороша или плоха жизнь вообще; только в спорах с Андрэ он говорил об этом. Он говорил, что в жизни больше радости, чем печали, потому что сам испытывал чаще радость, чем печаль; а когда ему было нужно доказать справедливость своих взглядов, то так как он не мог сказать, — смотрите, я живу счастливо и это есть доказательство верности того, что я говорю, — он прибегал к примерам, почерпнутым из всего, что он знал и читал. Но то, что жить хорошо, ему лично было ясно без всяких примеров. Он всегда огорчался, слушая Андрэ и даже часто говорил о нем с Мадлэн.

— Как жаль, — говорил он, — что Андрэ не пошел в меня. Он слишком болезненный мальчик, он слишком много думает и читает, — это нехорошо. Мадлэн, ты не находишь?

Мадлэн соглашалась с ним; Андрэ всегда оставался ей чужд. Того мира постоянно движущихся мыслей, образов и открытий, в котором жил Андрэ, она не знала и не понимала: для этого она была слишком здорова и слишком женщина. Счастье Анри Дорэна не было слепым, он походил на Мадлэн; в нем было удачное соединение духовных и физических способностей, которое давало ему возможность понимать одновременно и Андрэ, и Мадлэн.

— Оба они правы, — думал Дорэн, — но в конце концов, более всех прав я.

И вот, теперь вопрос, кто более прав встал перед ним с необыкновенной силой. Ослепнув, он лишился половины сокровищ, которыми обладал; — а в тот вечер, когда у Мадлэн были гости, он потерял нечто важное и очень дорогое, — остался один Андрэ. Но того чувства, которое было уничтожено этими несколькими интонациями Мадлэн, ничто, казалось, не могло уже ни поправить, ни заменить, — и это было бесконечно печально.

Дорэн ничего не сказал Мадлэн; но с этого дня он почувствовал, что тот воздух, который он, будучи зрячим и счастливым, так любил, воздух его квартиры, который постоянно окружал его везде, где бы он ни был, как ежеминутное воспоминание или сильный запах одних и тех же духов, — что этот воздух был насыщен тревожными и печальными вещами, о существовании которых Дорэн раньше ничего не знал. Он слышал однажды как внизу, во дворе, раздавался сильный писк, — ему сказали, что это крыса, попавшая в западню: Дорэн представил себе ее расплюснутый живот и ему стало дурно. В другой раз тревожно кудахтали и кричала курица, которую зарезал Жозеф; Дорэн слышал взмахи ее крыльев, когда она, уже обезглавленная, пробежала несколько шагов по двору; и все это, на что раньше Дорэн не обращал бы внимания, — необычайно угнетало его теперь и делало его состояние еще более тягостным. Каждый день ему все печальнее и печальнее становилось думать о том, что наступают сумерки, — точно уходящее солнце оставляло его в еще большей тьме, чем та, в которой он находился до сих пор. Далекий звук колокола, сирена проехавшего и удалявшегося автомобиля, ветер перед грозой, звон часов и те непонятные ночные звуки, значение которых он силится и никак не мог понять, все это точно явилось для него новым и грустным откровением. — Значит все, что я знал раньше, был только зрительный обман? — думал Дорэн. И ему казалось странным, что он видел глаза Мадлэн, обнимал ее тело и мог не слышать, что в эту же секунду рядом с ним в воздухе то звенели, то двигались, то ползли, то умирали все эти печальные звуки, вся эта последняя и смертельная мелодия, которая, не переставая, звучит вокруг него, — и которая оправдывает все; которая настолько страшна, что по сравнению с ней и слепота, и болезнь и измена — только случайности и больше ничего. — А как же моя счастливая жизнь? — продолжал он думать. Его удивляло, что он не знал и не видел этого раньше... — Ведь я был не глупее других и не менее чуток, чем они; почему же то, что, не умея еще доказать, но безошибочно чувствуя знал Андрэ, — и это же знала его мать, — почему же это оставалось мне неизвестно?

И он неожиданно вспомнил свой разговор с Андрэ о катастрофе. — Да, тогда я говорил, что после катастрофы мир предстанет измененным и наполненным новыми наслаждениями. Где же они, эти новые наслаждения?

С этого времени Дорэн стал молчалив и печален; и Мадлэн сказала одному из своих друзей, что Анри, по-видимому, только теперь понял весь смысл своего несчастья.

После того, как Дорэн начал думать о новом своем понимании мира, он невольно стал избегать Андрэ. Его отеческая нежность не изменилась; но прекратились длинные разговоры с Андрэ, которые он вел раньше. Он бессознательно сторонился Андрэ, потому что теперь у него не было уже твердо и счастливого убеждения, что все хорошо, которое раньше он мог противопоставить всем пессимистическим рассуждениям Андрэ; он был бы принужден согласиться с сыном, что было совершенно невозможно по многим причинам. Во-первых, он был отец; во-вторых: если бы Дорэн подтвердил сыну, что тот прав, то для Андрэ исчезло бы счастье, которое он находил в постоянной и спокойной уверенности Дорэна. Получалось так, что все для Андрэ было нехорошо и печально, — но оставалось одно место, незатронутое этим и находящееся вне несчастья, огорчений и печали, — это отец. Что же стало бы с Андрэ, если бы он лишился и этого? Так думал Дорэн; а Андрэ огорчался и не понимал, почему отец избегает его.

Однажды Дорэн, одолеваемый странной сонливостью, заснул после обеда и видел сон. Ему снилась река. Бесконечно широкая, покрытая пенящимися волнами, она преграждала ему дорогу: издали виднелся ее противоположный берег в очень зеленых деревьях. — Я выздоровел, — подумал во сне Дорэн; — как ясно я вижу эту воду и деревья. Надо, однако, плыть. — Он вошел в реку; дно сразу же ушло из под его ног, он медленно поплыл к тому берегу; сильное течение носило его вниз. На середине реки силы стали оставлять его. Он посмотрел вверх — вверху было бесконечное небо, на нем были видны звезды, хотя все это происходило днем. — Странно, что я вижу звезды, — сказал себе Дорэн и потом подумал, что зрение вернулось к нему необычайно усиленным и что поэтому он даже днем видит звезды. Он еще плыл, но уставал все больше и больше. Он хотел обернуться, но чей то голос сказал ему:

— Только не оборачивайся, только не оборачивайся.

— Хорошо, — ответил он, — но у меня нет больше сил. — Есть, — сказал все тот же голос; и Дорэну тотчас же сделалось легче. Все же он плыл очень долго; наконец, добрался до берега и сел на зеленую траву. Все вокруг него блестело от солнца. Он повернул голову и увидел чьи-то смеющиеся, необыкновенно знакомые и необыкновенно радостные глаза. — Кто это? — спросил он и проснулся. Был уже вечер. Дорэн подошел к окну; тьма, стоявшая перед ним, стала мягкой и нежной, теплый вечерний воздух окружил его. Из столовой послышался низкий голос Мадлэн, сказавший Андрэ:

— Андрэ, ты не думаешь, что следовало бы разбудить папу?

И голос Андрэ ответил без обычной скрытой враждебности:

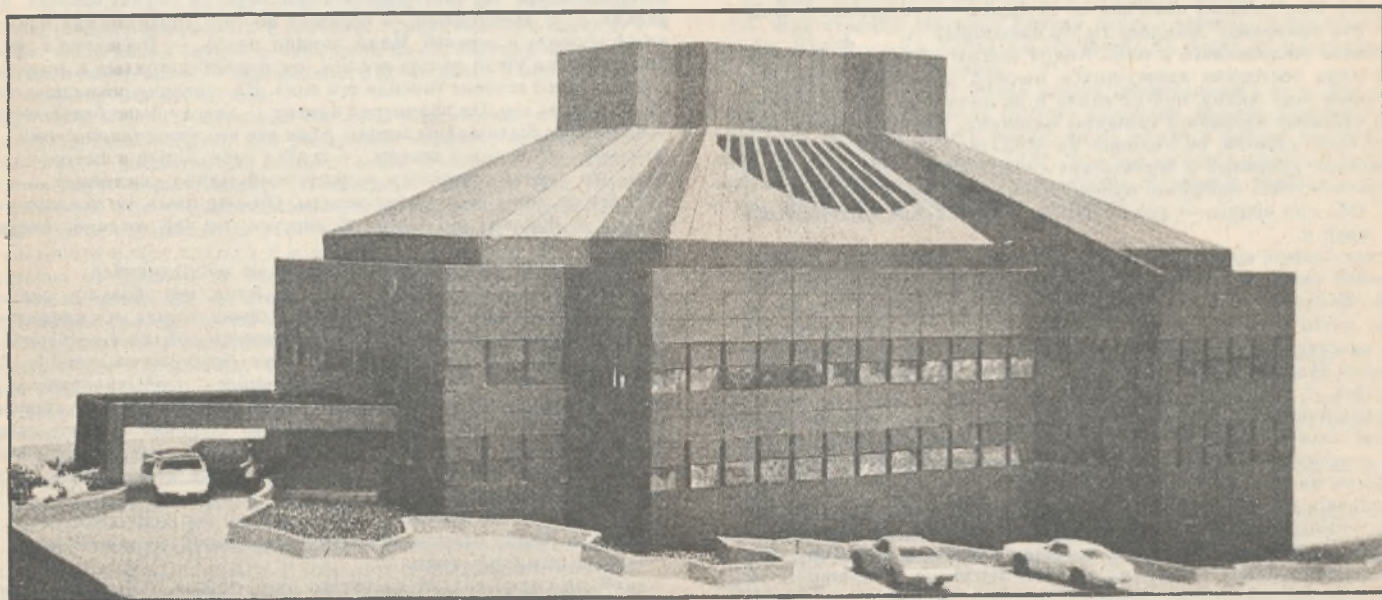
— Да, пожалуй, пора.

— Я не сплю, сказал из своего окна Дорэн. — Как все хорошо, — успел он подумать. — Но почему? Ведь так недавно я все понимал иначе, что же изменилось? Один только сон? Нет, это не может быть. — И улыбаясь слепым лицом, он пошел в столовую. За обедом он впервые стал шутить с Андрэ и смеяться, — и чувствовал, как все оживает вокруг него. Засмеялся хмурый Андрэ, голос Мадлэн отделился от нее и окружил Дорэна, и в нем звучали те же интонации, что тогда, вечером, когда у Мадлэн были гости; но Дорэн не вспомнил об этом.

Мадлэн ушла от него под утро внезапно отяжелевшей походкой. Анри Дорэн остался один. — Что же я понял еще? — спросил он себя. — Да, я не слышал и не знал многих печальных вещей и был счастлив? А теперь, когда я их знаю, разве я менее счастлив? Нет, только надо пройти сквозь это — думал он, почти засыпая. — Надо понять, с усилием говорил он себе, — что все неважно, катастрофа, измена; да, Андрэ был неправ, я скажу ему об этом завтра. Важно, что я живу, думаю и делаю все, что угодно, — и вот издалека доходит до меня какое-то облако счастья, которое с детства поднимается за мной, — и оно окутывает меня и людей, которые мне близки; и против его счастливого тумана бесполезно все, и все ненужно и смешно; а то, что есть — бесконечно и радостно, и ничто не в силах отнять это у меня. Надо это сказать Андрэ, надо только не забыть это, — сказал он, сделав последнее усилие, — и заснул. Уже начинался рассвет, уже бледнели звезды; и свет и тьма стояли, не смешиваясь и не исчезали.

АРХИТЕКТУРА КАК СПОСОБ ОБЩЕНИЯ

Мы публикуем выдержки из следующих книг:
 Вильям Марлин. «Architect Gunnar Birkerts and Associates», Токио, 1982 (серия «Мировая архитектура»);
 Гунарс Биркерс. «Building, Projects and Thouts 1960—1985, USA, The University of Michigan», 1985,
 а также фрагменты статьи Грейс Андерсон в журнале «Architectural Records» за март 1982 года.
 Материал подготовила МОДРИТЕ ЛУСЕ.



Посольство США в Хельсинки, Финляндия. 1975

ВИЛЬЯМ МАРЛИН. Творчество Гунарса Биркерса нельзя охарактеризовать при помощи комплекса предположений или выразительных средств архитектуры. Оно должно быть оценено в совокупности с иными факторами, многие из которых критики частенько не упоминают. Поэтому довольно трудно до конца понять, как в архитектуре проявляется взаимосвязь между ее внутренней сущностью, в которой обобщен опыт страны, эпохи, и конкретными решениями, лежащими в основе архитектурного сооружения. Проекты Г. Биркерса рождаются на стыке именно такого взаимодействия. Он человек эмоциональный, однако, умеет управлять своими чувствами. Он субъективен, но в нем сильна способность к самокритике и глубокая интуиция. Ярчайшее воображение расширяет его кругозор, обогащает его мышление новыми интеллектуальными и аналитическими возможностями.

Восприятию Г. Биркерса больше способствует чтение Карла Юнга, чем попытки отыскать в его творчестве внутренний стержень вроде бы последовательных эстетических убеждений; Г. Биркерс пылко поддерживает те возможности, которые дает технология, он неустанно ищет новые приемы использования материалов, методов и средств,

предлагаемых современной техникой, но наблюдательность и созерцательность спасают его от излишеств. Хотя Гунарс Биркерс всегда увлекался новыми открытиями инженерной науки и прогрессивной технологии, но он никогда не чувствовал себя уютно в области технократической конвенции и стандартизации, в самоуверенной суровости «международного стиля». В то время, как многие ведущие архитекторы и их критики утверждали, будто история — чушь, Биркерс четко сознавал, что это не так. Что, благодаря изысканному «созвучию» масштаба и материала, отпадает необходимость в буквально понимаемой символике, в осколках стилей, которыми пользуются многие известные архитекторы, пытаясь своими произведениями воздействовать на угрожающую нашей среде систематизированную банальность и гордясь заимствованиями, начиная от Палладио и Браманте и кончая Эдвином Лутьеном и Франком Лойдом Райтом.

Ни один архитектор не будет популярен в грядущем, если он не был популярен в свое время. Теперь, когда продолжается межвременье постмодернизма, наблюдается тенденция извлекать на свет божий и славить тех архитекторов и дизайнеров, кто в свое время не был признан или

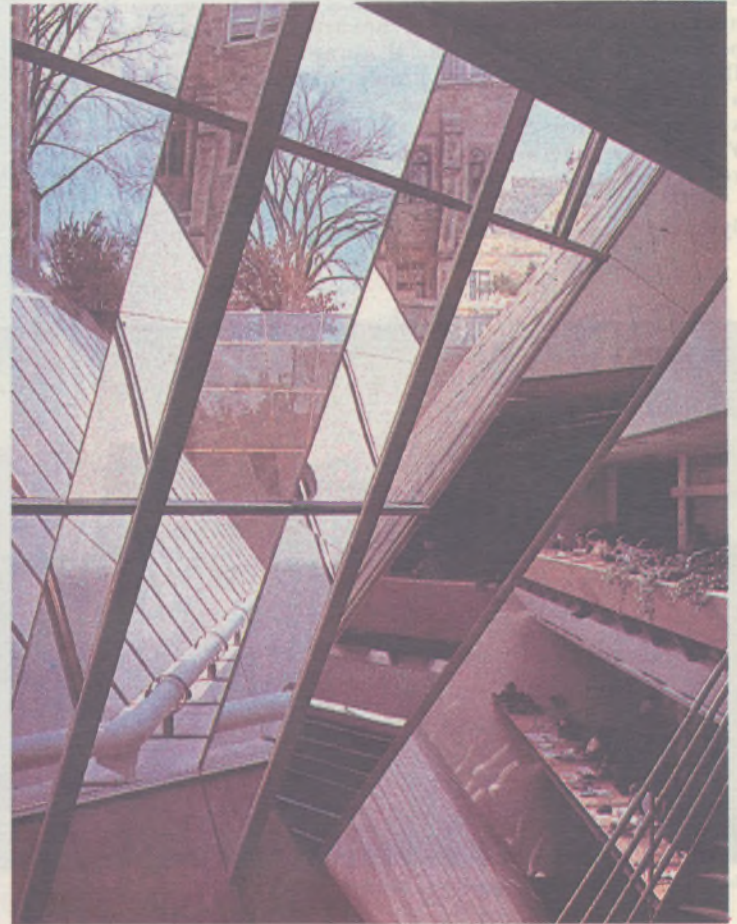
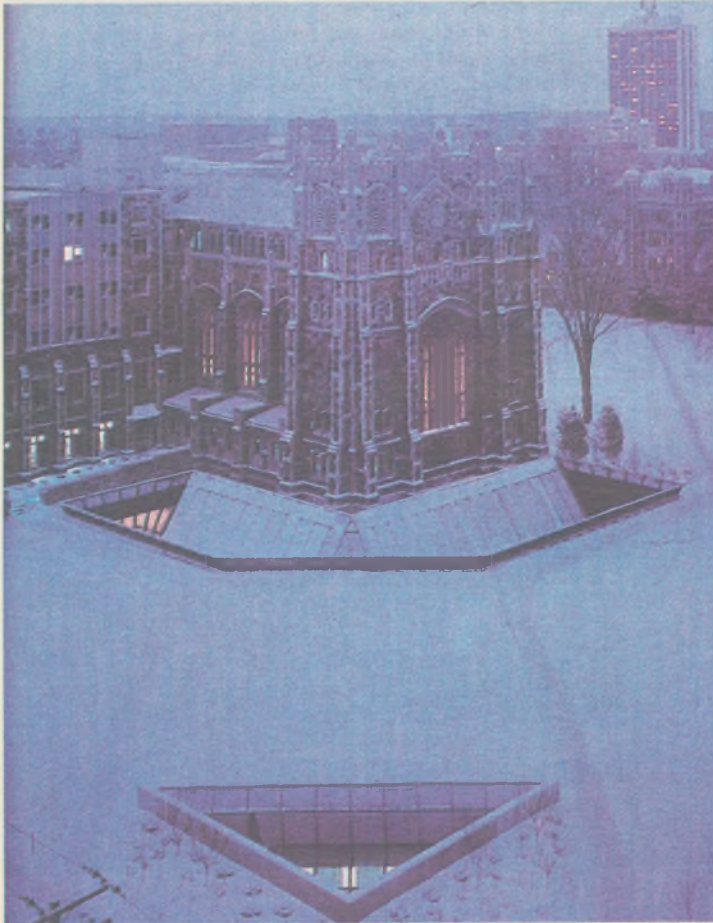
прославился на недолгое время, а потом был низведен рангом ниже. Поэтому теперь «не в моде» Мисс ван дер Роэ. Рихард Нейтра — то в моде, то нет. Валтера Гропиуса, который, построив себе дом в Массачусетсе, доказал, что хорошо знает историю теории ассимиляции, считают догматически-академическим тираном.

Вновь признан швед Эрик Гуннар Асплунд в связи с пропавшим интересом к Алваро Алто. Снова вспоминают Элиела Саринена, а отношение к его сыну Эро — колеблющееся. Филипп Джонсон, которого многие считают королем архитектуры, настолько популярен, что позволил себе высказывание об обожествлении, которое может стать формой проявления ненависти. В то же время, многие пост-модернистские группировки не признают Ио Минг Пей, а

был принят на отделение архитектурных наук. Ощущение было такое, будто я уцепился за кончик веревки и моя задача — вскарабкаться по ней.

Я попал в группу старших студентов. Хотя они были прилежные и работающие, но влияния на меня не оказали. Война лишила их желания открыть в архитектуре что-то новое. Похоже, их главным образом интересовало, как стать архитекторами-техниками, приобрести практические навыки в строительном деле.

Тогда Германия нуждалась в новых постройках, и в такой ситуации философствовать об архитектуре казалось излишним. Я не мог удовлетворить свои порывы. И понял, что мои цели резко отличаются от устремлений однокашников. Тогда же наш факультет разделился на две группы-



библиотека Мичиганского университета. 1974

ведь это — талантливый архитектор, известный государственный деятель и деятель культуры. Одна такая группировка недавно известила, что у господина Пей, якобы, нет «твердой точки зрения в области теории». Подумать только! Похоже, Гунарс Биркертс следовало бы считать себя счастливым, ибо судьба, география и сама его индивидуальность как бы отлучили его от главных центров «свободного» стиля.

ГУНАРС БИРКЕРТС. «Я отчетливо помню тот день, когда впервые решил стать архитектором. Тогда я еще учился в гимназии. Я стоял перед архитектурной композицией, которую изготовил мой товарищ, на год старше меня, готовившийся поступать в архитектурную школу. Увиденное привело меня в восторг. Не преувеличу, если скажу, что это было одно из сильнейших моих переживаний. Казалось, некий голос велел мне: «Ты должен стать архитектором». Не знаю, как сложилась судьба старшего товарища. Возможно, он стал архитектором, так никогда и не узнав, какую роль сыграл в моей судьбе.

Война увлекла меня в Германию, несколько месяцев спустя после ее окончания, я поступался у дверей Штутгартской высшей технической школы. В декабре 1945 года

рочки. Одна фракция представляла местный южно-баварский архитектурный стиль и поддерживала заложенные в нем национальные тенденции. Другая, которую представляли Рихард Декер и студенты старших курсов, ориентировалась на «Баухауз».

Но я не примкнул ни к одной из них. Видел, что там царят негибкость и догматизм, что их взгляды не соответствуют моим интересам. Мне повезло с советчиком — независимым в своих взглядах профессором. Это был Рольф Гутброт. (Позднее он стал известен у себя на родине постройкой павильона ФРГ на Монреальской выставке, а также и во всем мире — спроектировав вместе с Отто Фреем подвесные конструкции).

Р. Гутброт стал моим критиком, но вдохновение я черпал в иных источниках. Когда в Штутгарте открыли американскую библиотеку, в ней появились и архитектурные журналы «Architectural Forum», «Architectural Record», «Art of Architecture» и другие. Что это был за стимул! В мировой архитектуре происходили значительные события. Особенно выделялись скандинавские архитекторы. Появились имена Ласказа и Липидуса, и других — из США. Масла в огонь подливали фотоснимки футуристиче-

ских фасадов, наклонных стеклянных плоскостей и балконов. Все упоминаемые имена были связаны с известными проектами. Можно было и кое-что узнать о ходе проектирования и новых архитектурных теориях.

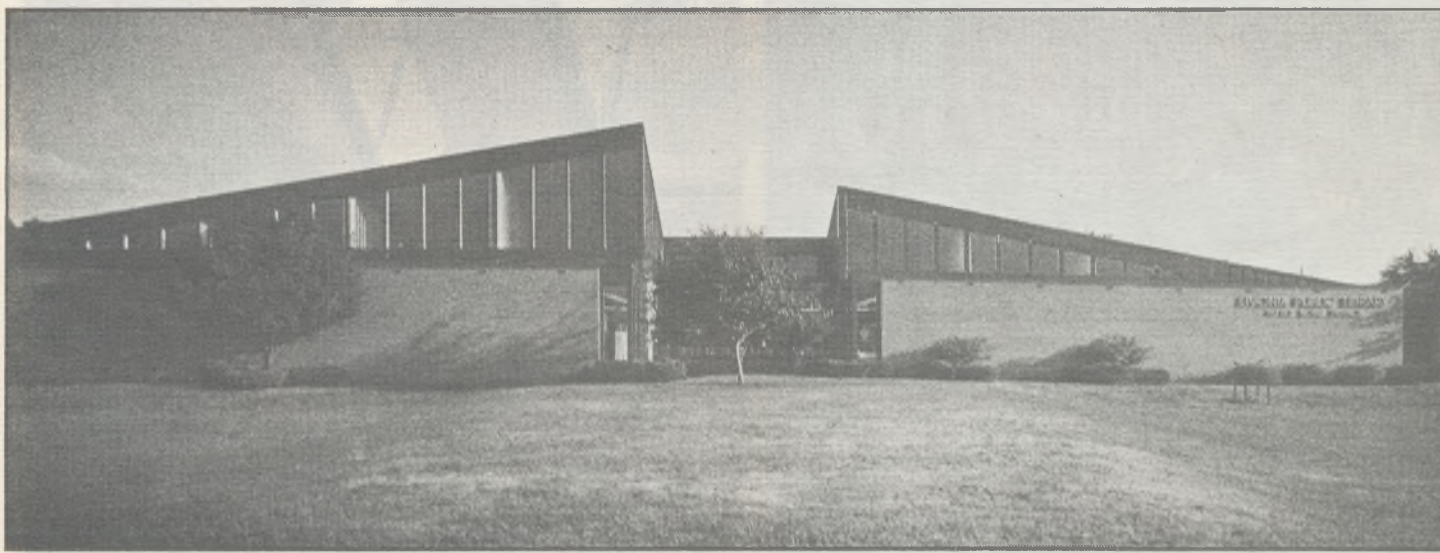
В программе высшей технической школы творческому проектированию не уделялось достаточно внимания. Но строго выдерживалась линия прагматизма. Бог весть сколько времени уделялось нудным упражнениям — вычерчиванию «рабочих деталей» плотника, каменщика и даже жестянщика. Мы к тому же учились, как строить новые здания из руин — это было своеобразной экологической тренировкой. Теперь, вспоминая о них, я счастлив, что у нас были такие задания. Они помогли мне ознакомиться с различными материалами и их «взаимоотношениями».

В 1949 году я готовился окончить высшую школу. Американцев я знал по работам Элиела и Эро Сариненов. Меня привлекало их отношение к архитектуре и достигнутые результаты. Я отправился в США, где стал работать в бюро Перкинса и Уилла. Годом позже Эро Саринен взял меня в свою группу. Через четыре года я почувствовал тягу к самостоятельности. Меня пригласил Минори Ямасаки. У него было много оригинальных идей и казалось, что он хочет уйти от догматиков архитектуры того времени.

У Перкинса и Уилла я научился создавать здание на бумаге и воплощать его в действительности. Эро Саринен

обобщить все свои идеи и подвести под них философскую базу. Иначе я не мог выступать перед молодыми и любознательными студентами.

Работу во вновь организованном бюро я начал в 1960 году. Во мне проснулось нечто неосознаваемое, зашевелилось, потребовало выхода. Прежние интуитивные всплески энергии налились силой. Человек никогда не знает, где ждет его такой поворотный пункт. Можно предвидеть, что это случится в тот миг — как это случилось со мной, — когда переменчивые до сих пор ценности, принципы и источники вдохновения, наконец-то, стабилизируются. Думаю, буду честным, если признаюсь, что в шестидесятые годы во мне проснулось что-то стабильное и даже одухотворенное, хотя внешне выразительные средства, технические и материальные возможности в архитектуре стремительно менялись. Я был на пути к себе, ибо понял, наконец, что меня не устраивает работа лишь над формой зданий. Я желал — и это было для меня необходимостью — работать над образом мышления. И это стремление живо во мне по сей день. Я считаю, что здание должно отражать и обобщать технические возможности нашего века, но при этом нельзя игнорировать природу и эмоции человека, часто незамечаемый нами врожденный психологический голод, который мы ощущаем по отношению к окружающей среде, постоянно соприкасаясь с ней, как посредством органов чувств, так и



Ливонская Публичная библиотека, Мичиган. 1965

поразил меня своей профессиональной хваткой и той энергией, которую он вкладывал в работу. Я опять оказался «на нуле» — понял, как много мне предстоит учиться... Только вместе с Ямасаки я почувствовал близость зрелости. Но все же понимал, что мой путь — между отчаянными муками творчества Эро и экстазами Ямасаки.

В конце пятидесятых годов мне казалось, что ученичество окончено. В 1959 году вместе с Франком Штраубе мы основали свою фирму.

Но, прежде чем начать работать самостоятельно, я должен был пройти и некий переходный период. Еще работая с Ямасаки, я думал о будущем. Был автором архитектурных сооружений, получивших награды, участвовал в международных конкурсах: в Анкарском техническом университете в Турции получил вторую премию за лучший проект культурного центра для Бельгийского Конго, а также первую премию на Международном конкурсе по дизайну мебели в Канту (Италия). Наконец, я почувствовал, что нашел свой путь, хотя на меня сильно повлияли люди, с которыми я работал.

В том же 1959 году, уйдя от Ямасаки, я стал преподавать проектирование в Мичиганском университете. Пришлось

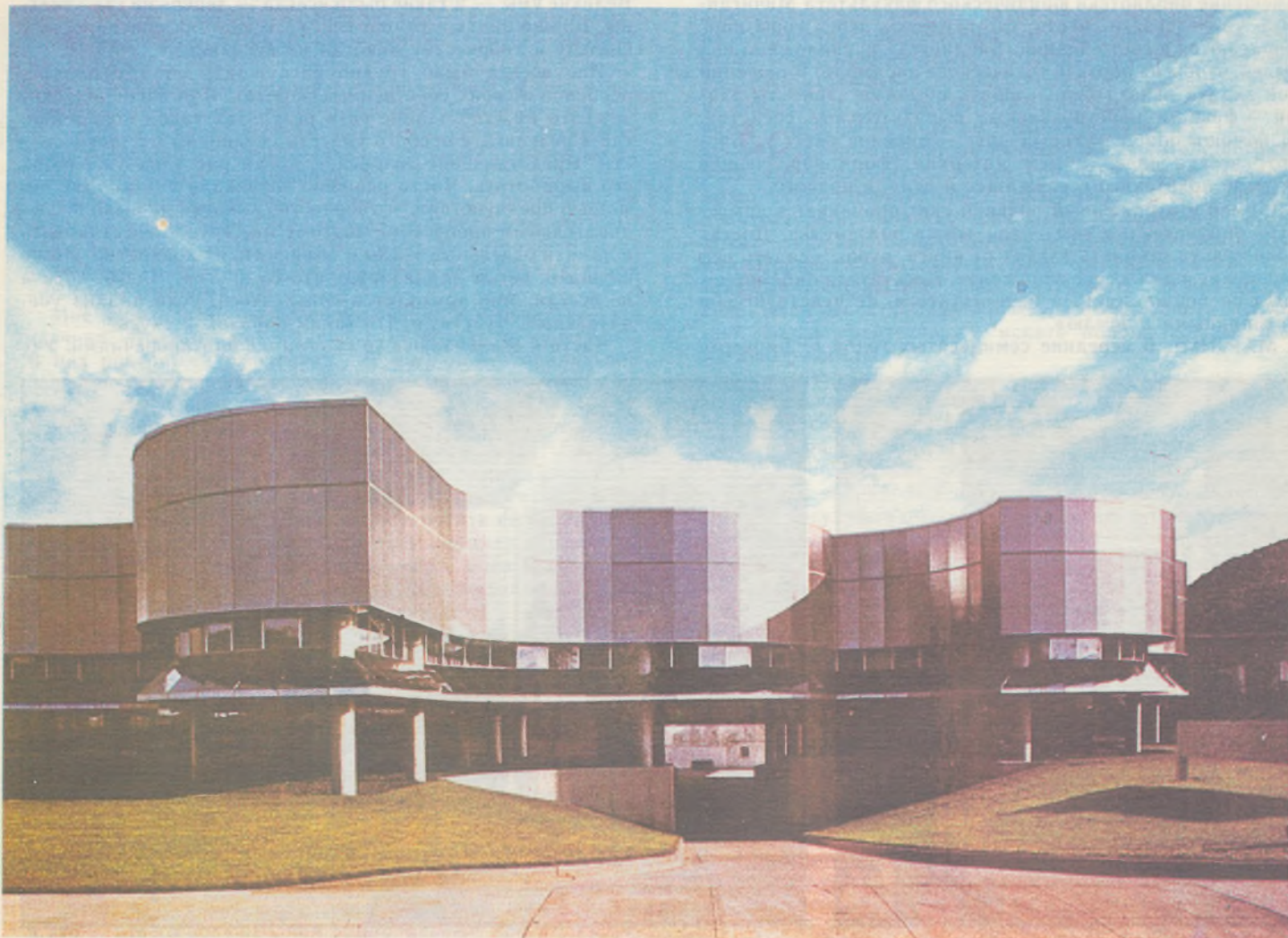
чисто символически. Архитектура может быть способом приспособления, — но при этом она — еще и способ общения. Наипрактичнейшие и наифункциональнейшие требования возможно осуществить в форме, требующей сопереживания. Мы должны помнить, что архитектура удовлетворяет извечное требование общения, что архитектурная среда обживается людьми. Это взаимодействие можно сравнить с фольклором, содержание которого — сказки, символы, образы, сравнения — сформировалось за долгое время в определенной среде и в сознании определенного типа людей. Наша главная проблема — как, не разбрасываясь материальными средствами, выразить психологические и символические связи — неотъемлемую часть любого архитектурного сооружения. Мы поняли, что долгое время главенствующее в архитектуре мнение отрицало эти связи, хотя они очень разумны и существенны. Для меня они всегда были необыкновенно ВАЖНЫ. Решив избавиться от технократических догм, я понял (а на сегодняшний день понимаю это еще лучше): всесторонне увлекательная и субъективная новинка — тоже догма, которая подкрадывается незаметно. Могут получить широкое распространение формальные взлеты фантазии, которые подменяют

функцию сердца «образностью» машины или принимают уже имевшую место в истории архитектуры форму «вертуры», как это было со многими лидерами постмодернизма. Эта уверенность возникла у меня уже лет двадцать назад.

Сегодня «международный стиль» провозглашен покойником. Архитектуру модерна в основном ругают. Если пропо-

обойтись без деталей, упростить форму и облегчить отделочные работы.

Одним из достигнутых результатов стала церковь в Энн-боре (Мичиганский университет) — с бетонным интерьером и экстерьером, причем деревянная обшивка использовалась лишь в тех местах, к которым прикасались человеческие руки или тела.



Корнингский музей стекла, Нью-Йорк. 1976

ведники «международного стиля» поступают неправильно, помещая однотипные здания повсюду, во всех уголках земного шара, верно ли будет допустить (что делают иные постмодернисты), будто яркие, но часто ученические поделки, сложенные из обломков прежних архитектурных стилей, отражают многообразие культурных, климатических и общественных условий, а впридачу еще и оправдывают расходы? Как я уже говорил, догмы мне всегда были не по вкусу. В то же время, работая с двумя такими яркими индивидуальностями, как Эро Саринен и Минори Ямасаки, я мечтал достичь простоты (лозунг мастеров «международного» стиля, и, несомненно, Миса ван дер Роэ). Освободиться от догмы — не значит освободиться от любых обязательств. Это вносит смысл в поиски свободы и экспрессии, что делает исследования по истории архитектуры чем-то более значительным, нежели поиск различных по силе воздействия стилистических и материальных средств. Много правды в словах Алваро Алто (впервые я увидел его здания в 1962 году в Финляндии) — он сказал, что главная задача архитекторов — дать жизни «более благородное построение».

Поняв, что стремлюсь к простоте, я стал искать, как бы

Все, что я создал самостоятельно в начале шестидесятых, было одновременно движением вперед и возвращением. Убедившись, что конечный результат поддается контролю, я понял, что нельзя отрицать и значение интуиции, ставшей у меня «партнершей» логически-аналитического мышления. Иначе я рискую создать проекты причудливого вида, как бы для удовлетворения своих личных художественных наклонностей, или же чересчур оригинальные.

Мое внимание всегда привлекала проблема дневного света в зданиях. Я всегда считался со светом и особенностями человеческого зрения. Человек должен чувствовать экстерьер лишь настолько, чтобы осознавать, что он вообще имеется, но нужно в достаточной мере осветить помещение. Пространство может выразить себя только через свет, особенно — дневной свет. Традиционное отверстие в стене — окно — самый худший прием для освещения помещения. Лучший — отраженный и рассеянный свет. Я всегда боялся прорезанных в стене окон. Если необходимо проделать в стене отверстие, я старался уравновесить плоскость стены стеклянной плоскостью. Часто я выдвигал стеклянную плоскость, таким образом как бы углубляя стену. Ее толщина использовалась как рефлектор, умень-

шающий контраст между ярким светом снаружи и уровнем освещенности внутри».

ГРЕЙС АНДЕРСОН. Во всем своем творчестве Гунарс Биркертс гонялся за световыми эффектами. Он непринужденно осваивал волшебство света. Сотрудничество с Алваро Алто и Эро Сариненом способствовали его стремлению северянина почтить и выделить дневной свет. Можно ли представить себе больший вызов этой верной любви, чем проектирование здания под землей? Г. Биркертс расширял помещение библиотеки юридического факультета Мичиганского университета, место, где студенты через горы книг пробиваются к свету знаний. Библиотека расположена под землей, чтобы не портить готического ансамбля. В решении этой задачи нельзя использовать обычные атрибуты здания — фасады, конструктивные выразительные средства. На помощь пришел старый друг — дневной свет. Г. Биркертс всегда видел в нем материал, формообразующее средство архитектуры, служащее и делу, и красоте.

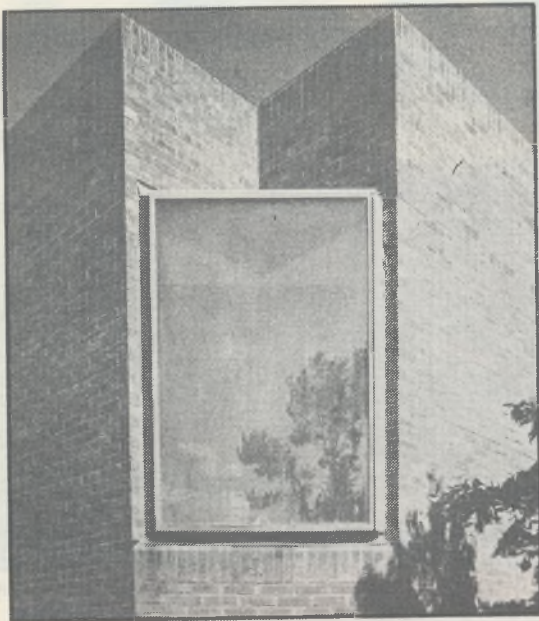
Прямой и отраженный дневной свет проникает в самую глубину библиотеки, а там — три этажа подземелья. Достаточно только оторвать взгляд от книги, чтобы увидеть все помещение и даже свое отражение. Посетители библиотеки могут свободно сидеть и перемещаться, не чувствуя себя «закопанными в землю».

В. МАРЛИН. В середине семидесятых годов Г. Биркертс

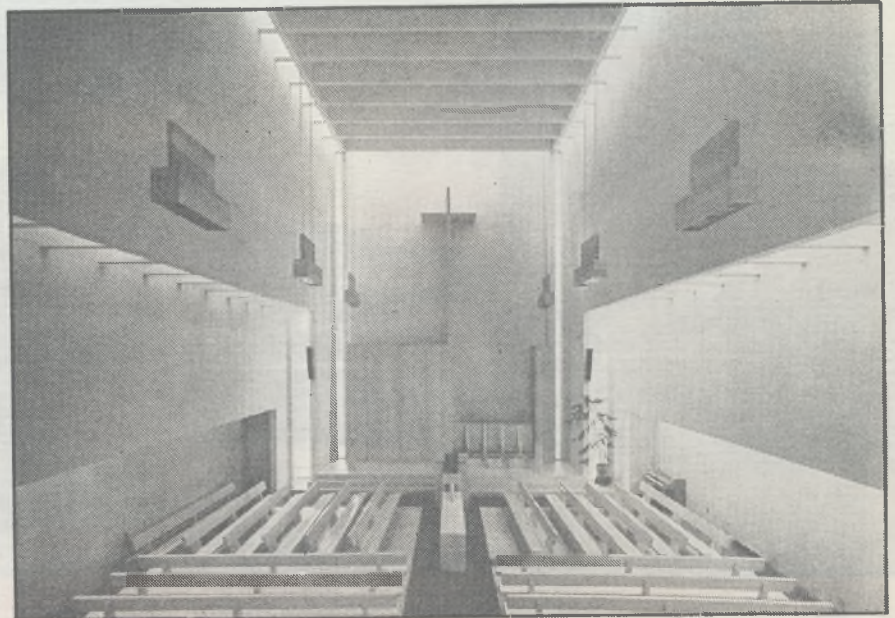
создателей идеи, всегда было мало. Раньше они пользовались признанием. Общество знало их. Это были Мастера архитектуры. Иногда я высказывал недовольство Мастерами и тем способом, которым они использовали свою власть. Несомненно, все они обладали сверхъестественными способностями, но часто использовали их только чтобы добиться признания и славы. Следуя догматической философии, они в известной мере защищали себя и облегчали себе жизнь. Но сегодня требования к архитектуре изменились. Великие умы — а такие были всегда — теперь не так заметны. Важно знать, что они все же есть — их способность к синтезу и творчеству никогда не иссякнет.

Мне всегда было трудно рассуждать об архитектуре, особенно о своих собственных работах. Я объясню их, сказав, что каждое здание есть результат такой концепции, где в результате особого синтеза соединены все потребности. Представление созревает, когда рассудок уже готов его выработать. Часто решение возникало внезапно, с помощью предчувствия — творчество никогда не было последовательным процессом. Поэтому мне трудно восстановить в памяти отдельные этапы и объяснить их конкретно. Легче слушать, когда анализирует кто-то другой. Часто, хотя и не всегда, мне приходится согласиться, если анализ убедительный. Чувствую, что таким образом я учусь.

Часто я сталкиваюсь со своими же противоречиями. Уч



Университетская библиотека в Анн-Арборе, Мичиган. 1963



Университетская церковь в Анн-Арборе, Мичиган. 1963.

до совершенства отточил свою способность создавать чудесное впечатление на гладкой поверхности внешне компактной оболочки. Долго сопротивлявшись издержкам техницизма, он все же создал в этот период несколько проектов, от которых веет свойственной механике суховатостью и холодом. (Музей современного искусства в Хьюстоне, вычислительный центр корпорации ИБМ).

В последние годы в работах Биркертса заметно прогрессировали влияния А. Алто и истории градостроительства Италии. В качестве примера, можно назвать Музей стекла в Корнингге (Нью-Йорк). Волнистая стена здания наводит на мысль об аморфности стекла, способного принять любую форму. Возможно, что на это Биркертса вдохновил пример Алваро Алто, а возможно — богатство и раскованность искусства барокко.

ГУНАРС БИРКЕРТС: «Кто такой архитектор? Ничего не поделаешь, придется мне поделить на категории профессионалов, создающих нашу среду. Среди них имеются такие, кто способен создать определенное представление, кому свойственны интуиция и воображение. Они способны синтезировать требования и заглянуть своими проектами в будущее. Есть и другая категория — техники, способные воплотить в жизнь эти идеи. Архитекторов, наделенных талантом

студентов, что должен же быть кто-то, кого они уважают, с кем соревнуются, хотя бы в начале пути. Потом они должны суметь оторваться от этого влияния и найти свой стиль. Но рассказываю также, что можно многому научиться на хороших и плохих примерах. Владея знанием, они отличат одно от другого. Работая вместе с Эро Сариненом и Минори Ямасаки, я учился у обоих. Мне повезло, что в то время, когда я еще не был готов к самостоятельности, рядом были два таких выдающихся архитектора. Я много накопил, прежде чем потребность в самовыражении погнала меня в дальнейший путь.

Среди Мастеров нет ни одного, с кем бы мне хотелось состязаться. Мне никогда не хотелось подражать Мису ван дер Рою или Корбюзье. Корбюзье я считаю паразитическим архитектором и сомневаюсь, будет ли другой такой человек, способный достичь уровня его архитектурного мастерства. Френк Ллойд Райт больше привлекал меня как личность. Меня очаровал его стиль поведения — считаю, что архитектор должен уметь заставить себя выслушать. Его архитектура, хотя и приемлема с философской точки зрения, почтения во мне не вызывает. Его карьера была воистине вдохновляющей — Ф. Л. Райт создал всего несколько зданий, но какой толчок он дал развитию архитектуры!

Долгое время моим кумиром был Алваро Алто — возможно, с того времени, как я начал сам создавать свою архитектуру. Чувствовал, что понимаю этого человека. Как Ф. Л. Райт и Корбюзье, он внес в архитектуру гениальность. Его «почерк» внятн, ровен, нигде не ощущаются барьеры. Других, включая Эро Саринена и Луиса Кана, понять труднее. Глядя на их работы, ощущаешь напряжение. Считаю, что действительно хорошая архитектура не должна давать ощущения напряжения, даже если творческий процесс был мучительным. Могу назвать два своих проекта, в которых мне с трудом дались начальные эскизы — школу Линкольна и Федеральный банк накоплений (Federal Reserve Bank).

Мой метод работы использует возможности подсознания — поэтому я останавлиюсь на нем. Понимаю, что это противоположность ранним влияниям. Эро практиковал проектирование методом отсечения. В поисках решения он преодолевал цепь осложнений.

Процесс проектирования у Ямасаки был перенасыщен энергией, интуитивен и стремительен. Я чувствовал, что в его подходе чего-то недостает. Не было достаточного количества исследований, не доставало аналитического этапа при сборе информации.

Мне необходимо долгое обдумывание и «соучастие» заказчика. Поэтому мне трудно участвовать в конкурсах. В них программа уже готова. Я могу найти правильное решение, только если мне поможет заказчик, в будущем — пользователь здания.

Когда информация собрана, начинается первый этап. Теперь он проходит иначе, чем лет десять назад. Раньше я считал, что существует, по моей «терминологии», процесс «1-2-3» — мозг, руки, глаза. Расшифровывается это так — как только у вас есть схема, вы переносите ее на бумагу. Глаза видят и реагируют. Мозг дает команду переделать схему. Вы делаете это. Так продолжается, пока задуманное и увиденное не совпадут, пока вы не воскликнете: «Ага, это уже на что-то похоже!»

Теперь я не верю, что сущность проекта возможно уловить методом «1-2-3». Так работать я больше не хочу.

Положение архитектора — особенное. Его обязанность — служить барометром многих направлений. Чем больше он знает о специфических (свойственных клиенту) а главное — общественных контекстах, тем больше перед ним открывается возможностей. Конечно, никто не может знать всего. Но даже если вы знаете много, возможность найти правильное решение ничтожно. Мышление оперирует малыми объемами, проблему можно или разделить и проанализировать, или смонтировать из кусочков. Для такой деятельности мир чересчур усложнился. Слишком много переменчивых величин. В решении должен быть синтез, а это — что-то большее, чем рациональный монтаж кусочков...

Творческие люди отличаются не только генами или культурой, но и субъективным восприятием информации: оценка, восприятие, отрицание, обработка.

Описывая свой метод проектирования, мне хочется подчеркнуть: прежде всего, и это главное, я всегда оцениваю всю кучу входящих факторов. Субъективное исключение иных или неоправданное включение других может привести к неверному ответу. После широкого поиска и подготовки мое «Я» высказывает концепцию. Подлинная концепция вырастает из внутреннего дыхания, из подсознания. Я черчу, черпая вдохновение в генетическом и культурном наследии и в собственном опыте. В подсознании нет места для компромисса, подкупа или поверхностности. Я ищу внутреннюю значимость, душу. Она выражается в концептуальном представлении, в графическом символе, который становится путеводителем при развитии и осуществлении этого осознанного представления. Представление включает в себя весь диапазон предлагаемых проектом решений, вплоть до последней детали, включая выбор и цвет материала.

Еще в начале восьмидесятых годов Гунарс Биркергс говорил: «... я больше принадлежу к практикам архитек-

туры. Нелюбовь к философствованию еще не значит, что я не изучаю и не могу оценить работ своих современников». В середине восьмидесятых он счел необходимым обобщить и опубликовать свои мысли о развитии архитектуры.

ГУНАРС БИРКЕРГС: «Новый стиль не рождается путем деклараций о том, что старый скончался.

Я не верю, что архитекторы могут незамедлительно реагировать на сегодняшние события. К немедленному отклику способны иные искусства. Художник, поэт, скульптор могут за несколько часов отреагировать на то, что стимулировало их творческий процесс, будь это гнев, восторг или нечто иное. Архитектор не может позволить себе это. Архитектура — искусство ответственное. Если вам не нравится картина или скульптура, закиньте ее на чердак. Если вам не нравится книга, не читайте ее, положите на полку. Если вам не нравится прозвучавшая музыка, выключите проигрыватель. Но выключить архитектуру невозможно. Гворение архитектуры значительнее, длительнее, ответственнее. В архитектуре нет понятия «сию минуту». Поэтому творение архитектора как бы находится в другом временном измерении. Процесс строительства гоже требует времени. Архитектура перебрасывает мост через время. В ней должны сочетаться ясность, практичность и вдохновение. Величайший вызов архитектору — искать положительный ответ на невыразимое.

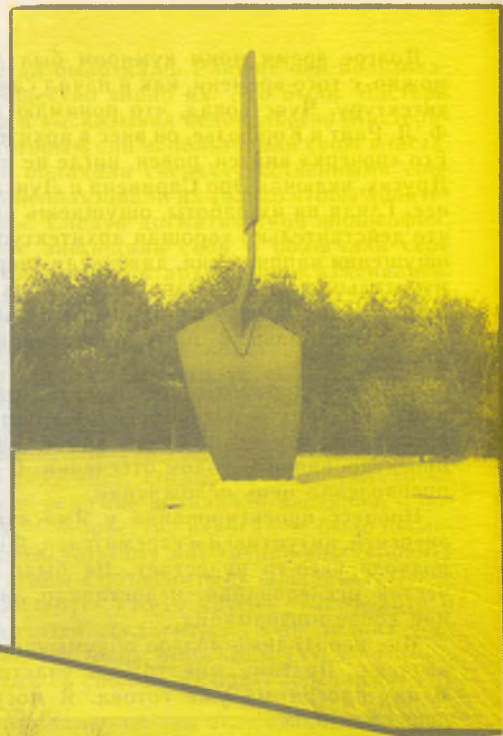
Архитектура не живет ни в исторических иллюзиях, ни в утопических проекциях. Архитектура — сегодня, она задумана сегодняшним разумом, воплощена сегодняшними руками, при помощи сегодняшней технологии. Это «высокая», а не «низкая» технология. Технология никому не запрещает оперировать оттенками, доступными архитектуре. Они могут быть поэтическими, романтическими, прагматическими. На самых высоких уровнях технологии можно работать на этот результат и без архитектора, который использует материалы, связанные с эпохой, когда доминировали именно особенности материала. Архитектор не может обойти проблем современности, прячась за старыми представлениями. Мы должны решать сегодняшние проблемы смело и со знанием дела, не забывая о вечных ценностях. Употребление совсем не означает конвейерное производство эстетики, хотя и это может случиться.

Важно при строительстве синтезировать потребности, стремления, направления и жизни, и искусства. Извлечь архитектуру из философской риторики, извлечь ее из формы, в которой она существует как рисунок или трехмерная модель, и довести ее до завершения. Позволить архитектуре быть такой, какой ей положено быть — произведением искусства, годным к упогреблению, выразительным и осмысленным, воздействующим всеми способами — метафорой и символизмом, символикой цвета и формы.

Архитектура будущего очеловечена. Она попытается и нравиться нам, и вдохновлять нас. Архитектура будущего синтезирует прошлое и настоящее, она работает по современному философскому, экономическому, эстетическому принципам, но и проецируется в будущее. Она хочет сберечь свою ценность на протяжении десятилетий. Архитектура будущего — это следующий шаг движения модерна.* Она свободна от теорий «несгибаемого проектирования», стилистических и философских догм. Она вне устремлений посредников провозглашать стили и направления. Она проявляется индивидуально.

Главная сила архитектуры будущего — ее творческое воображение. Каждая проблема требует своих решений. Сила воображения, свойственная архитектуре, одинаково эффективна, идет ли речь о прошлом, настоящем или будущем. Это предотвращает создание субъективных теорий проектирования. Остальные силы архитектуры будущего — это синтез и развитая методология проектирования. Архитектура будущего, подобно формуле, способна проявиться в бесконечном количестве комбинаций. С развитием эпохи ее не придется отменять. Она останется актуальной, потому что способна к обновлению.»

* Имеется в виду актуальная в первой половине XX века архитектура конструктивизма, функционализма и т. п.



Рита Лайма Криевиня

(Гражданка США, живет в Латвии)

PEPSICO

«Пепси Ко» — одна из крупнейших и известнейших корпораций мира. И мы здесь, в Латвии, встречаемся с нею ежедневно, покупая стройные бутылки с американской цветной этикеткой. В них — удивительно сладкий коричневый напиток, завоевавший вначале Америку, а затем и весь мир, принеся своим создателям миллиарды...

Корпорация, в состав которой входят самые разные отделения, сумела добиться завидной позиции лидера в трех гигантских отраслях — в производстве напитков, закусок, содержании ресторанов. Продукты и услуги «Пепси Ко» доступны жителям 150 стран мира. В 1986 году чистая прибыль корпорации составила 9,3 миллиарда долларов! Сегодня это 34-ая крупнейшая корпорация США.

Административный корпус «Пепси Ко» находится в городе Пурчасе, примерно в часе езды от Манхэттана. Это небольшой, красивый, зеленый городок с тихими жилыми районами, впечатляющими частными домами, в которых живут многие бизнесмены, т. е. «компьютеры» [путешественники]. Весь свой рабочий день они проводят среди небоскребов Нью-Йорка, а вечером спешат на поезда и автобусы, которые с большим комфортом развозят этих муравьишек, этих кузнецов счастья

по тихим окраинам. В последние годы у больших корпораций Америки наблюдается тенденция переносить свой «арсенал» на окраины, где арендная плата и налоги намного ниже, чем в метрополии. На окраинах стоят современные, и, надо сказать, красивые (но не однообразные) здания. Скорлупки из стекла и бетона, в которых бьются сердца корпораций.

Дорога, ведущая от Манхэттана к Пурчасу, прорублена между обнаженными скалами, на их вершинах сумели укорениться лишь живучие сосны и можжевельники. Природа здешних мест похожа на природу Латвии, климат — тоже. Только сама основа — земля, на которой пересекаются тысячи больших дорог и улиц, латышам покажется необычной, феноменальной. Это скала, это камень, на нем стоит и сам неповторимый Манхэттан.

Здание «Пепси Ко» открыли в 1970 году. Оно расположено на земельном участке, используемом раньше как игровая площадка аристократического спортивного клуба «Поло». Дом состоит из семи квадратов, соединенных в углах. В этом комплексе — три двора, украшенных деревьями и зеленью, а в самом центре находится большой круглый бассейн с фонтаном (у меня эти удивительно тихие, ухоженные дворы ассоциируются с монастырскими

садами Европы). А вокруг дома раскинулся парк, сад скульптур Доналда М. Кендала, дающий каждому человеку возможность отдохнуть, ощутить взаимодействие природы и искусства.

Сад скульптур был мечтой Кендала (президента «Пепси Ко» до 1986 года) и создан по его инициативе. Кендал хотел создать среду, которая пробуждала бы творческий дух, спящий в каждом из нас, и, одновременно, отражала бы существенные особенности успехов и достижений эталонной корпорации, — от стабильности до риска. Начало коллекции скульптур было положено в 1965 году, и сегодня в парке площадью 112 акров, созданном с любовью и удивительной фантазией, находятся работы сорока известных мастеров 20 века.

В 1980 году знаменитый пейзажный садовник Расел Пейдж начал расширять ядро парка, располагая в нем новые «аттракционы». С помощью тщательно продуманного «списка работ» природы, он стремился органично включить скульптуры в среду. После его смерти, работы в саду продолжил пейзажный садовник Франсуа Гоффине, который в свое время помог Пейджу в создании многих садов и старался быть верным духу и традициям этого мастера.

Парк «Пепси Ко» сам по себе является произведением искусства, к тому же произведением постоянно меняющимся. На этом холсте пишут времена года, природные скульптуры — деревья создают время. В то же время сад служит фоном для скульптур. Формы, краски, фактуры «живых» деревьев, кустов, цветов, сливаются в саду, как на гобелене. Взгляд задерживается на этих творениях природы, и тогда замечает и созданную человеком скульптуру. Здесь достигнуто самое настоящее равенство!

Сад, окружающий дом «Пепси Ко», по стилю родственен французским садам — здесь красуются застывшие подстриженные кусты, «дрессированные» деревья, фонтаны. А дальше открывается монументальный пейзаж, и от земли к небу вытянулись стабилизирующие вертикали монументальных, тотемических скульптур. Живые изгороди и деревья элегантно закрывают стоянки для автомобилей. Через весь парк вьется Золотая тропа, объединяющий пояс Расела Пейджа. Тропа обегает сады и предлагает идущим по ней множество интересных точек осмотра. Если посмотреть на озеро из дождя, то видишь огромного медведя-гризли (работа Дэвида Винне), застывшего на берегу и, кажется, ожидающего — не выплывет ли тюлень. В коллекции корпорации «Пепси Ко» четыре скульптуры Д. Винне, его работы очень похожи на работы знаменитого Карла Миллеса в Стокгольме, они великолепно вписываются в пейзаж. Слева над верхушками деревьев — скульптура Александра Калдера «Шапки долой!». Калдер — наш с мужем любимец. Роскошь красного цвета скульптуры Калдера сменяют синие ели штата Колорадо и белые сосны. Золотая тропа ведет зрителей через святилище вишневых деревьев (весной здесь наверняка слышится: «Аллилуйя!»); мимо странного Каприкорна (козерога) Макса Эрнста, последнего из могикан дадаизма, поселившегося в кустах остро-

листа; мимо Евы Родена (она так застенчива, что ее можно не заметить!) Дальше — мелькают покрытые кустами и декоративными растениями валы. На конце одного из валов примостился карлик — *Rhododendron yakusimanum* — сюда его привел длинный путь из родной Японии.

Садимся на белую скамейку рядом с белым человеком Джорджа Сегала, и сами становимся совсем белыми. А рядом в землю загнан огромный мастерок, это очередная шутка Клайса Олденбурга. Мы уменьшаемся, и я чувствую себя, как Алиса в Стране чудес. За мастерком находится кинетическая скульптура «Double L Eccentric Gyration» феноменального мастера — кинетика Джорджа Рики. Д. Рики — определенно мой любимец! В очередной раз убеждаюсь, что этому человеку хватает и выдумки, и инженерного умения, и детской радости. Я прикасаюсь к стальным стержням рукой в латышской варежке, и эта огромная конструкция поворачивается и поднимается, как пух от одуванчиков.

Дальше — березовая роща, в ней растут 13 видов берез, привезенных сюда со всех концов света. Весной в роще зацветают синие гиацинты с опьяняющим запахом. За нами остается т. н. Золотой сад [золотистые хвойные деревья], который потом, в сумерках, покажется фосфоресцирующим и совершенно ирреальным.

Золотая тропа пересекает главную въездную дорогу, ведет мимо маленького пруда, через деревянный мост. И, пройдя по нему, мы попадаем в т. н. Сад ручьев. Здесь в сумерках растут любящие тень и влагу папоротники и цветы. Дальше — дубовая роща, ее украшают самые разные представители семейства дубов. За нею — Осенний сад, где собраны растения, знаменитые своей осенней пышностью и яркостью плодов. В первом ряду растут деревья Франклина, цветущие поздним летом белыми, похожими на камелии, цветками. Это одно из редчайших деревьев

в мире, в 1765 году его открыл ботаник Джон Бертрам в штате Джорджия возле реки Аластамахи. Считают, что это дерево сейчас на воле больше не встречается. Оно названо в честь знаменитого изобретателя, политика Бенджамина Франклина. Дальше — орнаментальный Сад травы — коллекция трав и осоки, напоминающая о том, что мы топчем ногами красивойший микромир. Здесь весной цветут магнолии, принцессы весны моей родины. У бассейна с водяными лилиями отдыхает Персонаж Мира. Летом ему кланяются лилии дневные.

Этот перечень можно было бы продолжать... но — пусть остается так. Парк «Пепси Ко» считается молодым, он все еще развивается. Сюда надо приезжать в разные времена года, с каждым разом открывая новый мир. Здесь деревья и кусты шепчутся с работами Калдера, Дибюффе, Смита, Марини, Джакометти, Ногучи, Невелсона, Мура и многих других мастеров. Здесь скрыта какая-то глубокая тайна, которую каждому придется отгадать самому.

Мы были там в декабре 1987 года. Леденящий холод, земля покрыта белым снегом, озера замерзли. Большую часть скульптур мы не смогли рассмотреть, с нами были дети. Долго стояли во дворе здания «Пепси Ко», смотрели на игру Девочки и Дельфина в никогда не замерзающем бассейне. В черных пальцах деревьев поблескивали белые звездочки рождественских огоньков. Тишина, конец недели. Чистота. В небе над деревьями по одной зажигаются звезды. Мы ощутили природу как искусство и искусство как составную часть природы. Нам хорошо. Мы получили от этого парка заряд красоты. Хоть убей, но в капитке есть сила!

Р. С. Спасибо семье Абеней, познакомившей нас с «Пепси Ко»

Перевела ИНА ОШКАЯ



1. Арнальдо Помодоро «Большой диск», 1965—1968.
2. Клайс Олденбург «Гигантская кольма-11», 1982.
3. Джордж Сегал «Три человека на четырех скамейках», 1979.
4. Жак Дибюффе «Kiosque «l'évide», 1985.
5. Джордж Рики «Double L Eccentric Gyration», 1981.

Фото — Андрис Криевиньш



Айна Балгалвис.



Ансел Адамс. 1978 г.

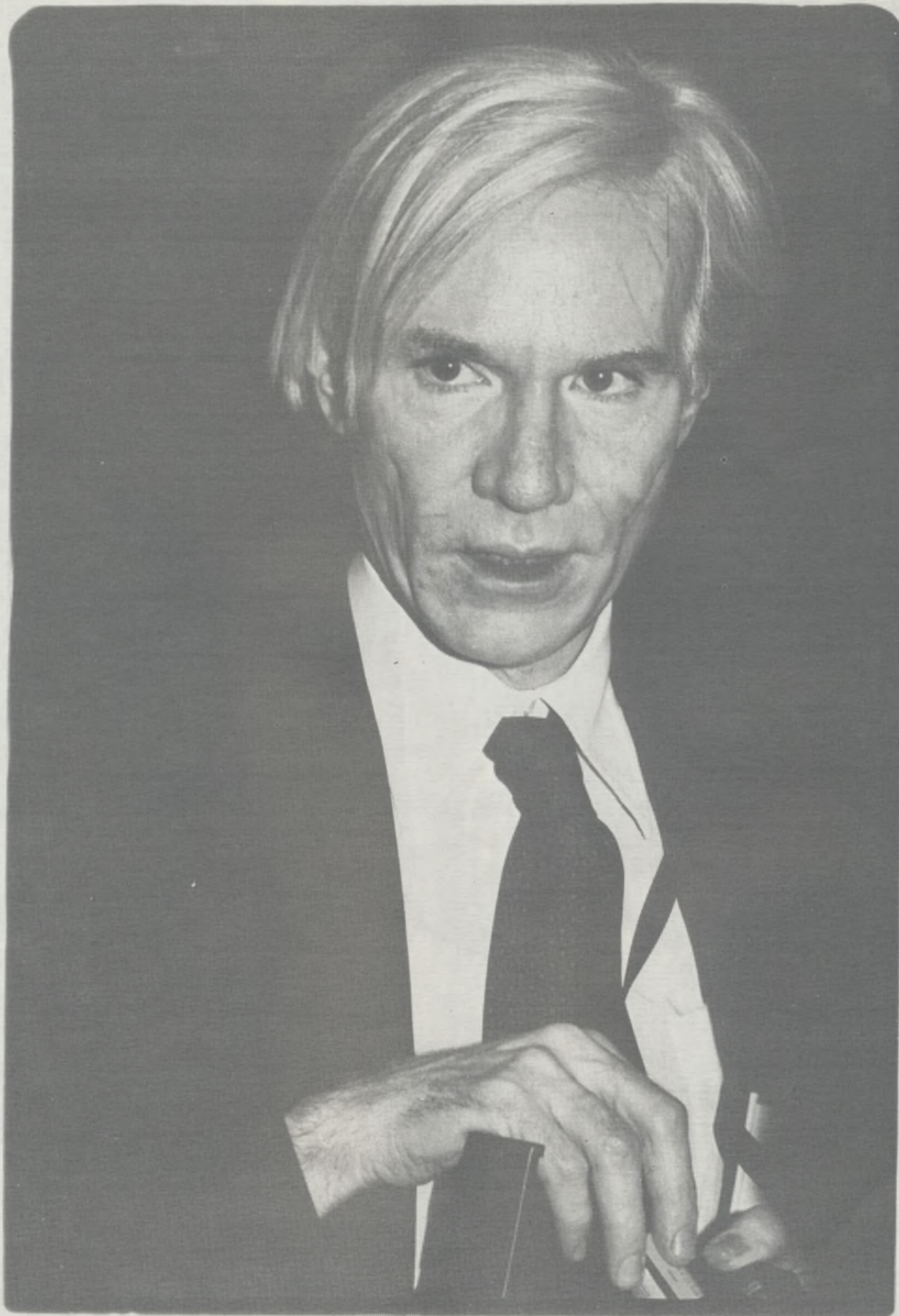
АЙНА БАЛГАЛВИС родилась в 1941 году в Тауркалнской волости Баусского округа. Играла в куклы в лагере для депортированных, в Германии.

В интернациональной среде Нью-Йоркского университета закончила студию живописи, фото, писательского мастерства.

Воспитывает дочерей.

Чудесный человек.

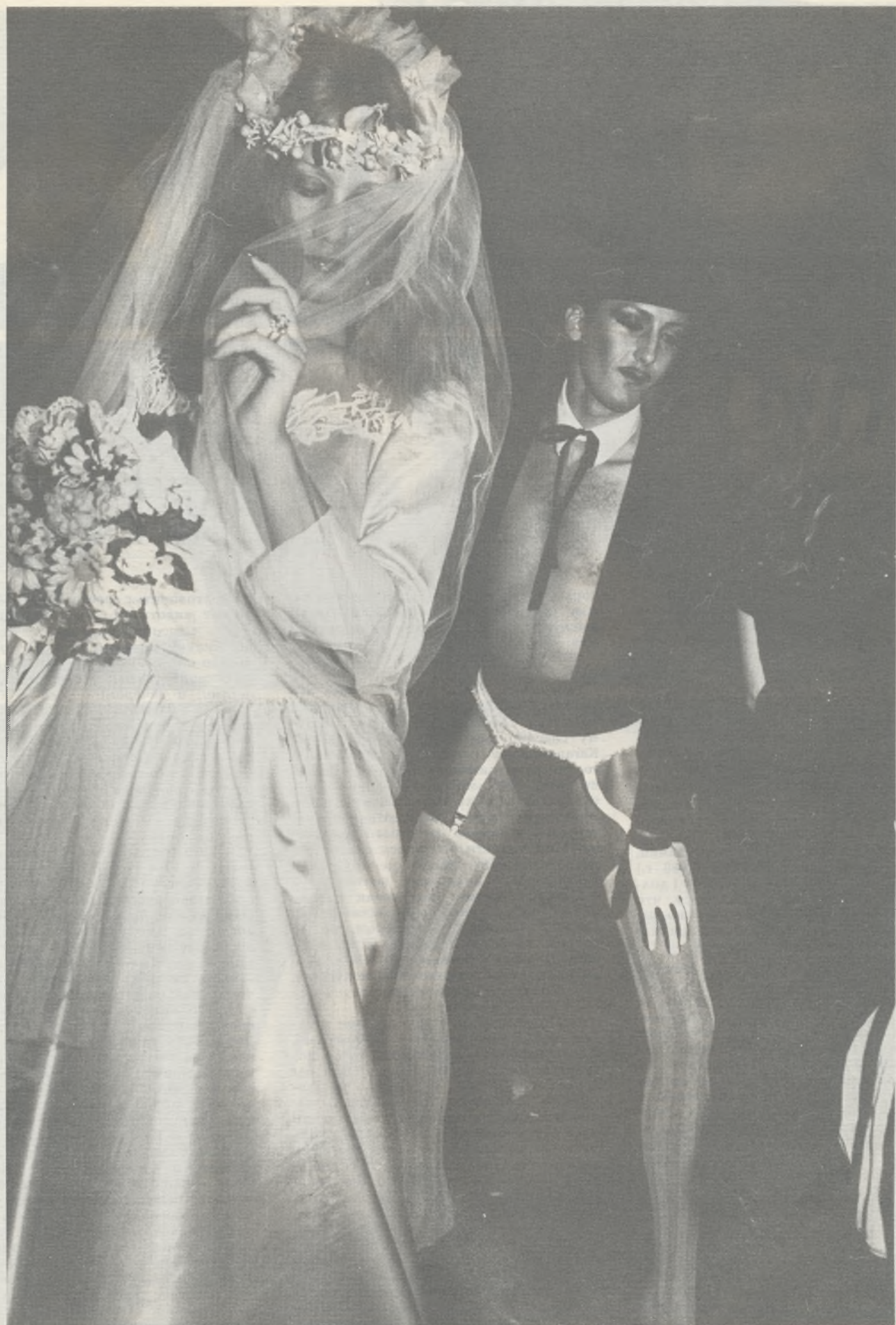
Фотограф.



Энди Уорхолл.



Ночной карнавал в клубе «Studio 54», Нью-Йорк, 1978



Ночной карнавал в клубе «Studio 54», Нью-Йорк. 1978



ПИТЕР БРУК:

«ТОЧКА ОТСЧЕТА»



ВМЕСТО ЭПИГРАФА. Народный артист СССР Кирилл Лавров, председатель Союза театральных деятелей СССР: «Мне кажется, в современной истории драматического искусства вряд ли можно найти более авторитетного человека, чем Питер Брук — английский режиссер, чье творчество уже 40 лет почти без перерыва — тема дискуссий, диссертаций и книг, где говорят и пишут о Мастере, как об одном из тех, по кому будут судить о театре XX века.

Наш СТА принял постановление о присуждении ежегодных премий за высшие достижения в развитии театрального искусства. Бюро правления СТА, где представлены все союзные республики, на своем майском заседании (1988 г.) единогласно решило: лауреатом № 1 должен стать Питер Брук. Надеемся, что его авторитет, имя будет достаточно высоким критерием для очередных претендентов на эту почетную награду».

ВМЕСТО ВИДЕОСЮЖЕТА . . . На сцену вышел народный артист СССР Олег Ефремов, главный режиссер МХАТа, и, обведя глазами зал, произнес: «Вообще-то мы рассчитывали, что это будет встреча Питера Брука с очень небольшим количеством режиссеров . . .»

Заполненный до отказа мхатовский зал «съедал» единым взглядом сидящего у столика с микрофонами человека в черном полотняном костюме, который прилегаво улыбался, чуть шурясь из-за софитов, и в свою очередь оглядывал лица в зале, среди которых можно было узнать наших известных актеров, драматургов, критиков, кино- и театральных режиссеров.

Питер Брук — корифей мировой сцены, ее живой классик в самом благородном смысле этого слова, спустя почти три десятилетия вновь приехал в Москву. Со всей страны собрались специально приглашенные молодые режиссеры, ко-

торые все три дня задавали маэстро самые разнообразные вопросы, а ответы выслушивались в почтительном молчании.

ВМЕСТО АВТОРСКОГО ОТСТУПЛЕНИЯ.

Признаюсь, было страшно брать это интервью — не каждый день доводится общаться с живым классиком. Поэтому спасибо еще и профессору Юлию Кагарлицкому, специалисту зарубежного театра и давнишнему другу Брука, который, как заправский импрессиарио, буквально за руку вывел меня из круга жаждущих взять эксклюзивное интервью у всемирно известного режиссера. Мои коллеги оказались словно загипнотизированы нашим репортерским нахальством — возможно, поэтому мы с Питером Бруком беседовали в фойе МХАТа чуть ли не в одиночестве целых полчаса. Полчаса с Мастером, но не мэтром, глубокомысленным и всзнающим. Полчаса с живым человеком, а не высокомерным служителем искусства.

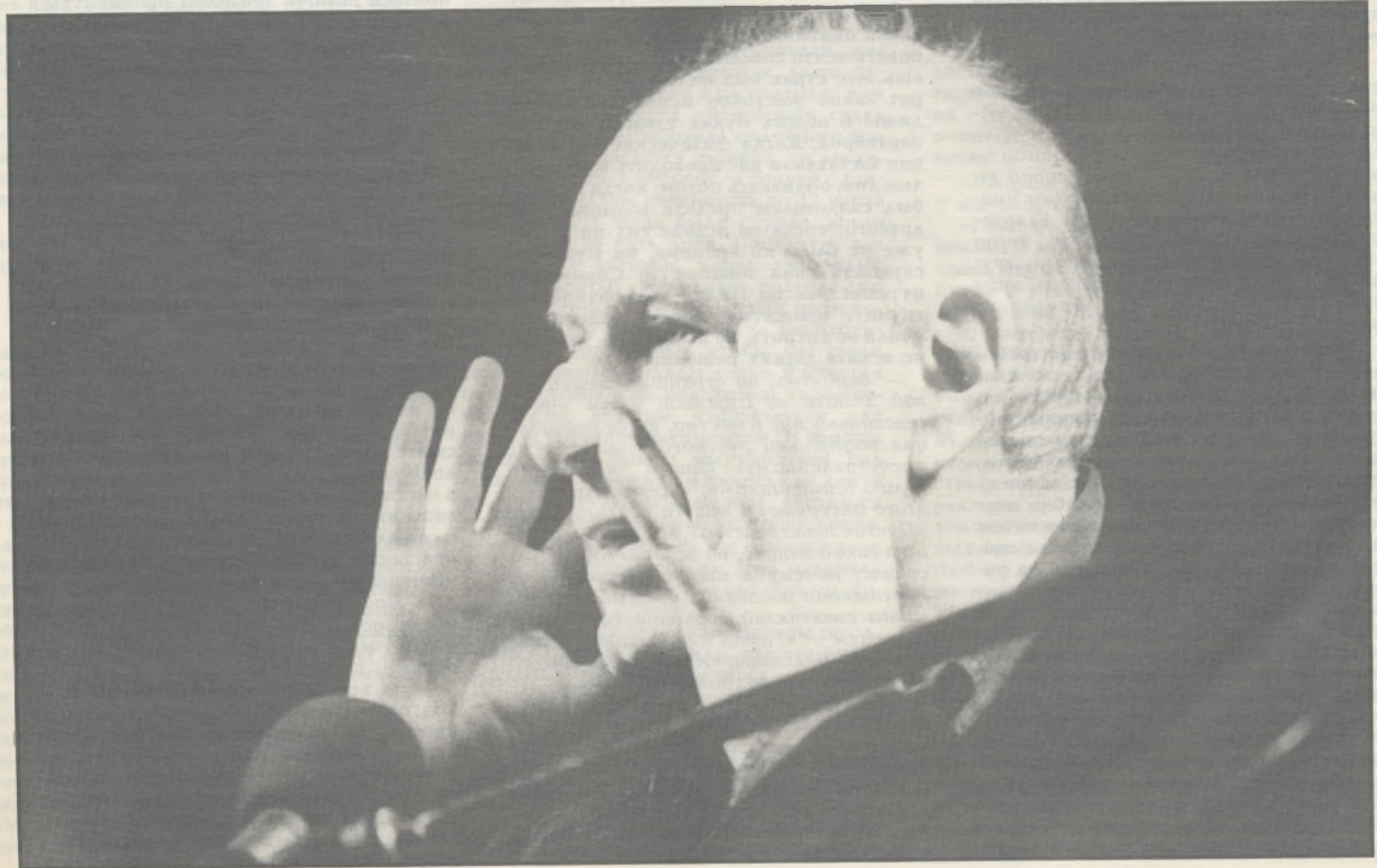
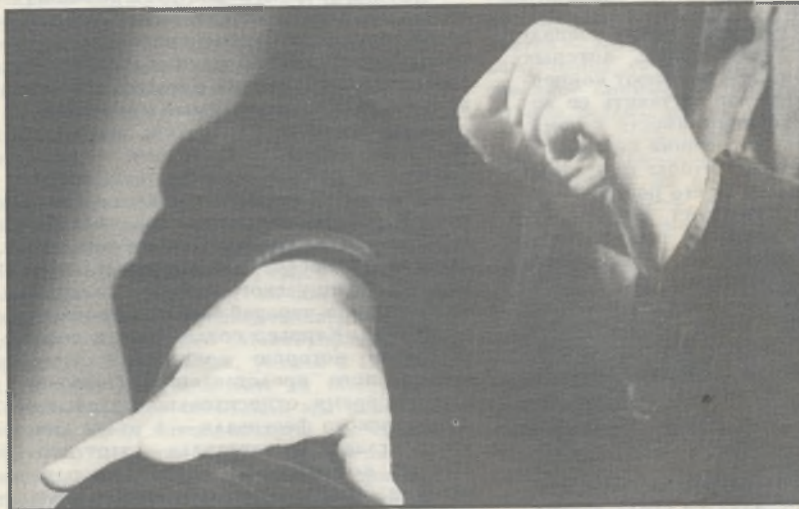
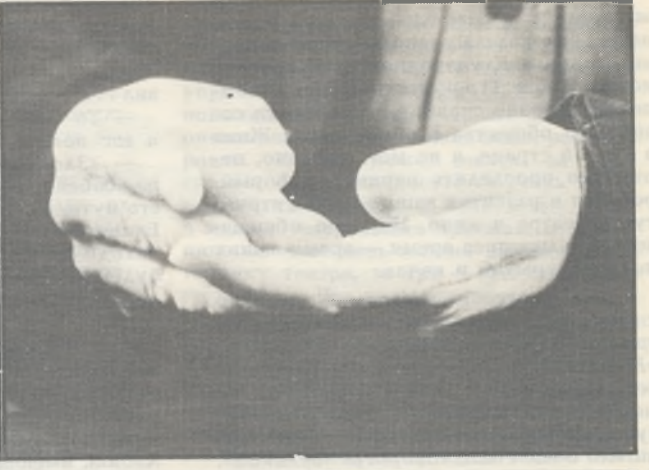
— Как вам удобнее беседовать, на русском или на английском?

— По-английски, по-русски мне труднее: когда говорите вы — я понимаю, а если наоборот, интервью вряд ли получится. Почти 30 лет назад, когда мы привезли в Москву только что поставленного «Гамлета», Пол Скофилд, выдающийся актер, исполнитель заглавной роли, приготовил речь на русском языке, которую собирался произнести после первого спектакля. То был блестящий спич, и Скофилд тщательно его репетировал, но после четырех часов работы на сцене все . . . забыл. Правда, у него был листочек с текстом, спрятанный под рубашкой (показывает на свой живот) и весь последний акт актер проверял, на месте ли бумажка. Наконец, извлек ее за кулисами, но шаргалка, совершенно мокрая от пота, распозлалась на клочки. Учтя этот трагикомический пример,

я хочу говорить с советскими читателями не «от живота», а от всего сердца!

— Спасибо. Тогда давайте откровенно: будучи гостем СТА СССР, днем вы читали интересные лекции, одновременно беседуя на равных с советскими коллегами, а вечерами — уже в качестве зрителя — знакомились с их лучшими работами; и каждый раз, будь это, например, во МХАТе («Кроткая»), Московском тюзте («Собачьё сердце») или Театре на Таганке («Борис Годунов»), вы по-джентльменски благодарили ту или иную труппу за мастерство и профессионализм. Скажите, неужели все так понравилось?

— (Улыбается). Ничего не скажу. Почему? В 1914 году мой отец переехал в Англию из России, и естественно, среди его друзей русских было большинство. Один из них, профессор, не говорил по-английски. Две недели спустя, при очередной встрече, отец спросил его: «Чем занимаешься?» — «Пишу книгу о недостатках английского языка» . . . Не хочется быть в роли горе-профессора и грозного критика еще и потому, что, вновь побывав в Советском Союзе, я бесконечно тронут. По многим причинам. Мы, театральные деятели, во всем мире помним и знаем о том колоссальном воздействии, которое оказало на мировую художественную культуру русское искусство «золотого периода». Именно в России возникла традиция глубокого уважения к профессии театрального режиссера. И как следствие — понимание необходимости длительного репетиционного процесса, создания актерского ансамбля, обеспечения его социальной безопасности. Мы никогда не выбирали между Станиславским, Мейерхольдом и Вахтанговым: имея собственное художественное кредо, все трое внесли огромный вклад в обогащение Театрального Искусства как единого целого.



Став лауреатом премии СТА, к тому же первым, я счастлив, что моя жизнь невольно оказалась вовлеченной в первые годы международной деятельности нового союза. Его возникновение, несомненно, обязано сильной потребности советского общества в обновлении. Живя в другой стране, я не мог, конечно, неотрывно проследить перипетии формирования и развития ваших новых структур в театре и кино. Но одно общеизвестно: нынешнее время — время ваших новых открытий и начал.

— Из десятков поставленных вами спектаклей, опер и фильмов, советские зрители видели только два: «Гамлет» и «Король Лир», показанных у нас соответственно в 56-м и 64-м годах. Тем не менее, наши театры со стажем не жалуются — ведь именно после «Лира» ценители о вас стали говорить: «великий». А с чего вы начинали? Может, родители повлияли на ваш выбор профессии?

— Они никакого отношения к театру не имели — были учеными. Хотя косвенное влияние их интеллекта оказалось громадным. Когда я впервые приехал в СССР, то, к своей радости, «обнаружил» в Москве брата (двоюродного) по крови и по ремеслу: Валентина Плучека, главного режиссера Московского театра сатиры. До тех пор, не имея контактов, мы, родственники, ничего не знали о сценических работах друг друга. Оказалось, стартовали мы почти одновременно. Уже семнадцати лет я поставил в любительском театре «Доктора Фауста» Кристофера Марло, а к двадцати — шесть спектаклей в профессиональном театре (в том числе «Человека и сверхчеловека» Бернарда Шоу, ставившегося до этого очень мало). И где — у Барри Джексона в знаменитом Бирмингемском репертуарном театре!.. Ну, вот: как вам удалось спровоцировать меня на нескромный пересказ автобиографии?!

— Заочно учился у Мастера: в пору ваших московских премьер, нынешние тридцатилетние ходили в школу, поэтому довелось познакомиться лишь с «Пустым пространством» — вашей книгой — размышлением о Театре, за которой до сих пор в библиотеке Московского университета марафонская очередь. Вероятно, она еще больше удлинится, когда у нас переведут и выпустят вашу новую работу «Точку сдвига». А какова ваша точка отсчета при подборе актеров на роль?

— Они должны отвечать трем требованиям: чтобы могли влиться в уже сложившееся ядро труппы (не были бы занудами и не устраивали регулярных обструкций), обладали необходимыми профессиональными качествами (талантом, открытостью, серьезностью) и главное — соответствовали бы роли. Подобно альпинисту, актер должен закалиться путем индивидуальных «восхождений» на сцене и в жизни. Бывает, что актер не раскрыт; такое может случиться и с молодым артистом, и с пожилым, не от возраста это зависит. Нераскрытый (или нераскрывшийся) актер — тот, кто в себе ничего не накопил и мало что понял. Когда актер говорит режиссеру: я — воск, вручаю себя вам, делайте со мной, что угодно, — это плохо. Как и в сердечных делах, в отношениях между мужчиной и женщиной: полное подчинение Его Ей (или наоборот) не складывается в гармоничный союз. Вокруг режиссерской идеи должна рождаться импровизация.

«Раскрывшийся» актер продолжает проговаривать, искать и находить, даже когда спектакль уже устоялся. Ему, как и режиссеру, надо избегать неуклонных правил...

— То есть, догм, клише, правильно? Я вас понял? Как вы с этим боретесь?

— «Злокачественные опухоли» штампа особенно опасны художнику в начале его пути, в середине и ближе к финишу. Единственное средство — чтобы рядом находился человек, который подобно вам будет постоянно задавать такой же оздоровительный вопрос (смеясь).

ОТСТУПЛЕНИЕ ПЕРВОЕ. (Из зарубежной печати). Исполнитель одной из центральных ролей в спектакле «Махабхарата» (о нем мы с Бруком поговорим чуть позже. — Прим. Г. К.) — Маттиас Хабиш, имеющий большой опыт работы в театре и кино:

— Невольно сравниваю Брука с западногерманскими режиссерами, которых хорошо знаю. Они всегда имеют концепцию роли и хотят вас заставить ее воплотить. Брук же идет вместе с вами. Он как садовник, посеявший семена, не требует от растения, чтобы оно стало другим, а наблюдает за его ростом. Когда ему кажется, что рост завершился, он дает советы лишь по поводу того, как сохранить ритм, как переключать энергию. Он приготавливает вас к быстрому взрослению. Он может быть вам полезен лишь тогда, когда вы достигаете возможности говорить с ним на равных. Он формирует вас больше как личность, чем как актера. В полном разгаре поисков решения роли, актер «естественно» отчаивается, любой хороший режиссер обычно старается вас успокоить. Брук, наоборот, оставляет вас обнаженным. И паника становится столь всепоглощающей, что под страхом смертной казни оказываешься вынужденным пробовать нечто совсем иное. Тогда понимаешь, что страх был иллюзорным. Но через какое жестокое испытание проходишь! В общих муках узнаешь и своих партнеров. Когда физические упражнения заставляли нас проводить вместе целые дни, обливаясь потом; когда каждый был свидетелем предела возможностей другого; когда на исходе сил ни у кого уже не было ни времени, ни мужества скрывать свои ошибки... Совместное путешествие по Индии сцементировало труппу, прожитые вместе недели научили не хитрить, но и не делать уступок, не искать легких решений.

— Вероятно, на страницах вашей новой и пока не изданной у нас книги, (насколько мне известно, вы ее передали для подготовки русского варианта уже представленному нашим читателям Юлию Кагарлицкому, «крестному отцу» этого интервью) и вашего первого опуса «Пустое пространство», мы найдем ответ и на такой вопрос, но задать его хочется сейчас: почему в вашем творчестве на протяжении последних десяти лет столь много спектаклей по эпическим произведениям — «Тимон Афинский» и «Мера за меру» Шекспира, «Кармен» по повести Мериме и опере Бизе, персидская легенда XIII века «Совет птиц» и, наконец, грандиозная постановка древней «Махабхараты», которая более чем в 8 раз превышает по размерам «Илиаду» и «Одиссею» вместе взятых (этот спектакль идет три вечера подряд)?

— У авторов я больше всего боюсь испытываемой ими абсолютной потреб-

ности все облекать в законченную форму. Без этого, действительно, нет автора, но для меня в этом заключен непреодолимый барьер, так как если эта форма оказывается не совсем удачной, если не возникает идеального супружества между формой и бесформенной истиной, то это облечение в форму нас блокирует и подталкивает к приблизительности, колжи. И тем не менее, нам всегда нужен автор. Очень важно, чтобы автор, который является частью нашей творческой группы, ежедневно подвергал эту форму сомнению, чтобы в своем окончательном виде она стала результатом коллективного труда.

— Неужели вам удалось найти столь фантастически идеального автора?

— Представьте себе, — да! С начала 70-х годов мы трудимся вместе с Жаном-Клодом Каррьером. Вероятно, и до ваших театралов дошли легендарные истории о его эрудиции, работоспособности и профессионализме. Кстати, Каррьер как сценарист начинал свою карьеру, сотрудничая с такими известными кинорежиссерами, как Жак Тати, Луис Бунюэль, Жан-Люк Годар... С годами к нему пришло увлечение театром, и он становился нашим соавтором, моим соратником. В работе, например, над «Махабхаратой» он не удовлетворился тем, что написал 12 тысяч машинописных страниц (!) французского текста, который он постоянно перерабатывал в процессе репетиций. Каррьер создал еще и своеобразную историю постановки этого грандиозного представления. Показанный во время относительно недавнего Авиньонского фестиваля — в те же дни, что и «главный спектакль» — этот необычный комментарий «Тысяча и одна история вокруг «Махабхараты» был призван помочь зрителям проникнуться замыслом своеобразного представления.

— Имена ряда ваших единомышленников нам уже известны. Наверное, будучи в СССР, число подобных друзей — «терапевтов» увеличилось. А кто «оздоровляет» вас постоянно?

— Моя родня. Они в определенной степени и коллеги, и самые большие для меня — не удивляйтесь — сфинксы, тайны. Познакомьтесь, пожалуйста (подзывает): Наташа Парри, моя жена, соотечественница (русская) и актриса, кстати, занятая и в моей парижской, и в нью-йоркской постановках «Вишневого сада». Этот спектакль «приедет» к советскому зрителю — вместе с «Кармен» — в начале будущего года, но не из Франции, а из США, где вместе с американскими актерами я еще раз обратился к Чехову... А это наш сын Саймон: учится на кинорежиссера, кое-какие уроки он получил и здесь, в частности, у Никиты Михалкова и грузинских мастеров экрана. Дочь Ирина, к сожалению, не смогла приехать с нами: она также актриса, играет в парижском «Вишневом саду» Аню.

— Получается ни много ни мало — целый дом работников искусств! Любопытно, что у вас в семье творится перебои общими премьерными?

— За всех членов семейного профсоюза отвечать не берусь. Лично я сплю крепко, но (улыбается) без победного храпа. Важнейшее для меня — первая репетиция, когда мы — режиссер, драматург и труппа — в открытую раздаем карты. А дальше — воля судьбы. Именно поэтому чертова дюжина — число 13 — запрещенное в календаре премьер и пер-

вых дней работы над постановками. Не верите? Спросите у Наташи (смеется).

Если всерьез, начальная репетиция всегда напоминает мне слепого, ведущего слепых. В первый день режиссер может выступить с программной речью. Или показать макет сцены и эскизы костюмов, или же книги и фотографии, или просто пошутить, или даже заставить актеров прочесть пьесу. Иногда можно вместе выпить (конечно, лучше чаю или соку), или во что-то сыграть (я, например, предпочитаю футбол с участием и актеров, и актрис), или прогуляться толпой вокруг театра. Все это должно сработать в одном направлении, но без внушения каких-то преждевременных «находок». Актерское восприятие — проектор для режиссера, и он либо продвигается дальше, либо отчетливо осознает, что пока ему не удалось открыть ценности. По-моему, режиссер-постановщик, который является на первую репетицию с готовым рабочим сценарием, с заранее расписанными мизансценами — неживой человек в театре.

— Ну, а если вы вместе с труппой оказываетесь в тупике, что предпринимаете?

— Ищу дополнительный импульс. Тяжело работать над «Вишневым садом» — показал труппе «Неоконченную пьесу для механического пианино» — фильм Никиты Михалкова. Случился кризис в «Кармен» — пригласил из-под Парижа цыган, мы с ними побеседовали. За месяц до премьеры древней «Махабхараты» мы прекратили репетиции, уехали в Индию и 10 дней работали там по полсутки. Совсем «сырые» спектакли мы нередко играем перед школьниками. А чтобы убить кошмарное чувство премьеры, на завершающем этапе репетиций приглашаем в зал зрителей «полегче» (студентов, приезжих издалека) ... Часто спектакль, первоначально считавшийся провальным, через десять представлений получал диаметрально противоположную оценку. Словом, нам свойственно заблуждаться относительно самих себя: ведь постоянно варимся в собственном соку. А если спектакль постепенно дозревает до премьеры, она не становится чистилищем для труппы.

ОТСТУПЛЕНИЕ ВТОРОЕ. (Из зарубежной печати). Известный итальянский актер Витторио Меццоджорно, игравший у Эдуардо де Филиппо и снимавшийся в фильмах Франческо Роззи:

— Моя встреча с Арджуну («Махабхарата») еще не состоялась окончательно. Я знаю, что это непременно произойдет, я иду к нему по очень длинной дороге, требующей внимания и терпения: такого пути мне еще ни разу не приходилось совершать. Встреча же с Бруком уже состоялась: он меня выбрал. Это не обычный театральный контакт: я вступил в некую в с е л е н н у ю ... Я начал жить этой «атмосферой Брука», этой туманной дорогой, на которой все время надо иметь терпение и постоянную готовность, иначе начинаешь «быть актером», начинаешь обыденно играть Арджуну. А я не это ищу ... Теперь, когда я справился с проблемами техники, «Махабхарата» приносит мне огромную радость. Мы не и г р а е м, мы работаем. Всей труппе это ясно, иначе наступила бы эта чудовищная расслабленность (Уф! Премьера позади!) и воцарилась бы посредственность. Играя в «Махабхарате», невозможно устать: каждый вечер — открытие. Невозможно

ее исчерпать, даже играя всю жизнь. Чтобы рассказать о десяти месяцах совместной работы с Бруком, мне требуется 10 месяцев.

— Работая над тем или иным спектаклем, вы, вероятно, решаете и какую-то личную творческую задачу. Как это у вас увязывается между собой?

— Самый лаконичный ответ: не думаю, что возможно отделить одно от другого. Занавес, отдельные входы и выходы для актеров — символы театра, которые, мне кажется, сейчас исчезают. А ведь они как бы указывают нам, что театр творится исключительно в зоне воображения. Но если вы поминутно проследите за тем, что происходит в процессе репетиций, что приносит с собой каждый участник труппы, то выясняется: он может принести только то, что есть личного в нем самом. Если вы посмотрите на это с более узкой, чисто художественной точки зрения, то получается — театр, ваша работа в нем нужна вам, чтобы лучше понять себя, а собственное понимание помогает наиболее полной реализации на сцене.

— Как вы начинаете работу с пьесой: когда и сколько занимаетесь с труппой?

— Садимся на пол, на подушках, в кругу — по-моему, это лучше чем сидеть за столом. Мы считаем: зрители и сцена должны быть на одном уровне, а так, как здесь во МХАТЕ — действие на подобной арене изначально мистифицируется. В отношениях актер—режиссер—драматург никто из этого трио не должен претендовать на занятие первого места. Невозможно объяснить выбор пьесы, как невозможно объяснить, почему вы полюбили этого человека, а не другого. Что-то режиссера растрогало, надо прислушиваться к инстинкту: «а будет ли это интересно всем?» Например, только к репетициям «Махабхараты» мы готовились ... 10 лет: шла подготовительная работа, потом экспериментировали, импровизировали с актерами и даже путешествовали (об этом я рассказывал вам раньше). Постановка «Вишневого сада» в Париже не потребовала подобного марша. Что касается актеров, то достаточно было трех месяцев — только с данным материалом поработать по 12 часов ежедневно. У меня были случаи, когда я ставил и за пять дней. Повторяю, все зависит от актеров: перед прогонами «Махабхараты» ушло еще полгода, но в этом промежутке мы успели подготовить еще две работы. Иногда необходимо даже три недели, чтобы мы стали разговаривать на одном языке. Я никогда не записываю и не показываю упражнения — они должны изобретаться для каждой ситуации экспромтом. И вообще неважно, как долго мы работаем над спектаклем, мы можем никогда не дойти до конца пути. Мы можем пуститься в путешествие, которое не имеет конца.

— Хотелось спросить вас о воспитании молодых режиссеров: вы ведь изъявили желание встретиться именно с ними, будучи в нашей стране?

— Честно говоря, организаторы сегодняшней встречи говорили, что это будет частный разговор — человек двадцать рассядутся по кругу, а не так, как сейчас: я — на сцене, а передо мной (что весьма неудобно) полный зал ...

Режиссер как писатель: и тот, и другой работают на основе собственных открытий мира. Например, если кто-то собирается использовать наш сегодняшний разговор в качестве методического посо-

бия, то я должен заранее предупредить — в моих ответах на ваши вопросы нет универсальных формул, в них не предполагается метод. Я могу описать упражнение или прием, но каждый, кто попытается воспроизвести его по моим описаниям, будет, к сожалению, разочарован. Я бы даже взялся за несколько часов на досуге обучить кого угодно из сидящих в зале всему, что я знаю о театральном приёме. В принципе за один день можно выучить всю технику театра, за три — всю технологию театра. Что касается опыта, по-моему, нет необходимости столь тщательно изучать историю театра. (Когда я произнес эту фразу, в зале МХАТа многие бурно отреагировали: чувствовалось, сколько молодых режиссеров на этом пострадало ...) Все решает практика, а это нельзя проделать в одиночестве. Мы можем только попытаться кое-что проследить, анализируя процесс подготовки пьесы к спектаклю.

Например, второй режиссер или помощник главного — у него своеобразная роль смесителя красок для художника. Самое важное: создать группу из 5—6 человек, куда вошли бы, естественно, режиссер, затем человек с писательскими способностями, остальные должны иметь тягу к актерству. Они должны пойти в самые неожиданные места (больница, деревня, даже сумасшедший дом, словом, выступить перед аудиторией в 40—50 человек), чтобы показывать все, за исключением подготовки (в отличие от футболистов, которые разминаются на стадионе перед игрой), а потом — Ее Величество импровизация.

Я уже говорил, что ничего не показываю (вероятно, потому что сам неважный, просто плохой актер). Когда меня спрашивают: «Можно сюда или туда стать?» — я отвечаю: «Почему вы думаете, что я должен возражать?» Тем более, если этот сакраментальный вопрос задается, когда только начинаются репетиции. Все возникает в процессе, а не на самом старте. Именно здесь, потом возникает феномен коллективного мышления.

— Какое качество актеров вызывает у вас неприязнь?

— Когда актер говорит «нет» и продолжает это говорить. Таких актеров очень много. Репетиции не ведут прямым путем к премьере. Некоторым актерам это крайне трудно понять — особенно тем, которые гордятся своим мастерством. Актеры должны учиться менять выразительные средства. Они должны уметь отбирать. Заголовок Станиславского «Создание характера» вводит в заблуждение: характер не статичен и его нельзя выстроить, как стену. Для посредственных актеров процесс создания характера происходит следующим образом: в самом начале наступает мучительный момент — «Что произойдет на этот раз? Я уже сыграл много удачных ролей, но придет ли вдохновение и сегодня?» Такой актер появляется на первой репетиции, охваченный ужасом, но постепенно его стандартные приемы заполняют вакуум, порожденный страхом. По мере того, как он «открывает» прием создания каждого отрывка, он закрепляет его, испытывая облегчение от того, что снова избежал катастрофы. Так что в день премьеры хотя он и нервничает, но его нервы — это нервы меткого стрелка, который уверен, что может попасть в цель, но боится, что ему не удастся

попасть в десятку в присутствии друзей.

По-настоящему творческий актер испытывает совсем иного рода и гораздо более глубокий ужас в день премьеры. Во время репетиций он все время занимался чертами характера, которые он постоянно ощущает как частности, гораздо менее значительные, чем сама правда, так что, будучи честным художником, он оказывается вынужденным бесконечно что-то отвергать и что-то начинать заново. Творческий актер всегда готов отказаться от застывших форм на последней репетиции, потому что именно с приближением премьеры его творение как бы освещается мощным прожектором, и он видит его жалкую несостоятельность. Он должен уметь все ломать и отказываться от результатов, даже если новые окажутся не лучше. И это единственный путь, каким может родиться на сцене живой человек вместо того, чтобы оказаться искусственно сконструированным. Роль, которая создана, каждый вечер одна и та же — разве что со временем она еще медленно покрывается эрозией. Для того, чтобы роль, которая родилась, оставалась всегда одинаковой, она должна быть заново рожденной, что и делает ее всегда разной.

Безусловно, когда мы говорим о долго идущих спектаклях, попытка ежедневно воссоздания становится мучительной и почти невыносимой, так что в результате опытный творческий актер вынужден вернуться назад и обратиться ко второму уровню, именуемому техникой.

— *Какая экономическая модель театра, на ваш взгляд, обеспечивает максимальную независимость творческому процессу? Этот вопрос скорее всего задан нам самим, точнее тем, кто сейчас вовлечен в эксперимент, проходящий на «территории» всего советского театра.*

— Я бы подошел к этой проблеме с обратной стороны. Чтобы создать идеальный, совершенный театр, нужно совсем немного (и это, кстати, самый дешевый материал, который вы можете использовать) — люди, энергия, человеческая энергия, не в киловаттах измеряемая, и еще вам нужны тишина и концентрация. Первые из перечисленных элементов ничего не стоят. Потому что театр начинается и кончается с того и тем, когда образуется группа людей, соратников.

Если вы живете в жаркой стране, скажем, в наиболее теплой части Советского Союза, то можете существовать под открытым небом. Если живете в холодной части, то вам, естественно, нужна крыша. И это все. Группа людей автоматически делится на две части: одни более подготовлены к встрече, чем другие. Первые, более подготовленные, пытаются поделить чем-то с той частью таких же людей, которые менее подготовлены (труппа—зрители). Вот и все, что представляет собой театральное событие.

Но вот что очень и очень дорого (не в смысле денег): речь идет о качестве того, что люди подготовленные передают людям неподготовленным. К сожалению, никакой экономист не способен обеспечить это качество. Оно — результат платы за то, когда что-то отдается. Именно эта цена составляет собою качество работы, труда — это очень большой и важный вопрос.

Что мы понимаем за термином «качество произведения»? Что мы понимаем под человеческим качеством? Это каса-

ется того, что приготовлено, как и с какой целью? В ходе спектакля речь идет о качестве чувственного взаимодействия между всем телом, организмом актера на сцене и зрителями, которые смотрят на него. Если актер, допустим, повествует какую-то прекрасную историю, но внутри себя, в своей внутренней жизни, он замкнут, обижен на что-то или кого-то, или испытывает некое горькое чувство, тогда все то, что исходит из его внутренней жизни, испортит ту историю, которую он пытается рассказать зрителям. То есть, для того чтобы передать залу эту историю с высоким качеством, нужно прекрасно подготовиться к этой работе, что очень и очень трудно.

Потому что реальность театра выявляется только в момент собственно спектакля. Когда вы видите действительно то место, где находится подлинная реальность представления, начинаете понимать: эстетический и экономический факторы вторичны, это все то, что как бы составляет рампу вокруг главного события. Конечно, на какой-то стадии эти проблемы очень важны. Каждый в современной жизни нуждается и заслуживает достойных условий, возможно. Но ни один из тех элементов, которые обеспечивают удобства в театре или красоту в нем, не смогут повлиять на качество, если оно не является главным, не находится в центре внимания этой работы. Об этом мы должны помнить постоянно, а не возлагать вину за неудачи, скажем, на то, что плохо организовано или что для театра избрана неправильная структура.

Театр в сущности сводится к вопросу об ответственности за небольшое количество людей...

— *Зато уж критики всегда могут стать «палачами» труппы, не так ли?*

— Очень реальный вопрос. Театральные критики — живые люди, и среди них есть всякие индивиды, как лучшие, так и худшие. Когда рецензент пишет ради того, чтобы продемонстрировать свою эрудицию и превосходство, он мне (как, впрочем, и другим людям театра) неинтересен. А вот когда критик становится элементом театрального процесса и цель его работы — разобраться и установить более высокие критерии постановки, тогда он очень нужен и ценен, его читают с интересом и благодарностью.

— *Кстати, что читали вы в дни этой поездки по СССР?*

— Учебник «Русская грамматика». Советские газеты и журналы — за рубежом они теперь нарастают. Знаете, русскому языку я начал учиться, будучи студентом Оксфордского университета (в нашей семье не говорили по-русски).

— *Уже 15 лет вы работаете с интернациональной труппой, однако, в ней нет представителя нашего, возможно, не самого худшего в мире театра...*

— Наибольшая опасность для театра любой страны и любого направления — попытка превратить его в бюрократическую организацию. Поэтому мы очень тщательно следим, чтобы наш международный Центр театрального творчества (расположен в Париже и пользуется финансовой благосклонностью французского правительства уже долгие годы) не превратился в филиал ООН. Иначе придется исходить из того, что, если у нас есть актер, допустим, из Южного Йемена, то обязательно должен быть актер и из Северного Йемена, если у нас есть латиноамериканцы, то среди них

непрерывно должен быть мексиканец... Приглашение артиста из той или другой страны определяется замыслом или рисунком спектакля, так же, как художнику бывает необходима какая-то новая краска для заключительного мазка.

Откровенно говоря, мне давно хотелось пригласить актера из вашей страны. Но давайте будем реалистами и честно признаемся: до недавнего времени ситуация у вас в области культуры была такова, что переговоры о сотрудничестве длились годами, а когда заключался контракт все-таки, то перед выездом на съемки или репетиции вдруг отменялась виза или актер внезапно «заболел»... Множество бюрократических барьеров снижали желание вести эти переговоры. Но мы надеемся, что теперь положение кардинально изменилось и впервые в нашей труппе появится советский актер. Наладится система обменов между театрами.

— *Если бы вам предложили поставить спектакль, скажем, во МХАТе или Ленинградском БДТ, что бы вы ответили? И если бы вы согласились, какие встречные требования выдвинули?*

— Хочу воспользоваться тем, что мы беседуем в гостиной МХАТа под портретом Станиславского, чтобы открыто заявить: лишь тогда я не согласен с Мастером, когда вопрос начинается с «если», считаю его незаконным. В повседневной жизни — «если бы» — фикция, в театре — это эксперимент. Сейчас, когда вы записываете нашу беседу, она уже устаревает. Для меня это упражнение, застывшее на бумаге. Но у театра есть одна особенность, отличающая его от интервью, книги: есть возможность всегда начать заново. В жизни это нереально: часы не повернуть вспять, нам редко представляется второй случай. В театре все можно счесть происходившим. В повседневной жизни «если бы» — уклончивость, а в театре — правда. Когда нас удается убедить в этой правде, тогда театр и жизнь — одно целое. Это высокая цель. Но тяжелая работа.

— *Заключительный вопрос, по-моему, наиболее трудный (я не решался его задавать раньше): сформулируйте, пожалуйста, ваше творческое и человеческое credo.*

— Напрасно не решались. Все очень просто. Верю в конечное торжество справедливости, в человеческий разум и здравый смысл. Хотите — верьте, хотите — нет, но пусть бы мне предложили все золото мира, чтобы поставить «Механический апельсин», и я бы отказался: не хочу участвовать в чем-то разрушительном. Для меня искусство, театр — это жизнь, только более сконцентрированная. Сейчас мировой театр напоминает постройку XVIII века: в нем много устаревшего. Миссия театра — показать что-то новое, необычное в каждой человеческой ситуации, каждом существе. Театр дает возможность каждому человеку спросить себя: что стоит за словами — нормальность или сумасшествие. Главное — спроси себя, в чем смысл и суть происходящего. На сцене, на экране. В жизни.

— *Спасибо за откровенную беседу. Желая больших творческих удач! До свидания в будущем году. До новых встреч на советской сцене.*

Беседу вел
ГАГИК КАРАПЕТЯН

ВИСВАЛДИС ЛАМС

(Латвия)

ТВОЯ ЗЕМЛЯ ГОРИТ...

Восхитительное лето стояло в Латвии в 1944 году. Природа словно расщедрилась. По утрам яркие цветы источали нежный аромат, в лучах солнца блестели жемчужные капельки росы, звонко заливались соловьи, тучнели поля, захлебывались белыми реками сепараторы молокозаводов, божья благодать снизошла на этот истомленный летним цветением край, стояли теплые деньки с нечастыми ливнями, ласковый ветерок сушил на лугах сено, наполнялись сараи, и предстоящая осень сулила богатый урожай.

Лето 1944 года стало едва ли не самым страшным во всей многотрадной истории латышского народа.

Колеса боевых машин месили наши пашни, снаряды изъезжали наши поля, щедро удобренные человеческой плотью, огонь пожирал дома и сполохами занимало небо, бог войны растоптал сапожищами младую поросль, выбив целое поколение, народ рассеялся по свету.

Около ста тысяч латышских юношей и зрелых мужей было мобилизовано в гитлеровскую армию. Это преступление совершили, по воле своих хозяев, бывшие латвийские генералы Данкерс и Бангерскис — в нарушение Гаагских конвенций о законах и обычаях войны, прав человека, вопреки элементарным понятиям чести и совести; из мобилизованных были сформированы две дивизии легиона СС, но большинство латышей все же разбросали по разным немецким частям — начиная с полицейских батальонов и кончая береговой охраной, многие попали в вермахт, люфтваффе, трудовые батальоны и т. д. Гитлеровцы латышам не доверяли, понимали, что коренное население относится к ним с подозрением и ненавистью (знала кошка, чье мясо съела), с лета сорок первого.

В июне началось вторжение союзников на континент. «Час пробил!» Советские войска нанесли массированный удар в Белоруссии, разгромили группировку фельдмаршала Буша, заняли Литву и с двух сторон ворвались в Латвию.

Гул войны и гул органа рижской Новогертрудинской церкви: «Господи, Твоя земля горит!»

Что еще оставалось небооруженному народу — просить защиты у Господа, уповать на чудо. Как бы мало нас ни было в этой кровавой сече гигантов, где счет воевавшим шел на миллионы, пушкам — на десятки тысяч, боевым машинам и самолетам — на тысячи, но будь мы вместе, с оружием, так сражались бы до последнего вдоха; латыш никогда трусом не был. Немцы по опыту 1919 года очень даже остерегались нас. Народ надеялся на эти две дивизии... напрасно, легион держали за горло железной хваткой, да и вообще дивизии эти удалось сформировать лишь потому, что прежде был сталинский 1940/41 год. И однако — хотя у этих латышских солдат не было никакого доверия к «отцу народов», но фюрера Великой Германии и его сатрапов они ненавидели всей душой. Это была настоящая трагедия, в ее огне горела не только земля — народ.

За что сражаться, с кем воевать? Какой во всем этом смысл? Смысла не было. Одна жгучая боль, безысходность и горячее желание удержаться на этой земле — бесконечно дорогой и любимой родине предков. Как писал поэт о такой же в точности трагедии времен первой мировой войны: «Только с тобой мы восстанем, а без тебя нам победить!» Слова эти не были забыты, и не было такого латыша, кто добровольно согласился бы покинуть отечество.

Но и остаться было непросто. Раньше, чем в Латвии появились отступающие германские дивизии, крестьяне увидели своими глазами беженцев из России. Слово «беженцы» придется заключить

в кавычки — никто не спрашивал у этих русских колхозников, хотят ли они оставить родное село или нет. Прибыли жандармы, выгнали всех на проселок («los weg!»), а село подпалили. В те дни дороги были буквально запружены скотом, подчас коровьи стада перерезали путь отходящей армии. Из уст согнанных с родных мест людей латышские крестьяне с удивлением узнавали, что в колхозе единственной не облагавшейся повинностью скотинкой была коза, или «сталинская корова», как ее шепотом величали; услышали они и невеселый анекдот об ученике, который на вопрос учителя анатомии, чей скелет выставлен в классе — мужчины или женщины, ответил: «Этого я сказать не могу, но колхозника точно. Сдал государству шкуру, шерсть, яйца, мясо... одни кости и остались». И еще те бывшие колхозники рассказывали, что немцы обращались с ними жестоко, поэтому все молодые мужчины, способные носить оружие, ушли в партизаны, а уж как сильно партизанское движение в России извлекло на себе и латышские железнодорожники, и легионеры. Но, считали нужным прибавить пришельцы, «покушавши мы лучше, чем у своих». И действительно, на столе у них бывало даже мясо, покамест при «счастливым колхозном строе» перебивались в основном картошкой, луком, да лесной ягодой и грибами. Некоторые «беженцы» уверяли, что после войны и в России каждому дадут участок земли, кончится это колхозное безумие — сам маршал Жуков обещал, мол. Имя выдающегося советского полководца гремело в ту пору по обе стороны линии фронта и в народном сознании потеснило даже «великого отца, учителя и друга трудящихся всех стран».

Скоро, ох как скоро пришлось ступить на «беженскую» тропу населению тех латвийских волостей, через которые прокатились на запад немецкие армады. Всем без исключения. Об этом заботилась все та же военно-полевая жандармерия. На войне, конечно, случаются и непредвиденные вещи: иногда гитлеровские войска драпали в таком раже, что не успевали захватить с собой крестьян, кое-где люди ухитрялись спрятаться в лесу, в других местах... в общем, как придется. Марс капризнее любой старухи.

Советские войска взяли Елгаву, гитлеровцы успели ее спалить, несколько небольших подразделений латышского легиона город не жгли, а воевали. «Ни одной русской деревни без боя не сдали, и за Елгаву будем сражаться до конца!» Этот пыл ничего не значил — сталинские танки перевалили через них и прорвались к морю; второй танковый клин был вбит со стороны Лубаны — до Эргли, где надломился под контрударом «штукасов» с воздуха. Земля горела.

Еще до того, как запылало пламя боевых пожарищ, едкий черный дым взвился над потаенными опушками, этот странный дым клубился и в окрестностях Риги: там, в преддверии краха, в попытке спрятать концы — не в воду, в огонь — совершались повторные акты ужасающей бесчеловечности. Вскрывались массовые могилы людей, которых начиная с 1941 года убивали по конвейеру, истлевшие или совсем свежие трупы складывались штабелями и поджигались. В народе поговаривали, что на этих работах заняты в принудительном порядке русские военнопленные. Их, истощенных, измученных до предела, живых мертвецов, перед акцией досыта кормили, поили слабеньким немецким шнапсом и, обманывая посулами еще более обильной жратвы и выпивки после «работенки»... в конце операции, выстраивали возле тех же трупов и расстреливали из «машинганов», после чего обливали бензином и сжигали.

Слухи, слухи... Кто теперь скажет, как было на самом деле, но писатель Эвалдс Вилкс говорил автору этих строк, что видел собственными глазами одно такое место — по земле растекался негоревший человеческий жир.

Печатные издания крикливо звали латышей на борьбу, а об этих событиях молчали; правда, по-прежнему живописались изувержские сталинские депортации, рассказывали о трупах, открытых во дворе Рижской центральной тюрьмы и на берегу Балтэзерса под самой Ригой. Непонятным образом о расстреле НКВД летом 1941 года латвийских офицеров в Литенском лагере почти не упоминалось. Да что тут странного, в продолжение темы пришлось бы поведать о гом, как встретили немцы искавших у них прибежища беглецов из Литене. Одни начали, другие продолжили... И при этом, словно сговорившись, солидарно молчали о случившемся.

Богоданным летом 1944 года вся Латвия напоминала огромный, объятый огнем крестьянский двор: отчаявшиеся люди выскакивали из дверей, выбрасывались из окон и попадали в поля — горит сад, горит пашня, горит луг, горит сама земля... в смертельном ужасе мечутся, ища спасения, погорельцы, а костлявая знай себе косит что есть мочи — и по черным провалам сгнивших щек катятся капли пота.

Некоторые (а сколько, ни один институт Гэллана не считал) с надеждой и верой смотрели на Восток, слушали московское радио, и не только пассивно ждали, припав ухом к приемнику, но и сражались. Любими подручными средствами — начиная с саботажа на предприятиях (особенно в железнодорожных мастерских), разбрасывания листовок и кончая оружием. Число тех, кто боролся с немцами, было не так уж велико. Отдельные группы «красных лесных братьев» в том или ином краю появились с началом войны, но как следует «действовать на нервы» оккупантам они стали после мобилизации 1943 года, когда многие новобранцы (кто имел кормильца) бежали в леса, какая-то часть этих беглецов связалась с организованными борцами с фашизмом, заброшенными через линию фронта. Но движение красных партизан в Латвии, и об этом надо сказать, не шло ни в какое сравнение с Россией и Белоруссией, где на врага поднялся весь народ. Большинство латышского народа не было с ними. В послевоенные годы мне не раз доводилось беседовать с бывшими партизанами. Достоинства и самоуверенности у них было хоть отбавляй, а столько ли смелости в бою, сказать не берусь, не знаю. Со святой верой в Сталина и разумность всего, что делалось (включая и бесчеловечные методы раскрестянивания Латвии), судили они об искусстве и литературе, причем в том духе, что «настоящие, достойные сталинской эпохи произведения» будут созданы теми, кто родится и вырастет в свободном социалистическом обществе и будет избавлен от язв и пороков старого мира (я, к примеру, таковым не являюсь).

Ну да ладно. Среди латышского сельского населения их влияние в 1944 году было сравнительно слабым, а в среде интеллигенции вообще никаким.

Почему же латышский народ проявлял такую сдержанность? Что говорить, ведь автор этой статьи (не один он) встречался тогда с латышами из России, с очутившимися в Латвии русскими и белорусами — встречались многие. И что мы от них услышали? Русская женщина (вдова «убранного» в 1938 году советского латыша) объясняла с горечью: «Вот вы сокрушаетесь по поводу всего-то одной ночной высылки! А у нас людей забирали по ночам годами, много лет подряд, никто не чувствовал себя в безопасности. Взяли чуть ли не всех латышей — мужчин и женщин, одни старики и дети остались». А вот слова латышского парня, родившегося и выросшего в Ленинграде, мобилизованного в начале войны на строительство укрепрайона, попавшего в плен к немцам, освобожденного из плена на родине своего отца и в 1943 году призванного в легион: «Бедняга Гитлер, ему приходится стрелять своих врагов, у него нет Сибири, как у Сталина. У нас в Ленинграде в 1938 году всех латышей отправили туда, откуда никто не возвращается. Меня и еще нескольких пацанов после ликвидации латышских школ каким-то чудом запихнули, по счастью, в русскую...»

И тому подобное...

С легионом были связаны судьбы не только призванных в него, но также их родных и близких, а общим счетом сотен тысяч латышей. Как обращается сталинский режим с теми, кого считает своим врагом, они уже поняли и почувствовали. И все же мало кто горел желанием воевать за Третий рейх. Мобилизованные из числа старших возрастов во время советского наступления разбежались кто куда, а «пламенные вояки» крыли их по-всякому. Остервенело сражалась 19-я дивизия, но это потому, что ядро ее составляли истинные добровольцы, однако ряды их таяли день ото дня; 15-я дивизия пробилась в Латвию, чтобы в Латгалии взять и распастся — часть личного состава немцы сумели собрать и отправить в Германию на переформирование, неизвестное число побросавших оружие было расстреляно на месте после поимки. Одно из подразделений 15-й дивизии, не добравшись до латвийской границы, попало в окружение советских войск и дралось до последнего патрона. Им командовал полковник Аператс, сложивший голову в бою вместе со своими ребятами; был ли этот Аператс заклятым

врагом советского строя, или просто хотел пробиться в Латвию, бог весть, я, правда, знавал двоих парней, которые еще до всех этих событий предстали перед военно-полевым судом и избежали расстрела только благодаря стараниям Аператса. Оба обвинялись в одинаковом преступлении: набили морду заносчивому немецкому офицеру. Подобные случаи, как правило, плохо кончались.

Когда земля загорелась под ногами, латышская интеллигенция очутилась перед выбором (и времени на размышления не было) — куда податься, где искать спасения? Об информированности и речи быть не могло... одно-единственное нежелание отправляться на чужбину, одно-единственное хотение остаться на родине! Писатель Янис Яунсудрабинш держался до последнего звонка, но в конце концов присоединился к потоку отчаявшихся беженцев; поэт Карлис Скалбе тоже не хотел уходить, не хотел... но ведь он был автором посвящения «Уведенному», и хотя ни единым словом не осуждал в нем тех, кто уводил, однако допустил смертный грех — пожалел «врагов народа», этих двуногих чудовищ; композитор Язепс Витолс иронизировал в периодической печати над апологетами социалистического реализма, которые клялись этим методом на каждом шагу, но не могли ответить толково на вопрос, в чем же конкретно проявляется социализм в музыке. И прочие, и прочие... Две, к сожалению, абсолютно достоверные и при этом жуткие информации касательно событий 1940—41 годов занозой засели тогда у всех в мозгу. Первая, несколько курьезная (хотя только внешне), была связана с обращением летом 1940 года сталинского эмиссара А. Я. Вышинского, прибывшего в Ригу крепить новую власть, к толпе, которая манифестировала у здания советского посольства на улице Антонияс. То ли от полноты восторженных чувств, то ли по неизжитой еще недисциплинированности манифестанты неоднократно прерывали высокого посланца Москвы возгласами и знаками одобрения, и тот, наконец, вышел из себя — потеряв нить так славно начатой, вдохновенной речи, зло прорычал в микрофон: «Черт вас побери!» Оставим историкам спор о том, сколько людей вышло тогда на демонстрацию — то ли несколько тысяч, окруженных десятилетиями толпой зевак, как свидетельствуют многие очевидцы (среди них и ваш покорный слуга), то ли 80 000 и даже 100 000, как ничтоже сумняшеся уверяет академик, бывший в то время далече от Риги... пускай себе дискутируют, но речь товарища Вышинского транслировалась по радио (в гневе оратор об этом, видать, подзабыл), и тут уж действительно десятки тысяч сидевших уэфовских приемников мирных жителей услышали то, чего не слышала восторженно приветствовавшая Вышинского толпа, — как их посылают к черту. Об этом инциденте мне рассказывали сотни людей (одна моя близкая родственница первой поведала мне эту новость, причем в тот же вечер) — сам я не слышал знаменитого ругательства. Не довелось мне видеть и чем обернулась через год, 14 июня, эта обмолвка про чертовы рога: запертые в теплушках женщины, припада к щелям скотного вагона, кричали, молили о глотке воды — не для себя, для умиравших от жажды, заходившихся ревом детей; сердобольные не выдерживали этого зрелища и, перевозмогая страх, подходили к вагонам поближе, протягивали несчастным кружки с водой, но тут дорогу им преграждали штыки: «Назад! Стрелять буду!» — рявкали охранники.

Свидетелей этого второго в хронологическом порядке, примечательного события было не так уж и много, но вскоре о случившемся знал весь народ. Знал и не забыл.

Признак бесчеловечности пугал мыслящих людей, гнал их на чужбину.

В противоположность интеллигенции, простых людей легче оболванить, они быстрее забывают прошлое. Особенно если в промежутке были устроены гитлеровцами кровавые вакханалии. Ну да, имелась среди латышей и такие, кто считал «всякого жид» гешфтмахером и наполовину жуликом, готовым корысти ради на любой бессовестный и хитрый ход... вот бы приставить «этих жидов» к честному труду, принудить зарабатывать свой хлеб в поте лица и т. д. Но прикреплать к одежде клеймо, мучить, убивать! Народ отвернулся от убийц, и, хотя вслух никто этого не высказывал, моральное осуждение сознавали и чувствовали все — даже сами убийцы. И еще: расстрел активистов «советского года»... да, они действительно пребывали в жалкой роли доносчиков на своих же земляков, в роли составителей списков высылаемых. Так предьявить им обвинение, судить открытым судом, где вина каждого будет доказана и всяк получит по заслугам. Однако гремели выстрелы, выстрелы не переставая... и вот уже команды СД стали буйствовать в Белоруссии. Люди слышали своими ушами, как эти выродки спяну хвастались: на детей коммунистов ни к чему пули тратить, берешь за ноги и головой об угол дома! Изверги прикрывали свои преступления преступлениями других. И люди тряслись от ужаса... а земля горела.

Может быть, такие катаклизмы, как война, и выносят на поверхность людской героизм, но в большинстве своем она развывает низменные инстинкты, всплывающие из глубин подсознания, как у пещерного дикаря-людоеда. В руке каменный топор,

а в тупой башке одна мысль — всякому, кто не принадлежит к его роду-племени, к его клану, раскроить череп.

Если голос коммунистического подполья, голос тех, кто поддерживал красных «лесных братьев», был не очень-то слышен, то Москва энергично вещала на латышском языке, и это радио, несмотря на угрозу сурового наказания, слушали многие. Москва и ее сторонники в Латвии заверяли, что немцы лгут, когда утверждают, что коммунисты поставили своей целью уничтожить латышский народ, что в колхозы силком загонять не будут, а совсем наоборот — колхозный строй для Латвии непригоден, что Латвийская ССР — это суверенная республика в дружной семье братских народов, что ее земля, воды, порты, леса, заводы и прочее принадлежат единственно латышскому народу и только ему, что сталинские воины — борцы за свободу, которые сражаются ради того, чтобы свет сталинской конституции однажды вновь озарил и ошастливил латышский народ. И в заключение радиопередачи «Боже, благослави Латвию!», переводчица и писательница Джесия Дзерве, долготелый секретарь Союза писателей, с пеной у рта утверждала, что еще в день германской капитуляции из громкоговорителей, установленных на многих углах в Риге, доносился этот латышский гимн. Потом-то уж, конечно, за его пение, даже в самом тесном кружке, можно было отправиться к белым медведям, причем это касалось и тех, кто пел, и тех, кто по неведению своему внимал; достаточно было только кому-нибудь стукнуть куда следует (то есть зарекомендовать себя честным советским патриотом, выполняющим свой долг, как это сделал бессмертный Павлик Морозов по отношению к своему кровному отцу).

Словом, сталинский пропагандистский аппарат был бесконечно озабочен судьбой доведенного до отчаяния латышского народа. Такую же заботу проявляли и гитлеровцы — когда народ требовал своего государства, они прикидывались глухими, откупаясь самоуправлением, которое располагало всего лишь властью рекрутировать способных нести военную службу латышей в германскую армию. Генеральный комиссар Латвии Дрехслер сдержанно замечал, что вопрос о независимости Латвии может решить только сам фюрер Великой Германии, а у вождя теперь слишком много работы, и подобными (надо полагать, пустяковыми) вопросами ему заниматься недосуг. Так что же, народы трех прибалтийских стран были в глазах Берлина незначительными? Взвесим, однако, такие цифры: по данным, опубликованным в ГДР, третий рейх с сентября 1939 года по середину июля 1944 года потерял на поле брани 1,5 миллиона солдат и офицеров, почти что исчерпал свои материальные ресурсы, попал в ловушку войны на два фронта, оказался перед трудностями снабжения восточного фронта из-за того, что англо-американская авиация разбомбила пути сообщения... эти причины заставили германский генералитет решиться на покушение против фюрера; покушение не удалось, и десять последующих месяцев войны стоили рейху еще 2,5 миллиона жизней немецких воинов (повторяю, это цифры, которые приводит, на основе документов третьего рейха, издающийся в ГДР ежемесячник «Горизонт», словом, не с потолка взятые). Как видим, Гитлер действительно был очень занят ответственными делами, посылая ежемесячно на смерть четверть миллиона немецких солдат, поскольку настал момент, когда его армии воевали уже не техникой, а пушечным мясом, причем перед вождем стояла еще одна неотложная задача — поставить точку в уничтожении шести миллионов евреев... словом, его и впрямь ждали «великие дела».

Но любой народ, как и всякий человек, хочет жить, даже если этот народ мал, а человек всего лишь винтик гигантского государственного механизма. Латышская интеллигенция не верила никакой пропаганде, не верила, что при Сталине не будет новых массовых депортаций и что латышский народ станет каким-то избранным народом, чье крестьянство останется на своей земле, а не в колхозной, не верили и гитлеровским златоустам, что после завоевания победы «вклад» каждого народа в эту, более чем сомнительную победу, будет оценен по достоинству.

Не покажи сталинский режим в «советский год» в Латвии коготки, не понадобилось бы никаких призывов, никакой пропаганды: мобилизованные латыши, все как один повернули бы оружие против гитлеровцев, и земля горела бы под ногами не народа, а тех, кто возмечтал о мировом господстве. Если бы да кабы... Те латыши, кто на фронте подчас то ли по одиночке, то ли группами перебегали на сторону Красной Армии, делали это не по убеждению, а чтобы очиститься перед победителями. Многие из этих перебежчиков, в немецком понятии дезертиров, вскоре действительно оказывались в рядах Советской Армии и потом, в Курляндском котле, кое-кто из них попадал, не по своей, конечно, воле, в немецкий плен. Коли немцы таких разоблачали — расстреливали без разговоров. Как-то после войны я повстречал одного такого «двойного пленного» (теперь уже тройного) — от смерти его спас командир одного из полков латышского легиона, но теперь он уже не рассчитывал на снисхождение.

Весной 1945 года всех латышских легионеров на Курземском

фронте потрясло одно происшествие: одетый в эсэсовскую форму латышский юноша взял в плен своего отца, служившего в Красной Армии.

Возвращаясь к событиям лета 1944 года, скажу, что большинство нашего народа сделало тогда единственно возможный выбор — остаться на полыхающей земле. И если бы не было сил для такого выбора, разве мог бы наш народ выжить на перекрестке мировых дорог, где столетиями сталкивались между собой чужеземные полчища? Завоеватели являлись с севера, юга и востока, приплывали на кораблях к западному побережью, именовали себя великодушными друзьями (избави нас бог от друзей!), в междоусобицах разоряли нашу землю и мучили людей как могли, и если удавалось закрепиться здесь, прогнать конкурентов, превращались во «всемиловитейших» поработителей, закабалили трудовой народ, выжимали из него последние соки. И рядом с очередными правителями (все равно, сидели те на королевском троне в Варшаве или Стокгольме, или на царском в Санкт-Петербурге) вечно возникало прибалтийско-немецкое (остзейское) дворянство. Горстка баронов ухитрялась удерживать в руках львиную долю фактической власти, а также и земельных доходов. Не исключено, что хроника Черного рыцаря в Латвии — один из величайших феноменов истории; с прибалтийско-немецким дворянством считался всемогущественный Царский двор, остзейцы ловко примерялись к обстоятельствам, столетиями оберегая и свою немецкость, и свои привилегии. Может, латышские крестьяне прошли такую же школу стойкости и выдержки, как их господа! Всё может быть. Одним — высокородные права, другим — земля, труд, даины. А когда латыша совсем лишили земли и дайн в Российской-то Империи, он и опустился до того состояния, которое изобразил в своих «Латышах» великий просветитель Гарlieb Меркель. Справедливости ради скажем, что прибалтийско-немецкие дворяне хоть как-то заботились о духовном мире своих слуг: в Видземе оказывали поддержку изданию Библии на латышском языке, основывали латышские школы, даже учительский семинар, в Курземе дали денег на издание книг пастора Стендера Старшего, в Латгале приоткрыли дверь печатному слову «инфлянтов» — в то время как, в глазах польского шляхтича и российского помещика, его же собственные соплеменники были только двуногими тварями, которых можно угнетать, мучить, проигрывать в карты или использовать (девушек) для плотских утех.

Родная земля и песня... удержаться бы при них. Этот источник и радости труда, и веры в будущее. Летом 1944 года латышский крестьянин, стиснув зубы, сделал вид, что верит посулам победителей. Терпящие поражение показали во всей красе свою низкую натуру: всюду звучало «los weg!», всюду взрывали мосты, церкви, жгли дома, особым плугом раскорчевывали железнодорожные пути... конечно, разрушить все дотла они не успели — «планомерное отступление» превратилось в настоящее бегство, драп; но массы селян сгонялись к Риге, довольно большое число их очутилось в Курземе... пока все еще на латышской земле.

И тут «с благородными намерениями» вмешивается в дело все тот же вербовщик пушечного мяса Бангерскис — он принимается в организованным порядке проявлять заботу об эвакуации латышей... из Латвии. Пустые немецкие суда стояли у даугавских причалов. Милые соотечественники, поспешим на палубу, поплывем прочь от большевистских извергов! И чтобы милые соотечественники не тянули с уходом в изгнание, газета «Тэвия» развезала настоящую истерию, печатая одну жуткую историю за другой. Но ни малообразованный латышский крестьянин, ни интеллигент, который свободно владел «тремя местными языками» (латышским, русским, немецким), что, кстати, не вызывало удивления, — никто из них не чувствовал особого страха перед советским воином, не имел предрассудков (о ненависти и говорить не приходится) по отношению к идеям социальной справедливости, ведь большинство латышских интеллигентов происходило из беднейших слоев народа, на хлеб они начинали зарабатывать пастушками, свинопасами, упорно пробивались к знаниям путем самообразования, держали экстерном экзамены на домашнего учителя, таким же порядком осиливали гимназический курс, добивались до студенческой скамьи и в этих перипетиях часто так надрывали свое здоровье (умственные перегрузки, голод, туберкулез), что были вынуждены прекращать штудии, если не умирали в молодые годы. Те же, кто выдерживал и проходил через все это, были людьми честными, порядочными и с высокоразвитым чувством ответственности перед своим народом. Учеба в Петербурге сближала их с русской культурой, оставляла в душе незабываемые впечатления о белых ночах, о романтике северной Пальмиры... кое-кто возвращался в Латвию с молодой женой или невестой, в семье говорили как на языке отца, так и матери, и никакая пропаганда не смогла бы убедить этих людей в том, что русский солдат может быть чудовищем и способен на преступления против мирных жителей. Но за красноармейцами, которые собственной кровью поливали поля сражений, за этими воинами

шли управлять занятыми территориями сталинские чиновники. Неужто мы бы не ужились, не нашли общий язык с русским народом, дозволив это «отец, учитель, друг, вождь, корифей всех наук, гениальнейший полководец всех времен и народов и вообще величайший гений человечества»?

Покажите мне того, кто скажет, что у Николая II Романова было больше титулов, чем у Сосо Джугашвили!

Итак, какая-то часть латышей отплыла от родных берегов на гитлеровских судах. Но их было меньше, куда меньше, чем рассчитывали организаторы этой эвакуации и их начальники; на лугах под Ригой в наспех сооруженных землянках, шалашах, палатках расположилось в конце сентября—начале октября множество покинувших родные места видземских жителей. На суда? Нет, нет . . . Но что тогда? Ну, может, обойдется . . . может быть . . . Они даже не знали, на что надеяться, но надеялись.

А корабли стояли полупустыми. И тут гитлеровцы решились на радикальные меры.

Сумерки гаснущего октябрьского дня. Центр Риги. Лай собак, женские вопли, жандармское оцепление. Облава! Людей хватают, кто в чем был, и — «los weg!», и напрямик на палубу. Псы выслеживают беглецов, обнаруживают укрывающихся дезертиров . . . о, великодушие! о, гуманность! их не расстреливают, а — на суда, на суда! Просьбы позволить зайти в квартиру, взять вещи (в объявлениях ведь говорилось, что можно будет взять с собой все движимое имущество) игнорировались, хотя в большинстве своем они высказывались на чистейшем немецком языке. «Los weg!» Жандармы по опыту знали: отпустишь человека — сбежит, не поймаешь. Поэтому: «los weg!».

На людей охотились с собаками и худо-бедно набили корабли пассажирами.

Интересно, что жандармы свирепствовали только в центре города, в кольце, ограниченном примерно улицей Таллинас. Дальше — тишина. Немецкой военной комендатуре было хорошо известно, какие массы людей скопились на берегу Кишэзерса и озера Юглас, но туда жандармов не посылали, хотя улов был бы отменный. Дело в том, что отходившая через Ригу 19-я латышская дивизия тоже разместились в предместьях города и «шутки шутить» на виду у вооруженных легионеров было рискованно . . . Автору этой статьи доподлинно известно несколько случаев в Видземе, когда легионеры пускали в ход оружие против немцев, поджигавших хутора; донесения об этом, вероятно, получило и германское военное командование. Распорядившись в Прибалтике гитлеровские генералы в сложившейся ситуации опасались, что охота на людей (возможно, очень близких легионерам людей) на виду у вооруженных, закаленных в сражениях бойцов вызовет взрыв. Жандармы прочесывали центр, а на окраинах люди даже толком не знали, что происходит в нескольких километрах от них. В течение двух-трех дней. Какие-то неопределенные слухи доходили, но в то время земля слухами полнилась разнообразнейшими.

Что творилось в эти октябрьские дни на душе у отъезжавших, которые в молодости воевали за независимое латвийское государство, зрелые годы посвятили его становлению, — о чем они думали и что испытывали в тот момент, когда корабль закачался на морских волнах и за кормой растаяло в дымке устье Даугавы?

Неутихающая боль разлуки, скорбь по утраченному физическим и духовным силам, отданным возведению того здания, которое пожрал Молох войны. Не латыш был ее поджигателем, но ему пришлось заплатить очень дорогую цену.

С чего начинали латыши после завершения первой мировой войны? Страна, население которой в 1913 году составляло 2,5



миллиона человек, в 1920-м имела 1,6 миллиона жителей. Кругом развалины, все расхищено, промышленное оборудование вывезено — навсегда, на селе треть всех хозяйств разорено до основания, а в остальных почти не осталось скота и даже семенного фонда, транспортное сообщение дезорганизовано, так как за годы войны взорваны почти все мосты, дороги изрыты ухабами, портовое и железнодорожное оборудование и оснащение разрушено или вывезено, народное здравоохранение, просвещение . . . ах, что там говорить! Одним словом — разруха, голод, болезни. Западные страны готовы оказать помощь под баснословные проценты. Как в этих условиях возродить страну, вдохнуть веру в народ?

Возродили! Вдохнули! Отдали крестьянину отнятую у него столетия назад землю, обеспечили грудолюбивым горожанам возможность заработка. Неужто впервые приходилось латышу начинать на руинах? Картина повторялась десятки, сотни раз на протяжении истории. Народ закатывал рукава и трудился на совесть, разгибая спину лишь для того, чтобы утереть пот со лба. В несколько лет свершилось чудо. Прежде всего накормили голодных и оборванных и голодных (числом 400 000), вернувшихся домой после скитаний; некоторые провозили через границу золотые царские десятки, но большинство — только тифозных вшей. Уже в 1938 году латвийское сельское хозяйство не уступало датскому и шведскому — странам, которые из поколения в поколение не знали войн. Латвия выходила на мировой рынок с маслом, сыром, беконом, успешно конкурируя с самой Данией. Восстанавливались и строились заново мосты, шоссе, дороги, железнодорожные линии, портовые причалы, рыболовецкие гавани. Электротехнические товары с маркой ВЭФа по конкурентоспособности на мировом рынке мало в чем проигрывали сельскохозяйственной продукции Латвии, «мозолили глаза» старейшим индустриальным державам; начала развиваться автомобильная промышленность и даже — да-да! — самолетостроение.

По изданию книг на 10 000 жителей Латвия занимала второе место в Европе вслед за Данией; выпускалось полтора журнала, Беньямин печатал свою газету и еженедельник на одной из трех современных в Европе машин глубокой печати, офисюз Великой Германии «Фелькишер беобахтер» не имел такого печатного оборудования; рижская русская газета выходила дважды в день — «Сегодня» и «Сегодня вечером». В самых глухих уголках Латвии, везде и повсюду, открывались новые школы, а часть рижских средних школ распахивали свои двери и по вечерам, чтобы рабочая молодежь могла получить доступ к образованию. В результате по числу студентов на 10 000 жителей (посещавшие техникумы к студентам не относились) Латвия занимала первое место в мире.

А прислужники Сталина, как бы в насмешку над латышским народом, организовали в том приспомятом 1940—41 году курсы по ликвидации неграмотности.

Проявлялась и забота о здоровье народа. Правда, на селе имелся обычно один врач — в волости (нынче в поселке), но в крупных центрах уже вырастали новые больницы. Для рабочих организовывались больничные кассы, любой, кто в ней стоял, мог за дешевый талон, без униженного ожидания, получить право на визит к самому знаменитому врачу. Страхование предусматривалось государственным законодательством; разумеется, как всегда и везде, случались и нарушения законов. Больницы отвечали, так сказать, «мировым стандартам» того времени, лечение здесь стоило дорого, но за всё платила больничная касса. Пенсии получали только государственные служащие: железнодорожники, трамвайщики, вэфовцы, учителя . . . одним словом, только те, кто работал по найму у государства. До войны был основан «Фонд обеспечения в старости» . . . если бы не война . . . и вот всё пошло прахом. Сгорел и латвийский торговый флот, насчитывавший свыше ста судов и бороздивший моря-океаны под красно-бело-красным флагом, рухнули планы основания латвийской навигационной академии (мореходное училище, основанное в свое время Кр. Валдемарсом, уже не удовлетворяло нужд подготовки мореходов). Куда подевались тысячи латвийских моряков? Где тонны золота, которыми обеспечивалась в лондонском банке латвийская валюта? Государственный долг был меньше суммы вкладов в зарубежных банках, с нами считались во всем мире, мы не обивали, как попрошайки, пороги крупных капиталистических контор, а были равноправными партнерами, которым при необходимости охотно давали в кредит (например, на сооружение Кегумской ГЭС), так как знали, что Латвия платежеспособна. Латы маленькой страны принимались во всех ведущих банках Запада.

И вот деревянные ограды пылают в огне, а каменные дома используют как щиты для своих отступающих подразделений немецкие группы прикрытия; атакующие советские танки поворачивают стволы своих пушек против этих групп, «Илы», пикируя, сбрасывают на них бомбы.

Господи, Твоя земля горит!

Не всё, конечно, было идеально в нашем доме. Диктатура

Ульманиса многих раздражала, плоды общенародного труда распределялись несправедливо. Владельцы промышленного оборудования, судов, доходных домов, крупных хозяйств без особых усилий урывали кусок пожирнее; поэтому летом 1940 года и вышли на улицы тысячи людей, и не только в Риге, но и в других районах Латвии; поэтому те, кому нечего терять, кроме своих мозолей, с большим или меньшим восторгом встречали призывы выступать за права трудового народа, за новое государство всеобщей справедливости. В какой степени эти лозунги выражали серьезные намерения, а в какой были демагогическим прикрытием великодержавных планов Сталина, было известно Вышинскому, советским дипломатам в Риге Деревянскому и Ветрову, может быть (?) частично членам нового руководства республики Вилису Лацису, Янису Калинзиню, Алфонсу Новиксу, но никак не автору этих строк.

Но разве где-нибудь в мире был в то время достигнут идеал добра и социальной справедливости? Дальнейший расцвет Латвии и благосостояния ее народа, казалось, были еще впереди, нам в этих вопросах не нужны были такие консультанты, как Гитлер, а также Иосиф Сталин и, уж меньше всего, его сатрапы и местные пособники. Диктатура Ульманиса по крайней мере не оставила кровавых следов (никто не был приговорен к смертной казни), тюремное заключение — да, практиковалось, на основе закона, который запрещал действия, направленные на подрыв существующего строя, разжигание розни между отдельными группами населения; в тюрьму отправлялись коммунисты (в том числе засланные через границу), члены реакционной организации «Перконкрустс», антисемиты . . . За политические убеждения не сажали, только за деятельность. Запрещены были абсолютно все политические партии, в том числе и созданный самим Ульманисом Крестьянский союз. Но писателю Андрейсу Упитису, ярому обличителю буржуазного строя в литературе, по случаю шестидесятилетия правительством Ульманиса назначило максимальную для деятеля культуры пенсию в 300 латов (приблизительно трехмесячная зарплата некавалифицированного рабочего). Назначение этой пенсии не имело целью повлиять на писателя или подкупить его — все деятели культуры, искусства и науки получали ее независимо от своих политических убеждений; некоторые ультранационалисты имели трехкратную пенсию в 150 латов, достаточную для сносного существования самого пенсионера и его супруги. Дети же должны были зарабатывать на жизнь сами — родительский блат не признавался.

И вот эта Латвия пропала за горизонтом, погрузилась в клубы дыма и огня. И вновь земля лежала в разрухе, а народ пребывал в бедности, и снова начинать с нуля, и снова строить. Дали бы только волю, свободу трудиться, свои песни петь.

В заключение сухие, но красноречивые цифры.

Во второй половине XIX века, когда латыши поднялись на борьбу за свое национальное существование и дальнейшее развитие, нас было 1,25 миллиона; были двухгодичные латышские волостные школы и кое-где приходские (да, уже создавались и латышские мореходные классы), о латышской гимназии еще только можно было мечтать, а о высшей школе и мечтать не смели. Имелось, в шутку говоря, полторы латышских газеты. Но вскоре русификаторы наложили лапу на латышское просвещение, в школах разговаривать по-латышски было запрещено даже на переменах и провинившимся вешали на шею позорный знак. Латышских юношей гнали на отдаленные театры военных действий, где они умирали за интересы империи.

Но мы пробивались вперед, к свету, шаг за шагом.

После 1905 года, когда весь латышский народ восстал против царящей несправедливости, нас убивали казаки сотни, каратели жгли наши дома. 50 тысяч латышей, цвет нации, были рассеяны по белу свету.

В 1913 году в Латвии насчитывалось 1,7 миллиона латышей. Сколько во всем мире, не знаю.

После страшного кровопролития первой мировой латыши постепенно оправившись, и в 1938 году их численность в Латвии достигала неполных 1,5 миллиона. В СССР проживало 250 тысяч латышей. У нас в Латвии были свои школы, у представителей других проживавших здесь народов — свои. Рижская польская гимназия, например, привлекала учащихся из самой Польши.

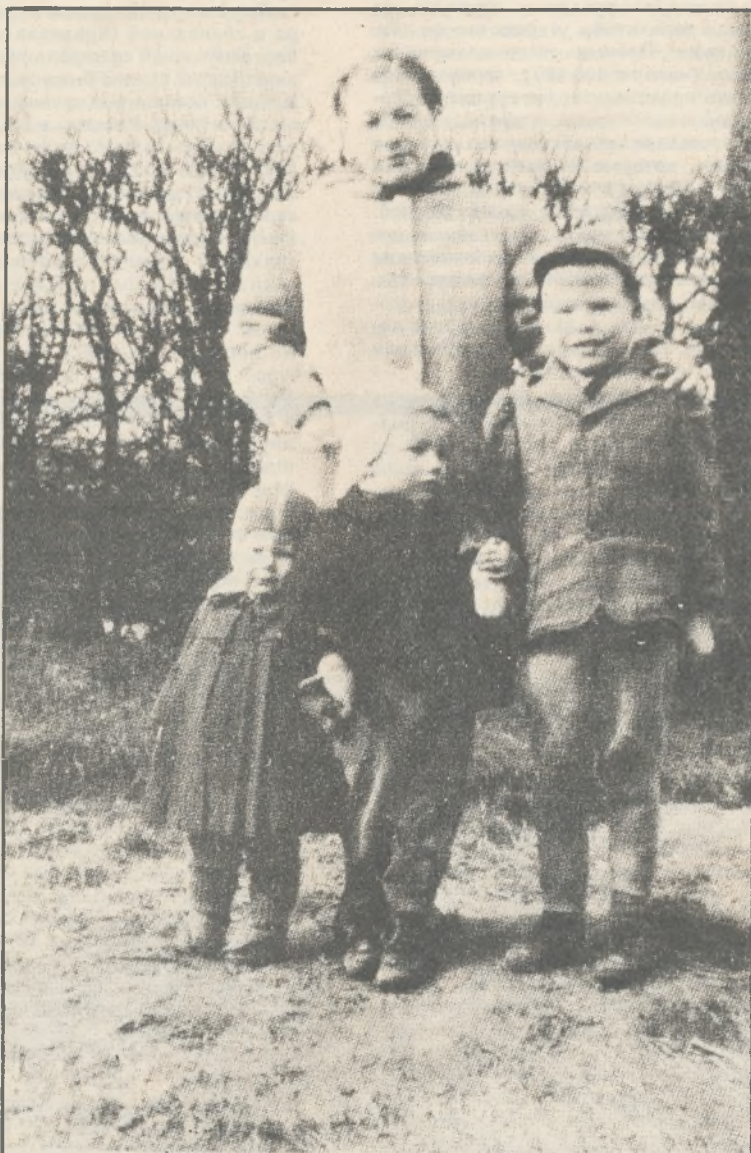
Спустя полвека в Латвии живет без малого 1,4 миллиона латышей, в других союзных республиках примерно 100 000, за рубежом около 120 000 — там число латышей растет, но сколько из них владеет в совершенстве латышским языком? Не знаю. Латышского мореходного училища больше нет, Институт инженеров гражданской авиации — русскоязычный, и его преподаватели «интернационалисты» яростно борются с «националистами» (читай: против требований латышской культуры). История Латвии в латвийских школах не преподается. В довоенной Риге не талдычили о «дружбе народов», так как люди уживались друг с другом как люди. Какая, скажите, рознь может быть между русским и латышским рабочим?

Господи, Твоя земля горит.

АННА ЛЕЙНЯ

БЕЖЕНЦЫ

Перевела ТАТЬЯНА РУДЯК



Anna Lejnja ar bērniem Omstedē, 1946.gadā.

Анна Лейня с детьми в Омстеде. 1946 г.

Жду мужа. Айе — десять дней от роду. Он примчался из Риги на велосипеде. «И вы еще здесь!» — «Был какой-то обстрел. На улицу не выходили». Муж бросился запрягать коня, а я тем временем упаковала вещи. Жалко только оставлять большую хрустальную, обрамленную золотом, с инициалами вазу — свадебный подарок учителей. Прихватила все-таки ножи, вилки и ложки из нержавеющей стали. Но тут прибе-

жал сосед — профессор с детьми и женой. У них нет больше лошади, нельзя ли взять их с собой! Придется скинуть мешки с провизией, чтобы взять его детей. На это сосед говорит, что у брата хозяйство под Ригой, поэтому сможет вернуть нам оставленные продукты. Часть упакованных продуктов все же оставила, да еще приличный кусок сала, который незаметно от всех сунула мне мать. Она не едет с нами, надо же

кормить скот. Муж за ней придет позже.

Когда проезжали мимо кладбища, захотелось попрощаться с Иночкой, муж не позволил. Нам надо думать о живых, Иночка это поймет, и вообще нам надо спешить. У ворот кладбища, привалившись к забору, два латышских легионера едят хлеб с маслом. Спрашиваем: «Что вы тут делаете!» — «Нет больше армии. Все летит к чертям. Отдыхаем».

Взрослые идут рядом с телегой. Я — в телеге, присматриваю за детьми и время от времени тоже иду пешком, когда кто-то хочет дать отдых ногам и занимает мое место.

Так, за десять месяцев до окончания войны, начались наши скитания. Темнело, приближались к Риге. Когда ехали по Даугавскому железному мосту, заметили огненные вспышки в небе. Все в телеге прижались друг к другу плотней, а Эрикс припустил галопом. Только съехали с моста — налет. Никогда не видела, чтоб Эрикс так скакал — наверное, испугался. Недалеко от университета сбежали в бункер парка Вермана. Муж остался наверху у дерева, успокаивал Эрика. Когда вышли наружу, оказалось, прямо возле них что-то упало, наверное осколок бомбы. Направляемся к Межапарку — месту, где живет двоюродный брат мужа Гамилкар Ленньш и его жена Зента. Не помню, как и где оставил нас сельский сосед. Он твердо обещал, что, мол, привезет наши оставленные продукты, но пропал без вести со всей семьей.

В Межапарке Зента и Гамилкар упаковывали вещи, они вместе с друзьями морем перебираются в Швецию. Однако лодка была не их, и нас не могли взять с собой.

На следующий день мы остались одни с отцом Гамилкара и матерью Зенты. Набрала немного красной смородины детям. Муж чистил навоз Эрика, тем временем дядя Гамилкар бурчал, что самим ягод не хватает и Эрикс, мол, навонял «в этом месте». Мать Зенты услышала это и пристыдила недовольного: «Стыдись, у тебя самого дети еще в море. Ты ведь не знаешь, какая им выпадет доля, а сам что делаешь!» Дядя Гамилкар стремительно нагнулся к Айечке, поцеловал ее. Атиса и Айвара тоже: «Простите, деточки мои».

А налеты продолжались непрерывно, поэтому и убралась подалее — к нашим друзьям на хутор в Видземе. Была удивлена тем, что Мелания привела меня с детьми на недостроенный чердак. По доске, перекинутой через кучу песка, перебрались в пустую комнату, единственное, что там было — сено на полу. Окно — половина забита картоном. Повернулась и спустилась вниз. Не говоря ни слова, положила Айечку на пол в кабинете, потом Айвара с доской на спине, Атис был у меня все время под рукой. В свои два года он был уже мне хорошим помощником: «Атис, подай мне это, подай мне то...» Мелания только молча поглядывала. Говорю ей: «Большое спасибо!» — «Не за что». Так мы и устроились в углу кабинета. Мелания говорит — я тоже. Если мне чего-то не хватает — молока или яичек — даю ей чулки, нижнее белье, платье — в уплату.

Вскоре муж уехал назад в Виестури за матерью. Верхний этаж дома сгорел. В нижнем все разбросано. Хрустальной вазы нет, пианино стоит в саду. Никого здесь больше нет — тишина. Лиепи не знают, где мать. Муж отправился назад. У дома лесника увидел колодец; на краю колодца, спиной к дороге, сидит женщина. «Могу ли я напоить своего коня?» Женщина поворачивает голову — моя мама! Она расплакалась от счастья. Оба расцеловались и поспешили назад в Виестури, мать там закопала свои вещи и мешок крупы. Вещей у матери набралось много, муж, естественно, не позволил все брать с собой. Пришлось оставить свадебный (или похоронный) костюм отца. Одну корову тоже взяли с собой. Пройдя такую длинную дорогу, мать очень устала, корова тоже казалась усталой.

Часто по ночам плакала. Почему люди так меняются в тяжелое время! Нас упрекнули, что корова съест всю траву, своим коровам ничего не останется, хотя мать пасет ее вдоль канавы. Жаль мать. Однажды рассердилась и так выдала хозяйке, что сама испугалась. Решили, что придется так или иначе возвращаться в Ригу, потому что сюда, в Видземе, скорее всего и войдут русские. Остановились у моего брата Паулса на острове Вейзакя. Там же, на островке, паслась и наша кормилица, снабжавшая всех нас молоком.

Как-то муж сказал, что все равно всех вещей не возьмешь с собой. Надо увязать только самое необходимое. Подстегиваемый беспокойством, он на велосипеде погнал на бывшую работу — Дундагскую фабрику. Не пускала его сначала, боялась, что немцы схватят и заставят рыть траншеи. Работники, оказывается, уже эвакуированы в Лиепая, но у мужа были свои ключи. Только вошел в свою контору, звонит телефон. На другом конце провода — крестная Айвара, Эльза! Ее квартиранту, немецкому офицеру, надо доставить какой-то поезд в Германию. Сама с двумя сыновьями (муж ее служил в Латвийской тайной полиции и был замучен русскими на допросах) уже разместились в товарняке немцев. Нам еще хватит местечка там, у них.

Сломав голову, муж примчался назад, и мы спешно уложились. Я надела шубу, детей завернула в одеяла, и муж нас всех усадил в телегу. На руках у меня Айя, на коленях Атис, на спине Айварс и к правому локтю прицепилась мать. Эрикс бодро нас везет, Эдуард шагает рядом с ним, правит. Грозовой дождь льет, как из ведра. Тепло и душно. Силы мои на исходе — удивляюсь, как мать еще может держаться за мой локоть. Подъехали к железнодорожным путям. На телеге здесь дальше не проехать. Пробираемся между вагонами, я с детьми, муж с узлами. Мать осталась у лошади, пока размещались в Эльзином «углу». После работы пришел Паулс и увел Эрика.

Выяснилось, что напрасно так бежали. Поезд стоит на Рижском вокзале уже целую неделю. Со всех сторон зажаты другими поездами, некоторые тоже полны беженцев. Муж посоветовал немецкому офицеру дать машинисту взятку. Он так и сделал. Дал ему целый ящик спиртного. И вот эти повеселевшие мужчины сидят на посту у радиопередатчика, каждый по очереди, в надежде узнать, отбила ли немецкая армия русских от Тукумского железнодорожного узла. Сутки они возили нас туда-сюда, пока однажды ночью, вдруг проснувшись, почувствовали, что поезд действительно бежит! Выехали из Риги в последние дни сентября.

Ехали на большой скорости всю ночь. Боялись, как бы не открылась дверь где-нибудь на станции и мужичин не отправили бы рыть окопы.

В последний момент могло произойти самое страшное — могли отнять мужичин у семей. Подошло утро. Поезд остановился. Медленно отодвинули двери. Я читаю Marienburg. Мы уже в Германии, в Восточной Пруссии! Муж радостно восклицает: «На воле, на свободе!», а я не могу вымолвить ни слова. Помню, как глаза Эльзы наполнились слезами — жаль Родины. Мне ничего не жаль. Вот смогу ли вытащить своих деток в безопасное место!

В Мариенбурге муж купил билеты в Берлин. С нами едет Эльза со своими детьми, во мне это не вызывало никаких чувств. Я ничего не говорю, ни о чем не

думаю. Мне теперь нужен полный покой, отдых. В Берлине Эльза с нами распрощалась, и мы, пятеро Лейней и моя мать, остались одни на перроне. Муж побежал покупать билеты в Bad-Schandau на Эльбе, где живет сестра его матери. Она, как и свекровь, была немка. Друг, словно ниоткуда, налет! Перрон совсем пустой, одни мы. Прижались как можно плотнее к вещам и ждем. Самолеты — как стая саранчи. Лежа на перроне, начала считать бомбардировщиков в небе. Может быть, американцы! Прошли. На нас бомбы не скинули.

Проехали Дрезден. Бад-Шандау дальше вверх по Эльбе, почти что у самой границы с Чехословакией. Но у тети мужа остались не смогли: у нее самой только две комнаты в доме для немецких беженцев. Разместились в сельской гостинице, двери которой открывались прямо к берегам Эльбы. Гостиница холодная и сырая, но — ах, эти чудесные, большие, широкие, мягкие кровати! И все такое чистое! Айечке уже три месяца и питается только моим молоком. Бледенькая такая — может, мало молока! Однако не плачет и спит хорошо. Для уверенности сходила к врачу и взяла с собой Айвара (на спине) и Атиса (за руку) — им же тоже надо увидеть свет! Врачиха установила, что девчушка все же понемногу прибавляет в весе — значит здорова. Каждый вечер перед сном мать горячим утюгом проглаживает сырые простыни и всем тепло, хотя стены и все вокруг сырое. Повар-венгр разрешил мне на кухне варить еду для детей, ее хватало и матери, и мне, и мужу. Однако, хозяйка гостиницы иногда забегала в нашу комнату проверить, все ли у нас здесь в порядке. Говорит, слишком много уходит электричества — или мы глудим! «Нет!» Каждый день муж ищет работу. Немецкие марки подходят к концу. Ими разжились мы еще в Латвии, когда муж на черном рынке продал нашу дорогую, удобную детскую коляску. Он ездит рано по утрам в Зебниц (Sebnitz), что немного севернее Бад-Шандау, сидит там в управе городка и запрашивает работу: трое малых детей, шестеро иждивенцев. Показывает документы, что пожертвовал еще в Латвии шубу немецкой армии (латышскому легиону), и медный подсвечник, и сельхозпродукты, которые, между прочим, немцы у нас реквизируют. Так продолжалось с утра до вечера целую неделю, пока муж не надоел городскому голове и ему дали работу — на складе какого-то завода сортировать детали по отделам.

Переехали на местном поезде в Зебниц, там со станции на открытом возке, запряженном двумя лошадьми, нас привезли на новую квартиру — одна комната на нижнем этаже какого-то дома, и вторая, маленькая такая, на верхнем этаже. Туда положили наши вещички и шестикилограммовый кусок латышского еще сала. Его-то хозяйка дома сразу унюхала и на нас странно так посмотрела. Она, жена священника — вдова сейчас, говорит приехали, как господа, в карете, а, глянь, как выглядят! Она нас невзлюбила, особенно Айвара. Он — мальчик, а одет в Иночкину одежду (кроме штанишек): на голове теплый Инин капор, сам в Инином пальтишке, на ногах ее туфельки. А вообще он, как красивая девчушка — блондин, глаза голубые с черными ресницами. «Святая» вдова, расстроив худые «деревянные» ножки Айвара, сказала: «Этот парень никогда не сможет бегать». Мать дала ей кусок свиного сала. Сразу же стала повежливей, особенно с матерью.

Земля покрылась толстым слоем снега. Выпросила у хозяйки детские саночки и повезла Айвара к врачу. Рентгеновские снимки получились хорошие и показали, что все позвонки целы, только надо еще ходить к врачу, чтобы научиться массировать ножки Айвара.

Пошли с мужем в кино. Тревога! Все бросились из кинозала в убежище. Мы бежим домой по улочкам, покрытым брусчаткой. Нас только двое. Луна указывает нам путь по спуску умолкнувшего городка. Может успеем к деткам до того, как бомбы посыпятся с неба!

Приходят плохие вести с мест боев. Некоторые поговаривают, что врет иностранное радио. Но мы всполошились — побегим снова! Муж обменял свое пальто на две угольные тележки и начал укладывать. Ночью откуда-то слышим: гул. Наверное, сильно бомбят и снова недалеко от нас. Утром удивляемся: восемь, а еще темно! Февраль все же, ранняя весна, солнце во всю пригревает, снег стаял. Смотрим в окно — весь газон перед домом усыпан обгоревшими обрывками бумаги. Подняли один листок — текст из Библии! Смотрю на дом: все окна покрыты черной копотью.

Поезда еще нет. Втащили обе тележки в багажный вагон и плотно задвинули дверь. Поезд идет в Дрезден. На следующей остановке дверь отодвигают — «Как вы сюда попали!» Нас высадили. Решили продолжать путь пешком в направлении Баварии, там будет теплее. Идти будем только проселками, чтобы не попадать под бомбежки. Здесь же простились с матерью, она ведь не сможет долго идти пешком. Поезд отвезет ее в Северную Германию, куда вошли англичане, там будут отец со Скайдрите и маленьким Янчиком.

Милая моя мамочка, увижу ли я тебя еще когда-нибудь? Расставание меня сильно потрясло. Хотя я и знала, что мать была еще крепкой и все могла, но оставить ее одну! Помогли ей втиснуться в переполненный вагон с тяжелым мешком на спине (она же не расстанется со своими вещами!). Тяжелый мешок потянул ее назад, когда она взбиралась по ступенькам, и бедняжка скатилась снова в наши руки. Тогда подключились мужчины из вагона. До свидания, мамочка! Мы тебя обязательно разыщем!

Как близко одно селение от другого — из одного выходим, в другое входим. Дети никак не наглядятся. Сидят спокойные и счастливые — едут в тележке! Идем быстро — ноги еще не намяли. Странный тепловатый ветер дует в лицо, вокруг летают черные, обгоревшие листья. Видим впереди женщину, толкающую детскую коляску, рядом с ней мужчина с мешком на спине и сумками в руках. У обоих лица черные, словно в копоти, такие же коляска и вещи. Спрашиваем: «Откуда вы такие черные!» — «Как, неужели не знаете, что Дрезден ужасно бомбили прошлой ночью!»

Нам рассказывают, что бомбардировщики сбрасывали фосфорные бомбы, это так страшно, на раскаленных тротуарах обгорали подошвы обуви. Спасаясь от жара, люди бросались в пруд, что в парке, но даже там вода загорелась, бедные, все сгорели. Сразу подумалось, не погибла ли в городе Эльвира, сестра жены моего брата Витаута со своими двумя малышами, да и все бывшие там беженцы-латыши.

Продолжаем путь. Смотрим — кругом заводы. Пошли быстрее, почти бегом. Детшкам-то радость! А мы все смотрим,

где тут убежище! Ну конечно, послышался хорошо знакомый звук: приближаются бомбардировщики. Бросаемся с нашими тележками в канаву. Пролетают мимо, и мы наблюдаем, как они исчезают за горизонтом. Уже в темноте вошли в следующий городок. В доме для беженцев улеглись спать на полу. Но снова эта тревога! Только глаза закрыла! Какая-то высокая женщина кричит, чтобы мы бежали в убежище. Муж одевает Айвара, прихватывает парня и «документы» подмышку, с криком «поторопись» убегает. Все это время я делала вид, что действительно спешу. Еще раз вбегает та самая женщина, кричит, что нарушаем закон, нельзя, мол, оставаться на месте во время тревоги! Сделала вид, что одеваю уснувшего Атыня — женщина поспешно вышла, а мы с детьми погрузились в глубокий-глубокий сон.

Снова отправляемся в путь. На ногах с шести утра до десяти вечера. Немцы отобрали у нас паспорта (свои, Латвийские, мы спрятали). Хорошо, что с собой были Латвийские пятилатники. Я все скупилась, муж был расточительней, за что его ругала. Ведь вскоре пришлось, когда мы устранились на ночлег в ставших редкими городках, каждый раз помогать хозяйке мыть посуду, за что она могла угостить нас супом и разрешала подогреть молоко для детей, ну и переночевать на полу. Уходя, все прибирала, а если спали на кухне, то и пол мыла.

Чем больше мы шли, тем меньше я ела. Наверное со страху: боялась русских, боялась, что дети заболеют. Муж, тот с удовольствием съедая свою порцию — хлеб с вареньем, дети, конечно, «что получше».

Подожли холода. Уже темнело, когда однажды дошли мы до какого-то обжитого места. Постучались в первую попавшуюся дверь. Хозяйка дома разрешила мне положить детей на пол и нагреть им молоко. Муж ушел искать ночлег. Хозяйка оказалась приветливой, дети сидели тихо, слушали и смотрели, что делают взрослые. Стемнело, когда, наконец, вернулся муж. Ни слова не говоря, взял детей, сложил их в тележку, только и сказал: «Едем». Если муж быстро действует и молчит при этом, значит чем-то рассержен. Я ничего не спрашиваю. Остановились перед каким-то большим зданием. Вышел наци-солдафон, чинов, видно, поважнее, и муж ему вызывающе говорит: «Заберите нас всех в тюрьму, нам все равно негде ночевать!»

Тем временем пошел снежок. Наци отвечает, что, мол, объяснит кому-то, что у нас дети, а их нельзя сажать в тюрьму. Он даже дал нам большую телегу с высокими бортами и приказал пленному поляку запречь лошадь — подвезти нас в гору, но не дальше. Муж снял шапку, низко поклонился ему, говорит: «Как милостив господин и какое у него доброе сердце — разрешает детям переночевать в лесу. Благодарю!» Я сержусь и ругаю его: «Прекрати же, заберемся в гору, что-нибудь да придумаем!»

Тележку с Айечкой погрузили в повозку, мальчиков и вещи — туда же. Муж шел за нами, толкая вторую, пустую тележку. Хоть и была я одета в свой лыжный костюм из толстого хлопка — джемпер и шаровары, ледяной ветер все же продувал меня насквозь. Доченька спит, укутанная в мою шубу. Мальчики завернуты в одеяла. Муж — в брезентовом плаще. Боюсь, как бы нам обом не заболеть. Как хорошо, что он такой здоровый и сильный человек. Хоть и похудела я сильно, муж удивляется, что я так много могу и со всем справляюсь. Въехали на гору. За ней вдали видим заре-

во какого-то города. Лошадь остановилась. Поляк говорит, что поедет назад, но муж быстро засовывает руку в карман и грубо кричит «Езжай в город или стрелять буду!» Поляку-то все равно, и он, причмокнув коню, везет нас дальше.

Около полуночи подъехали к приюту для беженцев-немцев. Девушки-немки поспешили к нам — важные господа подъехали на лошади — помогают детей и вещи расположить в большом просторном помещении, где на соломе уже полно беженцев. За это время муж сходил в местное бюро нацистов пожаловаться на дутого наци из предыдущего городка. Люди из бюро пообещали разобраться. Они приняли мужа за немца. Кажется, солома грязная. Простыней у меня нет. Застелила наше ложе дорогими скатертями, которые захватила на память из свадебного подарка матери и свекрови — Верены Леини. Накормленные, умытые, мои детки улеглись и быстро заснули. Пока еще не видала их плачущими или скорящимися.

Только тогда муж рассказал мне, что выпал порядочно тому наци. Говорил ему, что за героизм на Восточном фронте Вермахт усыпал латышских легионеров крестами, а этот умник хочет засадить его в тюрьму за то, что у него нет немецкого паспорта. На следующее утро поспешили пораньше прочь — кто знает, что может случиться!

По счастливой случайности мы смогли проехать тот кусок от Фрейбурга до Хемница на поезде. Сэкономили, пожалуй, больше недели. Едва вышли из поезда — тревога! В погреб Айиня начала плакать, никак не могла ее успокоить. Дала попить холодного молока. Забыла, что в сумке у меня жестяная кружка и свечка — могла ведь подогреть молоко! Успокаивала себя тем, что, может быть, мне бы и не позволили в погреб жесть свечу.

Тележку, в которой везли детей, получили, выходя из поезда, а ту, в которой вещи, нигде не могли разыскать. Расположились на ночлег в доме для беженцев. На сердце неспокойно. Этот город, видно, какой-то центр, здесь есть фабрики. Зачем мы так рискуем! С утра пораньше уходим, но муж успел еще раз сбежать, проверить, может, найдется тележка! Нашел ее все-таки у выхода со станции. Счастливые направляемся в ближний Бургштат. Там находим комнату на верхнем этаже одного дома.

У Айини поднялась температура. К счастью, муж достал у какой-то медсестры, тоже латышки, бинты, вату и разные лекарства. Были у нее и таблетки от воспаления легких. Айиня поправилась через четыре дня.

Тревога — приближаются американские войска! Da kommen die Amerikanen! Все переволновались. Домашние и мы забрались в погреб. Я стою возле маленького окошка и наблюдаю, пока все наперебой спрашивают — уже идут! Ну как же, на горе появляются первые джипы, и в самом первом сидят четыре американских солдата! И вот уже целым потоком они льются по крутому спуску прямо на нас! Затрещали выстрелы, завизжали пули. Муж вдруг крикнул: «Отойди от окна!» Он был очень взволнован, хотя на самом деле радовался — теперь будет хорошо! Домашние наши немцы все же были испуганы, правда, не очень, потому что их земляки-беженцы рассказывали страшные вещи про русских военных. Даже старушек те не пропускать.

¹ Американцы идут. (нем.)

Молодые вове на улице не показывались, так русские вламывались в дома.

Вечером хозяйка звала нас снова в погреб, так как ожидалось, что «наши» постараются отбить американцев. А мы — хоть бы что! Остались в своих теплых кроватках. Утром хозяйка рассказывала, что в Бургштате был бой, неужели нам совсем не было страшно! Призналась, что ничего не слышали. Она была очень удивлена, ведь недалеко от нас один дом совсем разрушен — немецкие воины там яростно сопротивлялись. Какой может быть сон!

В течение вот уже двух дней муж всматривается в окно — не увидит ли какого американца? И увидит! Двое проходят мимо. Муж к ним обращается по-английски, поднимитесь, мол, наверх, у него есть бутылка вина, хочет их поздравить. С дочкой на руках подошла и я к окну. «О'кей!» Мы спустились вниз и открыли им дверь. Большое чудо для Атиса и Айвара, особенно для Айвара — ведь американские солдаты так отличаются от немецких!

Мы рассказываем свою историю — бутылка распита. Солдаты счастливы, что мы не немцы, и нас нечего бояться. Очень удивлены, что русские наши враги — ведь они союзники американцев! Что те — «безжалостные красные», впервые слышат. Я, взволнованная рассказом, не слышала, как один из них спросил другого — еврея — во сколько надо быть в роте. Вмешавшись в разговор, спрашиваю, когда русские войдут в Бургштат. Еврей, отвечая, видимо, товарищу, посмотрел на часы и говорит: «В три». Я тут же теряю сознание, муж едва успел меня подхватить. Они, изумленные, спрашивают, что со мной! Сказали. Ну, если мы так боимся русских, то чем раньше соберемся прочь, тем лучше. Когда русские войдут в город, они точно не знали, но войти они войдут. Мы сердечно друг с другом простились. Уходя, один из них дружески потрепал по голове Атиса и Айвара.

С утра снова были в пути. После полудня слышим — пушечные залпы. Откуда ни возьмись, появился солдат американской охраны и кричит: «Стоп! По этой дороге запрещено ходить», — здесь, оказывается, Firing-zone², идите назад. Еще чего! Решили не двигаться с места. Подходят еще двое молодых, один сердитый. Увели мужа с собой на допрос, а я осталась с детьми одна. Проходит час. Охранник начал грызть шоколад. Посмотрел на нас. Сам темный с лица, наверное, мексиканец. Позвал Айвара и Атиса, дает им по плитке шоколада.

Сидим на краю канавы, наверное, часа два. Сердце трепещет — начинать уставать. Наконец, мужа приводит новая охрана, с ними еще один военный. Нам всем велют идти назад той же дорогой, которой пришли. Немного отошли и оказались в небольшом селении. Дальше назад дороги нет, — решаем мы. Делаем крюк и идем по большому картофельному полю, мучаемся, спотыкаясь о борозды. Тележка иногда переворачивается, и все высыпается на землю, дети тоже. Быстро закидываем «вещи» назад и продолжаем брести по грязи. Наконец, измученные, выбираемся на узкую, немощенную дорожку. Видим домики, справа от них большое дерево и кусты. Иду в разведку. И не зря! Из кустов вылезают три американских солдата и приказывают мне идти назад. И здесь, оказывается, чертова «Firing zone».

Начинаю переговоры, говорю, идем

² Зона обстрела (англ.).

издалека, маленькие дети, надо продвигаться вперед [муж тем временем следит за мешком с вещами]. Они: «No». Начинаю петь: «Oh, darkies how my heart grows weary, far, far away from home...» Они сразу присоединяются, но я не ужоу. Вдруг один из них — наверное сержант, оборачивается к остальным и сообщает: «She is a pretty girl. I'll take her through the town»⁴. Я в ответ: «Thank you, thank you»⁵. Подпрыгивая и хлопая в ладоши, лечу назад к своим. Когда сержант увидел мужа, он, кажется, удивился, но ничего не сказал, перекинул винтовку через плечо и зашагал рядом со мной. Позже муж мне рассказал, что это был тот самый сержант, который схватил его и не давал говорить с командиром. Но муж не отступал — не каждый же, умеющий говорить по-немецки и по-английски — «шпион», ведь жена и трое малых детей с собой. В конце концов, пробились к командиру, который и отпустил его.

Сержант шагает довольно быстро, поспевая за ним, я даже вспотела. Он виновато объясняет, что помог бы толкать тележку, но с винтовкой в руках этого делать нельзя. Спрашивает, почему я не употребляю make up? «My goodness — make up! I'm tired and scared to death and you are talking about make-up!»⁶.

А вот его жена, как бы ни устала, всегда малоется, это ей один «must». Сколько мне лет! «40». Не верит. Говорит, pretty girls специально добавляют себе годы, чтобы услышать, как молодо они выглядят. Thank you. Так, болтая и смеясь, мы прошли через весь городок. Прощаясь, он еще и записочку написал, чтобы командир в следующей деревне нас покормил и устроил на ночлег бесплатно, и чтобы дал детям бисквиты. Айварс и Атис восхищены — мы уже у американцев!

Айния все равно мало ест, так же, как и я. Кажется, что мои кости начинают греметь. С раннего утра до позднего вечера... Ах, мои проворные когда-то ножки! Около полуночи почувствовала головокружение, собрав все силы, чуть ли не падая, мыла детей перед сном. С утра решила идти еще быстрее — русские наступают на пятки. Муж начал то-се выбрасывать из возка. Как только отворачивается (закуривает), я снова кладу это то-се в свою тележку. Пожалела только потом, что припрятала и уют, он не пригодился в этой стране.

Пробираемся больше проселочными дорогами. Поздним вечером вошли в дом, хозяйка которого оказалась тихой приветливой женщиной. Дети переночевали в отдельной комнате, а мы с мужем даже в постели. Утром помогла хозяйке привести все в порядок, вымыла посуду и рассказала о нас. Расставались дружески. Милая хозяйка даже сунула мне в руки кусок сала на дорогу.

Прошли еще довольно приличный кусок и добрались до Салфельда. Здесь нам сказали, что всю Тюрингию отдадут русским. Нервы наши опять напряжены. Немцы-беженцы подаются на юг, русские пленные — в северную часть. Мимо нас проехала машина с русскими политруками (у них красные ленты вокруг фуражек). Я прямо сжалась вся, сердце замерло. На-

«О, друзья, как устает моё сердце, далеко-далеко от дома...» (англ.).

⁴ Она — хорошенькая. Я проведу её через город (англ.).

⁵ Спасибо, спасибо! (англ.).

⁶ О боже, — косметика! Я устала и досмерти боюсь, а вы говорите о косметике! (англ.).

до шагать быстрее... быстрее... быстрее! В Кобурге!

Закусили у подножия какой-то горы. Времени — 11 часов. Доберемся ли до следующего поселка к вечеру! С горы спускается немка, муж спрашивает, сколько у нас займет подъем! Zwei stunden laufen⁷. Тащимся зигзагами по крутому подъему вверх. У мужа тележка потяжелее, временами спускаюсь к нему, и мы вдвоем толкаем тележку к детям. И так все время. Проходит пять часов. Мы снова закушиваем, я есть не могу, не нравятся мне хлеб с повидлом. Дети пьют молоко, взрослые — воду.

Восьмой час, надвигается вечер. Мы едва тянемся вперед. Дети притихли, изредка перешептываются. Какая зловещая тишина! Вдруг чувствую, как внутренности мои поднимаются по пищеводу, и в отчаянии восклицаю: «Ах, если бы впереди у нас сейчас Золотые Ворота — они открылись бы и...» И я вижу, точно вижу, как они отворяются, и мы сидим в столовой замка у длинного, покрытого белой скатертью стола. Все трое наших любимчиков сидят напротив нас за столом и едят с таким аппетитом, щеки у них красненькие, как никогда. Под потолком переливается хрустальная люстра. Я утопаю в мягкой, белой постели. Ах, какая она мягкая-мягкая! Смотрю в потолок — он синий, стены синие — что это! Я лежу на облаке, рука моя проваливается в него, сейчас упаду на землю! Очнулась! Ташу тележку и слышу далеко за спиной голос мужа: «Ты что, не слышишь, дети плачут! Что ты бежишь через деревню! Вернись!»

Уже стемнело. То тут, то там люди открывают двери, но снова их захлопывают. Что со мной происходит? Или я схожу с ума! Слышу, как муж кричит, успокой же, мол, детей! Говорю пусть плачут погромче, может и услышит нас где-нибудь доброе сердце. Подбежала какая-то женщина и приглашает нас переночевать в ее домике. Уже полночь.

Муж женщины то ли погиб на войне, то ли взят в плен. У нее два мальчугана, которых она сейчас уложила в комнатку под крышей. Наши дети спят в их постельках. Я улеглась на кухне перед печкой. Не помню, где муж, возможно с детьми. Хозяйка дома, сказала, что русские здесь тоже будут. Остались все-таки еще на одну ночь. Уходя, дала хозяйке шапочки. Насколько «милд» (пятнадцатников), оставшихся у нас, сохранили на черный день.

Вдали увидели огромный деревенский дом. Въехали во двор. В хлеву много коров. Сама хозяйка со служанками их доит. К нам подошел хозяин. Муж просит ночлег, рассказывает, кто мы такие. Нас повели на верхний этаж. Хотя это здание на замок и не похоже, однако длинный коридор со множеством комнат по обе стороны хранит, кажется, свои тайны. Когда-то здесь жизнь была ключом. Наше крыло кажется пустым. В комнате четыре кровати, стол, пол деревянный. Служанка стелит постели и три раза в день приносит нам на подносе вкусную, горячую пищу. На следующий день полил дождь и лил без остановки целую неделю. Счастливы, что куда не надо спешить. Дети могут набегаться, наиграться. Никто нам не мешал. Мы с мужем чувствовали себя в этом «замке» как граф с графиней.

В конце концов дождь перестал. Сам хозяин «замка» предложил подвезти нас вверх на гору. Недоумевали, почему же

⁷ Два часа быстрым шагом (нем.).

он был так щедр и приветлив с нами! Думали, может, боится американцев, а может, у него были связи с нацистами! Прощаясь, хозяин сказал, что Кобург недалеко, и, усмехаясь, добавил, что мы отсыпались там, где некогда отдыхал Наполеон!

Добрались до Баварии. Баварцы не пускают в свои дома на ночлег. В одном доме муж даже раскричался, ведь над дверью их дома он прочитал такие слова: *Sei willkommen in diesem Hause*⁶. Но это не помогло. Уходя, он перевернул табличку надписью к стене. Все же нашелся какой-то бедняк и принял нас в своей полутемной комнатке. Через некоторое время — стук в дверь, входит полицейский. Мы, якобы, *demoliert*⁷. один дом. Муж рассказал ему, как это произошло. Страж порядка уходит, наказывая нам больше так не делать.

Опять великолепная погода. Полдень, идем большаком. Американские грузовики пронеслись мимо нас. Уже заранее присматриваем ночлег поближе к дороге. Спрашиваем в каком-то селе у старосты, где здесь можно переночевать. Он, видно, зажиточный мельник, показывает нам какой-то сарай у дороги. Вбегаю его осмотреть. О, ужас! Захламленное, загаженное, кажется, до краев помещение, и сделали это, по словам старосты, русские пленные в отместку немцам. Подзываю мужа посмотреть на этот «будуар». Мельник тоже смотрит, не уходит. Наблюдает за нами, очевидно, что-то соображает. Что ж, мы начинаем «играть». Муж свирепо говорит: «Чтоб моя жена загнулась тут, убирая, а наши детки . . .». Погуду, мол, жаловаться американцам, по-английски говорить умею. Мимо как раз промчалась американская машина. Решили; муж делает вид, будто хочет остановить машину, а я в этот момент стану подзывать его, машина, случайно вроде, и проедет мимо. Вот приближается грузовик. Я подбегаю к мужу, делаю вид, что ругаю его, машину, конечно же, «не удалось» остановить. Следующей ждем довольно долго. Не успела она появиться, мельник не выдержал и пригласил-таки нас к себе на ночь.

Мы сием. Дети притихли, словно мыши, с любопытством наблюдают, что же будет дальше. Обычно все поражаются, какие у нас тихие дети. Айчеке было уже десять месяцев к концу войны. Ей хотелось бегать, как братикам, но еще не получалось. Атис все время опекал сестренку, а вот Айвару было все равно. Он сам был доволен тем, что наконец-то может самостоятельно бегать. Мы в необычном сооружении: жилье вместе с мельницей. Видно, люди богатые, все такое солидное, в немецком стиле. Нам выделили местечко в общей комнате. Разговор за столом шел дружеский, еду подали отличную. Даже яблоки ели (и с собой дали). Расставались довольно любезно, хотя все-таки пришлось повоевать за молоко. Мельничиха было стала прогонять его через центрифугу, чтобы отделить сливки. Смотрю, детям наливают обрат. Я умоляю молока, она — «и так будет хорошо». «Но мои дети не приучены к такому питью». Так только и смогли они выпить вкусного, теплого — настоящего молочка.

Под Кобургом останавливает нас американский патруль. Муж просит сигарету. Закуривает. Он, мол, бесконечно счастлив, что наконец-то мы у американцев —

в безопасности. Разговор затягивается, поэтому я подталкиваю мужа в бок: «Да идем же, кто его знает, арестует еще. Бумаг-то у нас никаких нет». Он и ухом не ведет. К нам браво вышагивает новая смена. Она-то и задерживает нас. Отведут, мол, на сортировочный пункт, откуда русские увозят домой репатриантов. Неужели же столько прошли, и вот тебе . . . Нас всех затолкали в кузов грузовика. Одна тележка не уместилась. Пришлось оставить ее у дерева, позже, мол, заберете. Муж побледнел, молчит. Двое «G.I's» (пехотинцы армии США), севшие в кузов с нами, едят *cookies*. Спрашиваю, вкусно ли. Они бросают мне весь кулек. Я начинаю их нахваливать, хвалю и всех американцев. На счастье, еще по пути в Кобург повстречался нам один латыш, который и дал нам свой адрес в Кобурге. Когда до нашей охраны дошло, что говорю с ними по-английски, — *She speaks English!* — стала умолять, чтобы отвезли нас к родственникам, они живут здесь, в Кобурге. Парни приказали шоферу везти нас к командиру, попросят, мол, отвезти нас к тете. Муж, улыбаясь до ушей, вышел из штаба, поехали искать дом неизвестной тетушки. Не представляю, что будет дальше.

У мужа уже созрел план. Как только подвезли, муж бросается обнимать изумленную женщину, быстро шепчет ей на ухо: «Делайте как буду говорить, спасите нас! Какая приятная встреча!» Тетя, демонстративно поглядывая на солдат, здороваются со всеми подряд. В довершение всего муж успешно подносит солдатам припрятанную и так пригидившуюся теперь бутылку водки. Они — в экстазе, радостно «сделав нам ручкой», исчезают, не будем, мол, мешать.

Но немка вовсе и не думала позволить «беженцам» занять «тетину» комнату в ее доме. Муж ходил в гостиницу, комнаты не было. Под вечер пошел снова. И снова ничего. Уложили тогда детей в тележку, и теперь все вместе отправились в гостиницу. На счастье, кто-то как раз освобождал комнату, мы быстренько туда! Потом только сказали хозяйке гостиницы, кто мы такие, в каком номере, давайте, мол, ключи! Пронесло! Все в порядке! В безопасности!

На другой день муж поспешил за оставленной у дерева тележкой. И надо же, в тот момент, когда он подходил к этому месту, видит — незнакомец уже собирается ее увозить! Видно, суровое лицо мужа убедило незнакомца отдать тележку по-хорошему.

Деньги, заработанные мужем на складе в Зебнице, истратили. Были только те, подаренные одним прохожим на память, пять рейхсмарок. А было это так. Истекая потом, тачили свои, казалось грузенные кирпичами, тележки. Заметил нас один прохожий. Идет он рядом с мужем и спрашивает: «Что, тяжело тачить!» Муж объясняет, что нет, мы, мол, просто «играем в лошадики». Тогда прохожий открывает кошелек, достает пять марок и подает их мужу. *Danke schön!*

Вымыла малышей в тазу и уложила их в кровать. После них вымылась и я. Рассматриваю себя, голую, в небольшом зеркале. Четыре месяца «путешествуем» из Зебница! Ну и ну! Грудь моя двумя блинами свисает над ребрами . . . но лицо вроде ничего — здоровое, загорелое. Муж, тот вовсе не похудел, загорел только, как негр! Вот только Айя и Атис тоненькие, Айварс — ничего.

Начала разбирать продукты. Мешочки с горохом, бобами — почему их не выбро-

сила по дороге! Здесь, оказывается, полно этого добра. И этот еще кусок сала, что мать дала, пожелтевший, тая от солнца, он оставил след за тележкой, словно отметки на нашем пути — здесь мы прошли!

Узнали, что в этом городе есть клуб латышей. И началась новая жизнь в Кобурге. Однажды пошли в клуб на занятия по английскому языку. Айвара с маленьким Атисом оставила играть в парке, нааала ему присматривать за младшим братиком. Айиню — дома, привязала к ножке кровати так, чтобы она могла ползать по всей комнате. Дверь оставила открытой, вдруг она надумает плакать (соседи-немцы казались порядочными). Нас не было только два часа. Открываю дверь — Айиня сладко поспавывает на полу. Поспешила в парк. «Где Атис!» — спрашиваю у Айвара. «Он только что был здесь!» В парке Атиса нет нигде! Спрашиваю у старичка на скамейке: «Не видели ли маленького мальчугана в ботинках, как у утенка!» «Ну конечно, он по этой улице побежал во-от туда».

Я бегу по улице и кричу: «Атис, Атис!» Смотрю, у церкви стоят американские солдаты. Подбегаю, задыхаясь, к ним. Так, мол, и так. «О, этот, с такими *funny slippers!* Да вот он сидит на пригорке». Рот набит шоколадом, сам измазался до ушей. Парни смеются и показывают ему всякие штуки. Плача, подхватила его, прижала к груди, ну и надавала как следует. Солдаты стали защищать малыша.

Когда я успокоилась, разговорились, и я рассказала о своем путешествии, и почему мы оказались у американцев. И эти удивлены — русские же их друзья! «Помните мои слова, если русские окажутся сильнее вас, они отнимут и у вас свободу!»

Снова мы все вместе в нашей комнате, сидим счастливые. Но что это! Мешки раскиданы — все наши новые вещи, которые с таким трудом везли, украдены! На следующую день, идя в клуб, берем детей с собой. Потом стали ходить в клуб по очереди.

Поползли слухи, что американцы будут отсылать латышей в Латвию. Не в себе от мысли, что снова придется тащиться с тележками, теперь уже на север, в английскую зону, муж слоняется по городу. Это уж слишком! В Лондоне живет его двоюродный брат Янис, есть надежда перебраться к нему в Англию. С четырнадцати лет, еще в 1905 году, стал он плавать и больше не возвращался. Впервые, после 1905 года, муж виделся с ним 50 лет спустя, когда его корабль заходил в Мельбурн. Сейчас июнь, на север дойдем, может быть, только к декабрю. Грузовик ведь не достанешь — кто будет связываться с детьми!

Как-то однажды муж заметил солдата: еще в «униформе», тот стоял возле лошадики (маленькой такой, с большого черного kota), которая вместо телеги была впряжена в большой ящик на резиновых колесах. Муж подходит и говорит: «Смотри-ка, счастливый человек — лошадь и телега!» «Нет, как раз наоборот», — отвечает немец. Он, видите ли, несчастлив, одените мол, меня, дайте табачку да велосипед, тогда все это будет ваше. Муж упросил его чуток подождать — все достанет, а сам бросился в гостиницу. На счастье, у него сохранилась большая горсть табаку и взятые нами еще из дома два хороших костюма. Один из них, получше (пошит из английской шерсти и куплен в военном экономе), отдадим солдату. А вот где велосипед-то взять! Вдруг открывается дверь, и один латыш, собиравшийся бежать во французскую зону, просит перевести

* «Добро пожаловать» (нем.).

* Привели в беспорядок (нем.).

документы на английский язык. А велосипед у вас есть! Как же, даже два! Тут же на месте решили, что вместе с его семьей на этой лошадке поедем в английскую зону. У земляка нашего тоже жена и трое детей.

Вот так мы снова отправляемся в странствие по полям, подальше от этого Кобурга. Дети и вещи в «телеге», взрослые — пешком. Вошли в одно село, там «голова» дает нам для временного прибежища целую комнату! Спутники наши живут по соседству. Попросила было у немцев продуктов — не дают. Подняла шум. Пришедшему «голове» говорю: «Никакие мы не русские. Латвия России не принадлежит, и у нас еще есть свой консул в Лондоне». «Gnädige Frau¹⁰, неужели у вас консул в Лондоне!» Но продукты все-таки велел для нас принести, а самое главное — молоко.

И снова мы встревожены! Американцы все же отправляют беженцев в Латвию!

Муж поспешил к голове и наговорил ему и то, что мы были друзьями немцам, и что свою дорогую шубу подарил немецкой армии, и еще много чего. Голова успокоил, что пока приказа о задержании беженцев от американцев не пришло, он может быть здесь завтра утром. Посоветовал, не откладывая, немедленно исчезнуть. Соседка наша на свою беду только постирала белье и протестовала, надо подождать, мол, пока все высохнет. Муж как прикрикнет: «А ну, живо грузиться!» Ох и пытели наши спутники, но живо собрались и отправились мы дальше.

Как же быть с документами, ведь их спросят при переезде из зоны в зону! Их нет ни у нас, ни у них. Напарник мужа, оказывается, он бывший буфетчик, дает хороший совет. Муж в английском костюме должен с сынишкой проехать вперед на велосипеде. У таких пропуска не спрашивают. А госпожа Леня пусть попробует заговорить зубы американцам. У границы огромная очередь. Смотрим, муж с мальчиком проехали без задержки. Нервничаем. Очередь доходит до нас. Permit, please!¹¹ Как permit? Разве мой муж вам его не показал! Тот, в английском костюме! Двое американцев отвечают: «What English overall?¹² What are you talking about?» И начинают хототать. Я пытаюсь улыбаться. В конце концов, это же так забавно. Затягиваю песню: «It's a long way to Tipperary», — парни сразу подхватывают. Люди ждут, нервничают, а мы, знай себе, соревнуемся в остроумии. Наконец, один из G. I. поворачивается ко второму и говорит: «She speaks English — let her pass»¹³. Поклонился мне и — Good luck!¹⁴.

Пока еще все-таки не в английской зоне. Решили идти в сторону моря, поближе к Англии. Вечно в поисках ночлега. Если замечали у дома женщину-хозяйку, тогда вперед шел муж — заговаривать ей зубы на хорошем немецком языке. До сих пор ему это удавалось. В этот раз возвращается и говорит, что попала старая, не уговорила. Дает только сарай. Друзья наши было согласились, а я — ни в какую. Беру Айнию на руки и, найдя хозяйку, мило спрашиваю разрешения переспать на полу в доме. Детки, говорю, очень спокойные. А вшей

у вас нет! Притворяюсь, что не расслышала, и восклицаю: «Что у вас есть вши!» Ну, тогда, конечно, мы здесь спать не будем. Я учительница и привыкла к чистоте. Она стала мне объяснять, да не у нее мол... Прерываю ее: «Как хорошо, что у вас нет вшей и все так чисто. Danke schön, vielen Dank»¹⁵. С благодарностью ее принимаю. Совсем сбита с толку, она отвела нас в чистую комнату, застланную мягкими коврами. Еще и молочными клецками угостила.

На следующий день пришлось снова познакомиться с американцами. Бойкий немец, в кабаке у которого устроились на ночь, дал нам комнату, заставленную длинными столами и стульями. Столы мы сдвинули вместе, на них и улеглись. Но вскоре за стеной поднялся шум, там проходил «прием» — в гостях у американских солдат были немецкие «фрейлейн», скоро они разгулялись вовсю. Действие временами переходило на лестницу, там очередная из девиц отбивалась от слишком назойливого парня. Муж никак не уснет. Встает, стучит к ним в дверь, открывает ее и говорит, что жена с детьми не могут уснуть. Я открыла было дверь на лестницу — там какой-то солдат пытается устроиться с девкой на лестничной площадке, в ужасе ее захлопнула. На некоторое время вроде притихли, а потом снова — дым коромыслом! Парочки так и ходят одна за другой через нашу комнату на лестницу. Муж всегда спал крепко, и сейчас заснул, как только коснулся головой сложенных одеял. А я, почти уже привыкла к шуму в гостиной, не могу уснуть из-за этой возни на лестнице и хлопанья дверей. Они, бедняшки, хоть и стараются все делать тихо — на цыпочках проскальзывают мимо моего стола и детей, все равно заснуть невозможно.

Подъем в шесть утра. Из гостиной выходит заспанный американец и, усевшись на край стола, извиняется за прошедшую ночь. Стал показывать фотографии своей невесты и все вопрошал Бога, понравится ли он ей еще! А с детьми нашими совсем расчувствовался: все шутил и играл с ними, пока не распрощались. Кабатчик тоже извинялся за ночную попойку, парней, мол, надо понять — они так далеко от родины. Но вот все позади, и мы снова поглощены дорогой.

Ближе к северу села уже не встречаются. Деревенские дома стоят довольно далеко друг от друга, как в Латвии. Как хорошо идти по дороге в тишине, лишь изредка ее нарушают проезжающие машины. Вдоль дороги даже яблоньки стоят полные спелых яблок. Наши соседи только и знают, что трясут деревья и собирают их. Дошло до того, что даже пришлось сделать им замечание, оставьте, мол, и тем, кто растил их, хоть немного. А в поле — картошки, моркови — бери не хочу. И там наши соседи «снимают» урожай. Я тоже говорю мужу, чего он ждет, нам тоже витамины нужны. Смешно, никогда еще не видела такого трусливого «воришку», как мой муж. Не удержалась, рассмеялась, смотря, как он — быстренько, пригибаясь, подкрадывается, выдергивает морковку, а потом, вытягивая голову, оглядывается по сторонам: как бы какой немец не увидел. Спутники наши, те смело заходят в борозды и наполняют корзину до краев. Они решили и на нашу долю приготовить обед, нам ничего, мол, не придется делать. Напарник мужа удивительным образом ухитрялся всегда приготовить 18 порций на девять человек!

Масла, яиц, молока — сколько влезет, и это на пятерых детей и четверых взрослых!

Только вот бедной нашей черной лошадке упряжь основательно растерпашею. Каждый подает свой совет, чтобы бедное животное не страдало. Муж-то мой ведь сам из крестьян, все живое ему близко и понятно. Подружка наша обмолвилась: «Была бы мягкая запрячь шкурка...» «Ну, так давайте ее сюда», — резко оборвал муж. Все-таки постарались облегчить страдания лошадки — смазали ей маслицем рану. Смазали и колеса, чтобы было легче везти.

В ближайшие несколько дней ничего особенного не произошло. Вот только Айварс раз упал с телеги под ноги лошадке, так та сразу остановилась.

Кассель, через который мы проезжали, казалось, вымер полностью, такая там была жуткая тишина. От домов, стоявших когда-то вдоль улицы, остались одни трубы. У засыпанных подвалов кое-где виднелись венки. Показалось, что идем через этот город целую вечность. Дети — и те переговаривались шепотом. Каждый из нас словно ощутил дыхание того огненного ада, в котором погибли эти бедные люди и, конечно, среди них дети...

Переночевали в совершенно пустом доме, опять на полу в комнатах верхнего этажа. В этом городке узнали, что здесь собралось много латышей и им выдают временные паспорта. В это место и поехал муж на велосипеде. По дороге домой, разгоряченный, он выпил целую кружку холодного пива. Тем временем поднялся ветер, как назло у велосипеда сломался руль, мужу пришлось мчаться по спуску вниз без управления, покрививая прохожим «Поберегись!» Ночью подыывает меня: «Ужасно холодно!» И правда, весь трясется, посинел. Стала укутывать — не помогает. Побежала вниз, на кухню, вскипятила воды и залила кипятком все бывшее под рукой бутылки. Хозяйка тут же, суетится, помогает. Бутылки с кипятком помогли. К утру он согрелся, даже пропотел. А там через два дня и дальше пошли.

В Ольденбург пришли в сентябре. Вместе с другими беженцами поместили нас в «Доме работников искусств», как всегда достался чердак. Через пару недель обещали перевести нас в лагерь для латышских беженцев в Омстед, это недалеко от Ольденбурга. У мужа все-таки начался сильный кашель. Коричневое от загара лицо его теперь позеленело. Ну, думаю, здесь что-то не так. Ему едва хватило сил занести наверх тяжелый деревянный чемодан. Кашляет уже вторую неделю. Бегаю постоянно то вниз, то наверх — и посуду помыть надо, и уследить, чтобы дети к нему не подходили. Кормлю его до отвала всем, чем удалось разжиться по дороге у немцев: и яйцами, и медом, и яблоками, и маслом. И к тому времени, когда надо было перебраться в лагерь, он был здоров!

Потом только, когда проходили медосмотр перед отъездом в Австралию, мужа забрakovали, обнаружив в одном легком туберкулезный свищ. Мало того, врач еще предсказал, что жить ему осталось всего-то три месяца. Пришлось ждать очень долго, сделать множество рентгеновских снимков, прежде чем доказали австралийским врачам, что свищ зарубцевался, человек-то здоров!

До того, когда, наконец, уехали в Австралию, пришлось прожить в Омстед и Фалингбостеле довольно долго — до 1950 года! Но это уже совсем другая история, самое страшное было позади!

¹⁰ Милостивая госпожа (нем.).

¹¹ Пропуск, пожалуйста! (англ.).

¹² Какой английский костюм? О чем вы говорите? (англ.).

¹³ Она говорит по-английски, пусть проходит. (англ.).

¹⁴ Удачи Вам! (англ.).

¹⁵ Спасибо, большое спасибо! (нем.).

ЛЕГКО ЛИ СТАТЬ ЛАТЫШОМ
НА ЧУЖБИНЕ?

АВТОБИОГРАФИЧЕСКИЕ НАБРОСКИ И ФРАГМЕНТЫ



Моим дочерям Асе и Яне посвящаю

«Скажи-ка, старик, а легко ли стать латышом на чужбине?» — «Э, да что там, что рассказывать, ну рос, рос и вырос, кое-что из меня, как видишь, вышло, чего говорить-то? Как это было, как оно бывает? . . .» (Да простит меня Юрис Подниекс, что я так беспардонно переделал название его фильма . . .)

x x x

Как это было? Все началось, понятно, в кругу семьи, ведь первые десять лет я прожил (родился в 1951 г.) в небольшом южногерманском городке, где мы в то время были единственной (или почти единственной) латышской семьей. И все же, здесь я и выучился говорить по-латышски. Видно потому, что для домашних это был родной и близкий язык. Язык, на котором мама по вечерам читала со мной и моим братом Андрисом «Отче наш», язык наших детских сказок (но об этом чуть позже). Помню, нас с Андрисом уложили спать, в детской погашен свет, а из жилой комнаты доносятся приглушенные голоса, у нас гости, прислушиваюсь — читают стихи, по-латышски. Каких авторов, не знаю, может, поэтов нью-йоркской «Адской кухни», Чакса, Адамсона . . . Благодаря этим посиделкам, я — тогда еще под-сознательно — стал понимать, что у латышей есть свой язык, на котором можно и стихи слагать.

И все же: мы росли не в Латвии. Наша семья была крошечным островком посреди немецкого моря. За дверьми нашей квартиры начинался другой мир. Не чужой, а другой, так как во многих отношениях я не просто окупился в эту среду, но существовал в ней. Хотя бы потому, что друзьями моих детских игр были немецкие ребята, я разговаривал и на их языке тоже, а когда подросток, стал посещать местную начальную школу. Многие я, латышский мальчонка, открывал для себя по-немецки: например, что люди делятся на два противоположных пола, впервые узнал во дворе, за большим деревом (кажется, это был каштан), где мы играли «в доктора». Латышская община здесь, на чужбине, далеко не все могла дать мне для моего развития, и не по злой воле, а просто так складывались обстоятельства. Были пределы, через которые не переступишь, кое-кто наткнулся на них и в дальнейшей жизни.

Но покскачем крупной поросычкэй рысью назад в милое детство: сколько помнится, оба мира, латышский и немецкий, во мне, ребенке, не пересекались, границей между ними была дверь в квартиру (правда, у нас была хозяйка немка, которая, между прочим, присматривала за детьми, пока родители работали, но она как-то не оставила в нашей жизни следа, и чаша весов не склонилась в сторону всего немецкого).

Сейчас, спустя много лет, мне трудно сказать, почему — то ли под впечатлением

слышанных в раннем детстве латышских стихов, или потому что в нашем доме язык и письменное слово вообще были в цене, я сравнительно рано выучился читать, сначала, разумеется, по-латышски. Но с латышскими детскими книжками дело обстояло неважно: латышского детского издательства Байбы Витолини «Атвасе» в Стокгольме еще не существовало, а книгоиздательства беженцев, пожалуй, пеклись в основном о «большой» худлитературе (и вообще: перед великим исходом из Германии в конце сороковых — начале пятидесятых годов многие беженцы, видимо, полагали, что изгнание продлится недолго и вскоре они вернуться в освобожденную Латвию. А раз так, стоит ли тут, на чужбине, заботиться о выпуске детских книжек, вот года через два—три на родине . . .) И хотя из этого скудного запаса несколько вещей я прекрасно помню — к примеру, «Школу гнома Лаврентия», — все-таки моя страсть к чтению оставалась неудовлетворенной.

Пробел в какой-то степени восполняла бабушка со стороны матери, ныне покойная Берта Салиня, которая жила в «Дайнах» в Икшкиле (Огрский район Латвийской ССР). Еще в те старые времена, когда нынешний Комитет по культурным связям с соотечественниками за рубежом знать не знал, как выглядит связка книг, бабушка отправляла мне и Андрису латышские книжки. Вот они на моем письменном столе, листаю пожелтевшие страницы: сборник «Латышские народные сказки» — ах, какой бесконечно длинной казалась повесть о кобылицыном сыне Курбаде! (1956 г.), «Приключения Незнайки и его друзей» Н. Носова (1956 г.), «Доктор Айболит» К. Чуковского в переводе Язепса Османиса (1958 г.). Эти и другие присланные в те годы из Латвии книжки — герои и великаны, волки и черти, похождения и приключения — всплывают в памяти наподобие теплого детского одеяльца, сотканного из сказочных нитей. Ныне эти книжки стоят на полке у моих дочерей . . .

И еще одно воспоминание той поры: кроме книжных отправок и посылок, из которых после долгой войны с фанерными и матерчатыми упаковками высыпались на стол конфеты «Коровка» и «Мишка на севере», приходили нам из Латвии и газеты, не каждый день, но раз в несколько месяцев основательной пачкой; явление, насколько мне известно, среди латышей в изгнании в те годы достаточно необычное. Охваченный жаждой чтения, я не делал разницы между художественной литературой и публицистикой, глотал все подряд, и «Падомью Яунатне» с неменьшим интересом, чем сегодня. Прочитав соответствующую статью или обращение, я был готов сорваться с места, чтобы отправиться на комсомольскую стройку или на борьбу за уборку сахарной свеклы без потерь, скажем, в колхозе «Красный ком-

байн» Бауского района (надеюсь, жители района не обидятся на меня за то, что я внедрил у них вымышленное хозяйство . . .)

Прошу прощения, но тогда мне еще не бросались в глаза суесловие, пустота, а подчас и гротескность целого ряда призывов и лозунгов, которыми пестрели страницы «Падомью Яунатне», пожалуй, я не совсем ясно представлял себе, что это такое — колхоз. Моя отзывчивость, вероятно, объяснялась характерной для детей этого возраста романтикой, наивным желанием великих (и немедленных) свершений. Но с другой стороны, если моим мечтаньям и не суждено было сбыться, то знакомство с книгами и газетами из Латвии не прошло бесследно. Я, по-видимому, стал воспринимать как само собой разумеющееся то, что латышами зарубежья отнюдь не принималось безоговорочно и единодушно: латышские публикации можно, оказывается, читать и на чужбине, и в Латвии есть латышский народ, который там живет, работает — и, как видим, издает даже газеты и журналы на родном языке (не могу, однако, утверждать, что я догадывался, как на деле живут и с какими трудностями сталкиваются соотечественники на родине).

Мои представления заметно отличались от общепринятых тогда в нашей среде взглядов, что, мол, в Латвии разруха, люди ходят в рубище и голова у них занята тем, как бы утолить голод, тут уж не до культуры (я стучаю краски, но направление мыслей таким и было).

x x x

В начале шестидесятых годов наша семья очутилась на распутье. Мама умерла, и отец толком не знал, что делать с обоими сыновьями. Он прослышал, что в Мюнстере есть латышская гимназия (МЛГ) и при ней интернат. В нашем случае многое говорило за Мюнстер: ситуация в семье, дальнейшее образование — мое и Андриса (как-никак гимназия, аттестат об окончании которой признается западногерманскими вузами) и, конечно же, латышский аспект.

В Мюнстерском Латышском центре, где ныне расположены гимназия и интернат, перебивало немало гостей из Латвии. Они видят новое, светлое, современное здание. Но оно не похоже на тот заезжий дом, в котором размещалась когда-то, в начале своего существования в Мюнстере, МЛГ. Гревенская улица, 69, 3-й блок.

x x x

Небольшое отступление исторического плана. С окончанием войны в западной зоне Германии очутилось по меньшей мере 120 000 латышей: беженцы, бывшие легионеры, а также угнанные на работу в

рейх — вместе с такими же, как они, людьми других национальностей — так называемые Displaced Persons, то есть перемещенные лица. Редко кто из DP возвращался на родину, из латышей несколько тысяч, остальные начинали жизнь на чужбине, первые шаги свои делая в разбомбленной Германии.

Беженцы обитали в больших лагерях, в одном только эслингенском лагере в Южной Германии насчитывалось около 10 000 латышей. Они немедленно приступили к возрождению своей культурной жизни (а чем еще им было заняться, коль скоро искать работу за воротами лагеря запрещалось?): расцвели литературные кружки, оркестры, театральные ансамбли (наиболее значительной была труппа в Мербеке), и уже в 1946 году в Дитбахе состоялся первый праздник песни латышей французской зоны Германии. Даже латышская половая жизнь не осталась без внимания: в 1949 году издательство «Афродита» (!!) выпустила вышедшую в Латвии еще в 1931-м книгу доктора Т. Ван де Вельде «Супружеская жизнь. Ее физиология и техника», ну а те, для кого сей труд был неподъемным (152 с.), довольствовались брошюрой «Искусство любви» (20 с.), сочиненной и разукрашенной анонимным автором.

В послевоенных беженских лагерях действительно сложилась малая, или «вторая Латвия», были и свои школы. Одна из них, основанная в 1946 году в Детмольде, потом переведенная в Аугустдорф, в 1957 году очутилась в Мюнстере — это и есть МЛГ.

Вскоре выяснилось, что так называемый переходный период, короткий промежуток перед возвращением домой (мол, советская власть в Латвии долго не протянет, об этом позаботятся американцы, англичане, французы, все доброты), безнадежно затягивается. Картина проясняется: исторические события, следовавшие одно за другим с лета 1940 года, вбили клин между оказавшимися на чужбине латышами и их родиной, и пропасть все расширялась.

Выйти из этого состояния неопределенности помогла экономика стран Запада: переведенная на мирные рельсы, она стала бурно набирать обороты, обострилась потребность в рабочей силе. Зачем же, спрашивается, было содержать в Германии изнывающих от безделья и не желающих возвращаться домой беженцев, если можно найти им лучшее применение, пусть зарабатывают себе на хлеб насущный в США, Канаде, Австралии, в Англии и в других частях света, решение целесообразное и, с хозяйственной точки зрения, разумное.

Подобная перспектива подавляющему большинству латышских DP казалась куда более привлекательной, чем томиться от безделья в разрушенной Германии. К тому же на политическом горизонте стала вырисовываться новая конфронтация между Западом и Востоком, и беженцы, только что пережившие одну войну, не испытывали особого желания оставаться в стране, через которую проходила граница между двумя системами и которая при обострении конфликта могла первой стать театром военных действий. В случае сомнений: чем дальше от СССР, тем лучше — так можно было бы охарактеризовать настроение, царившее в лагерях беженцев.

Так в конце 40-х — начале 50-х годов латышские беженцы волна за волной стали расселяться из Германии во все страны

света. И еще как... Новые страны обитания, разумеется, не хотели принимать слабых и больных, им нужны были рабочие руки, поэтому кое-кто из латышей, оформляя въездные документы, представлял рентгеновский снимок здоровых легких своего соотечественника. Одна из причин того, почему я пишу эти строки не в Нью-Йорке или, скажем, Филадельфии, а в западногерманском городе Мюнстере, заключалась в состоянии здоровья моих родителей — оно не соответствовало требованиям, которые США предъявляли к своим будущим гражданам.

Но у всякой медали есть оборотная сторона: не одному латышскому учителю, чиновнику, врачу (не говоря уже о литераторе или актере) пришлось примириться с тем, что его довоенная профессия за океаном мало кому нужна. И вот профессор становился дворником, а уехавший в Австралию, безразлично кто — писатель или крестьянин — отработывал въездную визу подсобником (ну хотя бы на строительстве плотин на горных речках).

В процессе выезда число латышских беженцев в Западной Германии резко сократилось. Осознано или нет, но с тех пор как нога латышского беженца ступила на трап парохода, отплывающего за океан, изгнание стало превращаться в эмиграцию, а мысль о возвращении на родину отошла на задний план. Беженцы снова были в пути, но не домой, а прочь от дома; покидая Германию, они не приблизились к Латвии ни на шаг, и в прямом и в переносном смысле слова.

Пустели, закрывались один за другим лагеря DP; те, кто не получил желанных въездных документов, концентрировались в оставшихся лагерях. Последний из них разместился в Мюнстере, в бывших немецких армейских казармах. Потому переведенная сюда латышская гимназия и обрела этот несколько странный адрес: Гревенская улица, 69, 3-й блок (в Латвии, очевидно, сказали бы — 3-й корпус). Если мне не изменяет память, блоков было шесть плюс деревянные бараки. Здесь ютились не только около 200 латышей (в их числе учащиеся МЛГ), но и поляки, и другие восточноевропейцы. Правда, сегодня следов мюнстерского лагеря перемещенных лиц не найти: на его месте — главная городская станция пожарных и скорой помощи. От просторных казарм осталась половина блока, где — какая историческая преемственность! — обитают беженцы, попросившие в ФРГ политического убежища.

x x x

Говоря о своем детстве в Южной Германии, я уже упоминал, что наша семья была вроде крошечного латышского островка в немецком море. Лагерь на Гревенской улице тоже был своего рода островком, только гораздо крупнее и по отношению к окружающему миру намного более замкнутым. У меня не было почти что никакой необходимости выходить за ворота лагеря, которые теперь уже никем не охранялись: с утра я отправлялся в МЛГ, питался в интернатской столовой, досуг проводил вместе со своими соучениками (в Южной Германии латышских одноклассников у меня вообще не было). Мы с корешами гоняли по лагерному двору футбольный мяч, совершали набеги за витаминами (и ради спортивного интереса) на близлежащие семейные огородики (немецкие, конечно), с восторгом преда-

вались мальчишеским шалостям. Абсолютно нормальные пацаны и джуды (чужихи — Прим. пер.), но — латыши.

На мой взгляд, именно эта наша латышская нормальность — насколько можно о ней говорить в тех условиях — была самой характерной чертой лагерной жизни. Образно говоря, мы в бывших казармах теснились друг на друге (интернатские — по три-четыре человека в комнате), но при этом жили своим маленьким латышским кругом, был был общий и все остальные дела тоже делались сообща: юбилей, праздники, сплетни, интриги, ссоры. Благодаря относительной многочисленности и разнообразию, эта община покрывала значительную часть потребностей своих членов, специальные контакты с местным окружением, с течениями и событиями социальной жизни в Мюнстере были только более или менее регулярными. Но, с другой стороны, община была не так уж велика, чтобы удержать в орбите всех своих членов.

Когда задумываешься о своем латышском начале в те годы, на первый план выходит именно это ощущение общности. В мюнстерском лагере, как во всякой общине, латыши перечили друг другу, но по отношению к окружающему миру выступали единым фронтом. Помню, мы, мальчишки из МЛГ, непрерывно ссорились и дрались с польскими хлопцами, но, если требовалось, мгновенно заключали с «воинскими полячишками» «перемирие народов» и хором шли «бить фрицев» — лагерь беженцев против чужих ли не всего остального света.

Оглядываясь назад, я, конечно же, не могу не посмеяться над моим тогдашним мировосприятием: прожил первые десять лет, хотя и в латышской семье, но все же, в большей мере, в немецком обществе и попав затем в Мюнстер и беженский лагерь, я понемногу приходил к убеждению, что городишко у нас что надо, только тут какая-то ошибка: почему-то слишком много иностранцев, имеются в виду не латыши или поляки, а немцы! Третий блок на Гревенской, 69 — центр моего латышского и прочего мира, а все, что за воротами лагеря, — чужое, за граница, столь же дорогая и близкая сердцу, как едва различимая глазом звезда на задворках космического пространства.

По-видимому, никто не старался привить мне подобный взгляд, это получилось само собой, вытекало из образа жизни мюнстерского лагеря, этого латышского микромира. Конечно, играл свою роль и возраст, многое из того, что происходило тогда в МЛГ и нашем интернате, как нельзя лучше соответствовало до крайности наивным, как правило, романтическим устремлениям гимназиста.

И можно ли, скажите, не восторгаться такой школой, где однажды ночью ученик Р. З. попытался — неудачно, правда — взорвать унитаз в мужской уборной? Школой, где воспитанники У. и А. Г. давали по вечерам импровизированные концерты (набор музыкальных инструментов: гитара, кларнет, саксофон), на которые в тесной интернатской комнатке набивалась, занимая все стулья, кровати и забираясь на шкафы, чуть ли не половина учеников (пели также сентиментальные городские романсы — зингес и народные песни — дайны);

А развороченный кропотливым трудом (незаметно для руководства интерната) кирпич в стене между двумя комнатами — своего рода секретный телефон! Или осен-

ние набеги вечно голодных интернатских мальчишек на окрестные картофельные поля («выруби фонарик, кретин, чего устроил рождественскую иллюминацию!») и дележка нетрудовых доходов — совместное поглощение добычи. Тут, как нельзя кстати, были угольные печурки, которыми отапливались интернатские комнаты: когда кухня уже на замке, на них и варят и жарят. А если подкинуть в печку жаровню собранных во дворе каштанов, будет то, что надо: каштаны горят глухо ворча и потрескивая, отчего печурка разве что не пляшет. Эти гимназические годы во многом походили на нескончаемый пионерский лагерь со всей его романтикой и всеми его же сложностями: как сегодня помню, стою босиком в умывальной для мальчишек на вечно мокром полу и боюсь коснуться крана, уверен — тотчас, не слишком сильно, правда, ударит током. Таким обветшалым, обшарпанным и давно не ремонтировавшимся был этот мюнстерский беженский лагерь, однако в его латышской атмосфере чувствовалось бурление, жизнь и — на сей раз в переносном смысле — электричество.

х х х

Все резко изменилось, когда в 1965 году лагерь на Гревенской был закрыт. Его обитателей расселили по всему городу, дали квартиры, а МЛГ и интернат перевели в новое здание на Винбургской улице. В нем, самом что ни на есть современном, не нашлось места тому особенному латышскому духу, что витал в старых казармах. Может, больше всего пострадало ощущение: у каждого интернатского — за исключением мелких — теперь была своя комната, и куда-то пропало то внешнее давление, которое раньше заставляло тебя считаться с другими; в то же время вторая половина и особенно конец шестидесятых годов проходили на Западе под знаком индивидуальной свободы, и в этом понятии несомненно заключалась возможность захлопнуть за собой дверь, чтобы побыть одному. С этой точки зрения, новое помещение МЛГ было данью эпохе.

Наша семья тоже переехала на житьство в город, но Андрис и я — мы продолжали посещать МЛГ. Как ни странно, в противоположность «лагерному периоду», первые годы на Винбургской не оставили по себе ни одного яркого воспоминания, они как-то бесследно растворились в памяти.

Контуры моих воспоминаний делаются четче примерно с 1967 года. Честное слово, не скажу, какой леший меня попутал, но я вдруг решил, что МЛГ непременно нужен школьный журнал. Может, меня озарило потому, что, снова живя в близком контакте с немцами, я подметил одну вещь — почти во всех мюнстерских гимназиях выходили свои школьные газеты, журналы, бюллетени, вестники и тому подобные издания. Конечно, по числу учащихся — как и теперь, их было от 70 до 100 — МЛГ не могла соперничать с немецкими учебными заведениями, но препятствие ли это к изданию школьного журнала на латышском языке? Курам на смех, и когда все куры накудахтались, родился «Снипис» («Носик»): малыш достаточно шустрый и любознательный, но, по крайней мере в первом выпуске, довольно тощий — 14 страниц.

Две из них предприимчивый редактор (он же автор этих строк) избегая, видимо, в издательской деятельности знакомых всем собратьям по перу муж чистого листа

бумаги и не терпящей пустоты природы, заполнил своими стайерскими стишатами; уместилось два стихотворения, одно называлось, кажется, «Дождь». С высоты седьмидесятидневного дня умудренным взором я вижу, что содержание сего литературного опуса целиком отвечает его названию: серо, уныло; тогда я, конечно, так не думал. Вот, по всей видимости, еще одно обстоятельство, подтолкнувшее меня к основанию и редактированию школьного журнала МЛГ: кто, ответьте мне, может воспрепятствовать шеф-редактору печатать на страницах «своего» издания собственные вирши (упрощенная вариация на тему «кто платит, тот заказывает музыку»).

А что побудило меня попробовать свои силы в лирике? Ясно что — первая любовь. И пусть она в конце концов оказалась безответной — сердце В. У. было отдано «министру» финансов «Сниписа» У. Дз., дело не в этом. Именно несчастная любовь — во всяком случае, в известном возрасте — рождает неизбежные душевные муки, которые, в свою очередь, непрерывным потоком изливаются на бумагу в стихотворной форме. Таким образом, я мог не только посвятить моей избраннице поэзы, полные огня, но и печатать их на правах редактора. Это, как я полагал, не могло не тронуть девичье сердце: «Дорогая, любимая, подношу к твоим стопам эти строфы, опубликованные (!!!) в «Сниписе», благодаря чему с ними вскоре познакомится весь мир...» Расчеты романтика, однако, не сбывались, и вновь текли вирши, еще более щемящие, нежели черка. Ох, эти окающие и все же чертовски прекрасные юные годы...

Ну ладно, оставим в покое, так сказать, частные аспекты начального этапа создания «Сниписа». За окном — 1967, 1968-й, в западном обществе что-то сдвинулось: в США студенты вышли на улицы, протестуя против войны во Вьетнаме, майские события в Париже чуть не парализовали всю Францию, в ФРГ антиавторитарное студенческое движение и внепарламентская оппозиция во главе с Руди Дучке, неформальным лидером, чей маленький рост скрашивался непревзойденным ораторским искусством, обрушились на погрязшее в мещанстве старшее поколение и все еще живое наследие фашизма. Грандиозный Вудстокский фестиваль рок-музыки, марихуана и свободная любовь. И даже за межой, разделяющей в Европе Восток и Запад, — реформистское движение в Чехословакии, «Пражская весна» Александра Дубчека и его соратников (и как шок: скорый и насильственный конец «социализма с человеческим лицом» в августе 68-го, застойная «доктрина Брежнева»).

Другими словами, время бурлило, общественность волновалась, население политизировалось — и среди латышской молодежи Мюнстера, да и не только Мюнстера, не я один решил, что момент настал и пора приняться за что-то новое, поломать голову над чем-то необычным, невиданным, наступить кое-кому на любимую мозоль, подергать за хвост «священных коров» изгнания, эмиграции, выставить окна и двери и впустить свежий воздух, который растревожит муравейник нашей общины. Это тоже несомненно стало тем мотивом, благодаря которому «Снипис», начиная, пожалуй, с № 10 за 1970 год, набрал тираж в 1000 экземпляров. Распространяли его во всех уголках западного мира в основном выпускники МЛГ (Инду-

лис, Вия, Майя, Андрис, Гунта и все остальные — привет вам!).

х х х

«Снипис» выходил на латышском, с расчетом на латышскую молодежь заручежя, и волей-неволей не считал больше «латышский вопрос» как бы заранее заданным и однозначным, его позиция в отношении латышского начала была не такой гладкой, более задиристой, что ли, чем у старшего поколения, он сознавал, что возникает не в Латвии Ульманиса и не в «малой Латвии» на чужбине (имея в отношении Советской Латвии скорее туманное представление), а где-то между своим, латышским, и чужим, почерпнутым из влияния страны пребывания.

Да простят мне читатели цитату из самого себя. Моя «ведица» из шестого номера «Сниписа» (декабрь 1968 г., с. 11) своей умопомрачительной наивностью так замечательно передает охарактеризованную чуть выше атмосферу, что я не могу удержаться от длинной выписки. Сам заголовок «Почему?» — уже примета времени: конец 60-х на Западе был периодом великих вопросов и сомнений в «святой истинной правде». Прошу обратить внимание на радикальную орфографию (строчные буквы революционные!), а также отшлифованную в романах американского битника Джека Керуака, и прежде всего в книге «На дороге», — снова символ! на пути к новым горизонтам! — технику «потока сознания». А многоточие?! Это ведь первейший признак литературы глубоких мыслей и основательного содержания. Итак.

«стою у витрины... вокруг меня клубятся и мелькают лица... чужие, немецкие лица... может, поадеается английское, японское или негритянское лицо... чужие и все же знакомые... я ведь живу в этой стране... в Германии... я здесь родился... старые лица людей, переживших, быть может, две войны... и молодые лица тех, кто борется против войны и никогда не видел развалин... и русских... и американских бомбардировщиков... в ушах у них не звучал вой сирен... у меня в ушах тоже... они не видели и рисовых полей Вьетнама... прислоняюсь пылающим лбом к прохладному гладкому стеклу... и смотрю, как с погона американской армейской гимнастерки взлетает, полочется на ветру моя приевите [тесемка с латышским национальным узором, которая носится вместо галстука. — Прим. пер.]... откуда она там взялась?... стянута узлом... мои мысли тоже перепутываются... почему не отвязываю приевите с погона... не зажимаю в ладони... и не разжимаю пальцы над контейнером для бумаги под уличным фонарем... почему же... приевите упала бы на использованные автобусные билеты... на старые газеты... и мусор... и разве я смог бы раствориться в толпе... и забыть маленькую страну на берегу Балтийского моря... и могу ли я забыть, что земля эта — моя Латвия?... и разве я смог бы подойти к тому волосатику... и заговорить о Вьетнаме... и русских... и Дубчеке... верно, смог бы... язык этой (тут пропуск, похитивший из текста слово «страны») я знаю... но... не смогу ли я пойти домой и говорить на чужом языке... не хочу... не хочу, говорю я себе... не могу... невмочь... мои мысли рассыпаются у холодной витрины... я не могу... говорить по-латышски... почему, не знаю... упрямство... гордость... не знаю, и



Мой отец Оярс Г. Розитис вместе с сыновьями Андрисом (слева) и мною (справа). Снимок начала 1960-х годов.



Рождественский праздник в Мюнстерской латышской гимназии. Снимок 1960-х годов.

«Вправду нет... подхожу к волосатику и прошу огня... он смотрит на мою приевите... улыбается... щелкает зажигалкой... я рассказываю ему о приевите и маленькой стране на берегу Балтийского моря... и приевите полощется на ветру...»

Оярс»

«Забывать маленькую страну на берегу Балтийского моря» — в этой-то фразе и заключалось самое большое место моего тогдашнего отношения ко всему латышскому. Ведь я не покидал Латвию, тем более не родился там, даже еще не съездил туда ни разу и все же ощущал свою принадлежность к латышскому народу, был воспитан в этом духе. Я ни разу не имел случая усомниться в этом ощущении, хотя и взвешивал время от времени возможность ухода из местной латышской об-

щины, но от своего народа — никогда. А Германия, — место, где я родился и вырос, охотно живу здесь, знаю, что с нею связан мой жизненный путь, многое получаю от немецкого общества такого, что не может мне дать латышский круг на чужбине и чего мне иначе сильно не хватало бы, — все это так с Германией, однако я не принадлежу ей. Тут мой постоянный адрес, но не дом.

Это с одной стороны. С другой, мой дом, моя Латвия — где они, как и что? Как выглядела родина, о которой нам рассказывали в МЛГ на уроках латышской литературы и истории? То была Латвия писателей прежнего времени, но что же потом? По окончании 13-го, выпускного, класса мы не знали Ояrsa Вацietиса и Имантса Зиедониса. Это что, на Луне или какой-то там далекой звезде высадились неизвестные латыши?

А история? 700-летнее немецкое иго, сменявшие друг друга угнетатели, независимость Латвии в 1918 году, шумные препирательства в многопартийном сейме. В 1934 году Ульманис поступил далеко не демократично, но экономика пошла в гору, и в стране царили мир и порядок. Оккупация Латвии в сороковом, Страшный год, немецкое вторжение, латышские формирования на волховских болотах, Курляндский котел, капитуляция 8 мая 1945 года, потом два слова — коммунизм и русские, и в них квинтэссенция всего, что говорилось тогда о Советской Латвии, это были для нас синонимы ужаса и страха, голода и несчастья, серости и людей, одетых в мешки из-под сахара, Сибири и колхозов.

Сознательно или неосознанно сотканная из этих понятий картина была столь отталкивающей, что за нею уже нельзя было различить самого народа — тех, кто остался в Латвии или вернулся туда и действительно пережил тяжелые времена, чьи тяготы и лишения намного превосходили все, что пришлось испытать латышам, попавшим на Запад. Нас учили, что в результате исторических событий от единства народа и государства на родине осталась одна скорлупа, а ядро — на чужбине. Наш долг здесь, на Западе, высказывать то, о чем запрещено говорить народу там, в Латвии. (Но знал ли кто-нибудь в действительности, чего добивается этот народ и чего он ждет от нас? Не сказывалась ли здесь позиция «сами с усами, лучше знаем, что нам делать», благо мы на свободе?)

Признаться, мне эта позиция стала представляться ущербной, превратной в самой своей основе довольно поздно, когда учеба в МЛГ уже подходила к концу. Ирония была в том, что все мое воспитание, включая гимназию, выковало из меня пламенного латыша (правда, эмигрантского «покроя» и модели) — и вот именно поэтому я и засомневался! Мне нужно было как-то подкрепить мою латышскую сущность, и чем прочнее и солиднее, тем лучше, поскольку конец 60-х годов был временем дел, все пришло в движение, и я искал точку опоры в шатающемся мире. Но чем глубже я пытался тут, на чужбине, докопаться до основ, тем нестабильнее они мне казались. На дворе 1968 год, вокруг меня урбанизированная среда, и что прикажете делать с Латвией приевите, пастушков и рошиц? Что делать с народными песнями, если Дженис Джоплин и «Роллинг стоунз» намного лучше выражают то, что у меня на душе? Как быть с Райнисом, если мне гораздо ближе Джеймс Джойс и Джек Керуак? С народными танцами, когда мой мир сотрясает рок?

Мое латышское начало нуждалось не в ностальгии по народу, а в концентрированной подкормке, не в национальных музейных ценностях, а в жгучей современности. Вот и в политическом плане тоже: кто осуждает оккупацию Латвии в 1940 году, тот не может со спокойной совестью одобрять войну США против Вьетнама, где погиб не один выросший в Северной Америке молодой латыш — защищая, как нам внушали, свободу западного мира, а значит, и Латвии. Тем, кто уцелел на рисовых полях сражений, увы, пришлось испытать примерно то же, что спустя два десятилетия латышским парням, вернувшимся из Афганистана. С одной, может быть, разницей: на чужбине у латышей не было Рудите Калпина и Юриса Подниекса, которые, лучше поздно, чем никогда, вернули

все же общественному сознанию и народной памяти этих несчастных, со всей горькою правдой, со всеми цинковыми гробами...

Корни моего латышского склада несомненно уходят в семью, и без этих корней не было бы у меня ни родного языка, ни эмоциональных связей со своим народом. МЛГ продолжала лепить из меня латыша, выражаясь витиевато, обрабатывала меня в латышском духе. И уж какой образцово-показательный латыш получился: хор, народные танцы, хорошее, скажем так, хотя и ограниченное знание латышской литературы, политически правильные и боевитые, с точки зрения латышского зарубежья, речи и рефераты по случаю исторических памятных дат, сто или двести народных песен на слуху, приевите и т. п. Словом, вопреки препонам и рогаткам на пути национального воспитания вдали от родины и многогранной живой общественной среды из меня вышел бравый латышок: глаза сверкают, как у Лалчлесиса, и готов разить мечом всех врагов латышского народа, а вернее тех, на кого ему укажут пальцем.

Но тут пришла мятежная пора: как я уже говорил, в конце 60-х западное общество представляло собой бушующее море, целое поколение напрочь отвергло модели и штампы, предлагаемые «предками», и пыталось строить новую жизнь по своему образу и подобию. И поднесенная на блюде с национальной каемочкой сущность «настоящего латыша» стала казаться мне пресной, чего-то в ней не доставало. Я хотел, чтобы «латышское» было не музейным, а живым, злободневным, зависящим от меня самого, а не хранимым мертвым грузом в памяти; мое латышское начало требовало большей глубины, и наша зарубежная община не могла ее дать, латышское, по моему мнению, должно было быть осязаемым, из плоти, крови и трепетания духа — бледными видениями я был сыт по горло.

Не знаю, в каком году написал Янис Петерс «Не в сундуках, не в ригах», мне это стихотворение попало в глаза в сборнике «Зверобой» (1970), оно было созвучно тем мыслям и чувствам, что уже несколько лет буквально мучили меня: «Не в сундуках и не в ригах, не в старинных приевите / заключается миссия идыхание нашей сущности. (...) / Не зывайте к народному чувству, / не тштите вернуть лету постолы, гнедка и соху! / Души жернова — это вечная тяжесть / и там ликование народа, там его слезы / На дубовых корнях колыбели подвесьте / в пепле героев на земле и на небе / сами найдите достойную кровь — / прах и пыль вам ее не дадут! / ... детей учите не приевите, а свободе, / были ступы у предков, у вас — электрический молот, / Вращается мир, осыпается камень, плавится сталь, / рождаются новые песни, ни к чему причитания. / Дед, не стенай, не стенай, не стенай же — / отчизна одна и в крови неизменна.»

То были и мои заветные слова (хотя до поры до времени я их и не знал), свидетельство моей латышской веры.

Но где она, где эта вечная родина Петерса, облик которой народ в тяжком труде и борениях наделяет все новыми и новыми чертами? Где то место под солнцем, о котором латыш говорит — мой дом, мои корни на земле? Есть ли что общее в жизни латышей, протекающей в живой латышской среде, с тем, что делал и делаю я «на чужом пиру» (поскольку многое латы-

шам на чужбине в своем кругу недоступно)?

х х х

В 11-м номере «Сниписа» (июнь 1970 г., с. 4—6) я опубликовал вместе с Мартиньшем Буманисом и другими сверстниками своего рода манифест, это была попытка уяснить, как мы смотрим на старшее поколение. Исходным пунктом нашего очерка стали упреки ряда местных латышских газет, адресованные латышской молодежи за рубежом. Она, мол, утратила национальный облик, поскольку — по крайней мере так казалось кое-кому из старших — все больше увлекается наркотиками или агитирует против войны во Вьетнаме. Самоубийство одного 23-летнего канадского латыша дало повод к комментариям в таком роде, что, мол, «характерная для нынешней эпохи волна сомнений и мятежей, невежества и безысходности, несущая на гребне большую часть молодого поколения этого континента, не миновала и латышскую молодежь».

Мы писали тогда: «Идиллия латышского крестьянского двора безнадежно рухнула в нашем сознании. Мы понимаем и не собираемся отрицать — это мир представленный наших родителей, с другой стороны, мы отмечаем как факт, что выросли вне латышского двора в высокотехнизированной и урбанизированной среде. Мы вдвойне воспоены за пределами этого двора: мы не в Латвии, и мы не добры молодцы из латышского фольклора. (...) Это означает, что пастушок с дудочкой под мышкой превратился в длинноволосого парня, который привык говорить и думать, по крайней мере, в двух языках и существовать, как минимум, в двух культурах».

И дальше мы вопрошали: «Неужто латышский юноша в меньшей степени юноша, чем его американский, немецкий, шведский сверстник? Или юноша-латыш менее раним и обидчив, чем все другие молодые люди? Или латышский юноша глух к безобразиям этого мира, к войне, вражде и голоду?» И мы отвечали на все это твердым «нет!». Голод в Бангладеш, политика апартеида, концлагеря и тюрьмы были частицей нашего мира, с войной, которую вели США на залитых водой рисовых полях Вьетнама, мы тоже не могли примириться.

И в заключение: «Мы, молодые латыши, утратили покой замкнутого, неуязвимо латышского двора, рядом с ним очутилась чужая культура. Рядом с национальными костюмами и приевите в наших шкафах висят мини-юбки и шелковые галстуки, на наших книжных полках — вавилонское столпотворение, и говорим мы на нескольких языках. Все это уже невозможно отрицать, мы должны жить с этим двойным багажом. У нас, как и у каждого предшествующего поколения, нет пути назад, мы можем идти только вперед, но не тропой, проложенной предыдущим поколением, а той, что проложим мы сами. Вопрос изгнания мы решим иначе, чем наши родители, но мы решим его, так как это вопрос наш, нашего склада и нрава. Повторяем: мы считаем себя латышской молодежью. И, говоря словами одного революционера, представшего перед судом, мы надеемся, что история нас оправдает — та самая история, которая разверзла бездну между поколениями».

Должен признаться — делая выписку,

не могу удержаться от улыбки. Какой нравственный пыл, какая моральная категоричность («говоря словами одного революционера»... как мы посмели! Среди латышей!.. Латыши и революция — это ведь два несоединимых понятия!) Когда я думаю о своих ровесниках в Латвии, мне представляется, что они в те годы только покачали бы недоуменно головами, узнав о наших проблемах, — и впрямь, ну что за проблема сосуществования национального костюма и мини-юбки в платяном шкафу или разноязычных книг на полке! — для них, полагаю, приемлемо было и то, и другое, но прошу учесть обстоятельство — у нас не было таких широких возможностей.

После выхода 11-го номера «Сниписа» нас постигло глубокое разочарование — наш «манифест» не оставил в латышском зарубежье почти никакого следа, а мы-то рассчитывали завязать большой разговор, диалог, прототип новый путь... все ушло как в вату, истаяло, не высеклось ни одной искры. Нет, один комментарий мне запомнился: некий седовласый господин весьма почтенного возраста, руководитель крупной эмигрантской организации, повстречав на одном из вечеров в МЛГ редакторов «Сниписа», пробурчал: «Сибирь (!!!) по вам плачет...»

Так или иначе, но мне представляется, что наш тогдашний очерк касался существенных вопросов, по крайней мере, в трех направлениях. Во-первых, он давал понять, что для нашего поколения латышское начало уже не было таким непосредственным, само собой разумеющимся и «чистым», как у наших родителей, мы не могли, да и не хотели отбрасывать те влияния, с которыми волей-неволей столкнулись в странах обитания. В этом плане мы были максималистами: стоя двумя ногами на латышской платформе, мы требовали себе все: латышское и то, положительное, что связывало нас с чужой средой. За узкими горизонтами латышского начала на чужбине мы искали нечто более полноценное, такой угол зрения, который соединил бы в нас латышское и чужое, где бы латышское не заслонило собой остальной мир и который допускал бы новое, более современное качество латышского. Попытки выбить из нас все «нелатышское» мы считали призрачными, в нас они не могли найти никакого отклика. Мы хотели исхода из своего, пока более чем скромного опыта, быть латышами и «нелатышами» одновременно.

С понятием полноценности, нового качества тесно связан и другой аспект нашего «манифеста»: своего рода тоска по «нормальному латышскому складу ума и души», по такой латышской сущности, которая бытует постоянно, и в будни, и в праздники, а не только на досуге, после того как ты отработал свой урок ради хлеба насущного в интонационной среде. Жить латышской жизнью на досуге, так же, как немец, допустим, поливает цветы на своем огорожке или американец моет свой лимузин, — увольте, этого нам было мало. Но проводимая эмигрантскими организациями так называемая политическая борьба за независимость Латвии не могла заполнить эту пустоту: к чему будить совесть американцев в отношении свободы для Латвии, коль скоро эта страна хочет стереть бомбами с лица земли самостоятельный Вьетнам?

И третье: мы собирались решать вопрос изгнания иначе, чем наши родители. Но изгнание немислимо без той земли, кото-

рую покинули изгнанники. Новое решение этого вопроса требовало по-новому взглянуть на Латвию.

х х х

В этом месте мое повествование вновь приближается к началу: к газетным и книжным отправлениям, которые я получал от своих рижских и огрских родственников. Да, зарубежные латышские газеты любили поучать нас, что в Латвии нет ну ничегошеньки, одна разруха, ужас и притеснение, — помилуйте, откуда тогда эти издания, которые пишутся на чистейшем латышском языке и год от года становятся все читабельнее? Но в свою очередь: если эти издания приходят из Латвии, то насколько можно верить утверждениям о том, что там царит жуткая пустота в смысле всего латышского (в притивес здешнему расцвету «настоящей», «вольной» латышской жизни)?

Разумеется, я тогда совершенно не представлял себе, в каких условиях живет там, в Латвии, латышский народ, но в одну по крайней мере мои сомнения пошли на убыль: народ жив и способен творить, и во всех его проявлениях латышского гораздо больше, чем я мог подумать. Может быть, именно там и скрыт ответ хотя бы на некоторые вопросы о настоящем латышском складе, которые терзали меня вот уже продолжительное время? Но проверить, есть ли там эти ответы, в те годы было сложно: латышское зарубежье считало нежелательными такие связи с Латвией, которые переходили границы обычной переписки с родственниками, контакты ведь вольно или невольно могли послужить интересам «враждебной власти».

Летом 1970 года я окончил Мюнстерскую Латышскую гимназию и несколько дней спустя впервые отправился в Ригу к родственникам. Летом 1971 года побывал там вторично. Вот может быть, самое яркое впечатление от этих поездок: Латвия показалась мне знакомой. словно очки, держал я перед собой укоренившееся во мне представление об этой стране, наблюдал (в пределах того, что мне было позволено) — и испытывал неопишное чувство: контуры моих представлений в основном совпадали с действительностью. Я увидел, что и вправду есть на белом свете такая земля — Латвия братьев Каудзите и Чакса, она изменилась, а как же иначе, но в сущности осталась неизменной. Это была страна, где живут, работают, борются латыши: осозаемые, «наглядные», день ото дня, сиюминутно, во всех сферах жизни. Много латышей, и все они разные.

Закончить эту статью мне хочется выдержками из своих «Латвийских заметок», напечатанных в 15-м номере «Сниписа» (декабрь 1971 г., с. 17—22). Для верности я укрывался тогда под безобидным псевдонимом «Юноша» — что ж, такое время было на дворе, такие нравы, связи с Латвией требовали предосторожности. Я начал свои заметки с вопроса: «Что такое, вообще говоря, дом? Там ли наш дом, где мы чувствуем себя дома? Или там, где испытываем духовный комфорт? А может быть, там, где четыре стены, кровать, кресло, стол?»

«Когда я в первый раз приехал в Ригу, я готов был кричать от восторга: такой близкой и милой показалась мне Рига. Я действительно чувствовал себя как дома. Не потому, что жил в этом городе, и не потому, что задумывался о тамошней идео-

логии, но просто потому, что вся атмосфера Риги была по-домашнему уютной. Я просто принадлежал Риге, и Рига принадлежала мне. Ладно, и вот я приехал назад в Германию. Назад — тоже домой? Еще более странными были мои чувства, когда я узнал, что нынешним летом вновь смогу поехать в гости в Ригу. Как на этот раз — из дома домой? Две столь разные вещи, как жизнь на Западе и жизнь в Риге, не могут означать одно и то же, а именно, дом. Дом у человека только один.

Мне кажется, нам в изгнании надо решить для себя, где мы дома. Мы можем быть дома в Латвии, потому что там живет латышский народ, жив язык. Мы можем быть дома в изгнании, набивать желудки и нежиться на солнце с сознанием, что мы на свободе, а связи с Латвией именовать пропагандой, инфильтрацией и красной заразой. Не думаю, что мы не могли бы жить в изгнании и одновременно по меньшей мере душой быть дома в Латвии. Это возможно, если сознаешь, что община в изгнании — это часть твоего народа за пределами Латвии, а не какой-то самостоятельный организм, чьи связи с Латвией остались в прошлом. Если изгнаническое общество не найдет своего духовного дома в живой Латвии, оно превратится в механизм самоудовлетворения. Если духовным домом изгнанников будет чужбина, как то место, где дела у них идут хорошо и где они могут толкаться в двери неотзывчивых и занятых господ (у которых латвийские проблемы в лучшем случае наполняют корзины для бумаг), то община в изгнании действительно окажется усохшей ветвью народа. Для прививки и переноса из поколения в поколение западной идеологии личного благополучия и мещанства в латышском начале нет никакой необходимости, хотя несомненно легче вести латышский образ жизни на досуге (в качестве хобби), чем строить активные отношения с людьми, со своим народом.

(...) Не верьте, когда вам говорят, что в Латвии ничего нет. Там есть очень многое — там наш народ. В Латвии латышский язык имеет свое значение. И мы в изгнании говорим по-латышски, мы только толком не знаем, зачем. (...) Нам, молодым людям, обретающимся на чужбине, надо вернуть наш язык туда, где он пребывает в настоящем времени, — в Латвию, в сегодняшний день. Там он наполняется содержанием, отсутствие которого подтачивает нас здесь. Если мы не ведаем, зачем любить свой язык, мы его не осваиваем, мы только им пользуемся. Любить же в языке можно лишь то, что является его историческим содержанием. История включает в себя и настоящее. Остается одно — учиться у истории, и у сегодняшнего дня тоже».

И вот несколько слов, которые внезапно возвращают меня в сегодняшний день: «Если латышский юноша гибнет во Вьетнаме, это очень больно. Это подрывает жизненную силу народа, в которой мы сейчас нуждаемся больше, чем когда-либо. (...) Латыши, погибавшие во Вьетнаме, погибали во имя Америки. (...) Когда я обсуждал эту проблему с латышами в Латвии, они не понимали, о чем я говорю. Они не понимали, потому что у них перед глазами были конкретные реалии жизни в Латвии. Они при всем желании не могли разглядеть ни единой крупинки завоеванной на рисовых полях Вьетнама свободы», в то время как США стремились насадить ее там и от их имени.

Не странно ли, что газеты латышского

зарубежья постоянно писали о латышских парнях, сражавшихся в рядах Советской Армии в Афганистане и потерявших там зрение, руки, ноги, а порой и жизнь, как о несправедливых жертвах этой войны, а о тех латышских парнях, которые в рядах армии США воевали во Вьетнаме, — как о героях (правда, после окончания войны о них предпочитали молчать)? Одни, видите ли, против своей воли шли в бой, сражаясь с борцами за свободу, а другие в согласии со своими убеждениями в далекой Азии стояли с оружием в руках на страже свободы западного мира — не вьетнамцев же! (впрочем, я знаю латышских ребят, которые бежали от призыва в американскую армию...).

А в Латвии живет писательница Илзе Индрене, и я цитирую: «(...) Латышский народ. Обратить свои взгляды на землю, где рядом лежат пятнадцатилетняя комсомолка и восемнадцатилетний легионер. Там, в сырой земле, между ними нет спора о том, чья смерть была ужаснее, чья кровь горячее, земля Латвии их сроднила навеки. Они прорастают зеленым побегом на могиле — известной или безымянной — и над их головами должно развеваться знамя с белой-пребелой полосой мира, символом мира на флаге» («Падомью Яунатне», 8 сентября 1988 г., с. 4).

А мир — это вопрос выживания. И для латышей тоже.

х х х

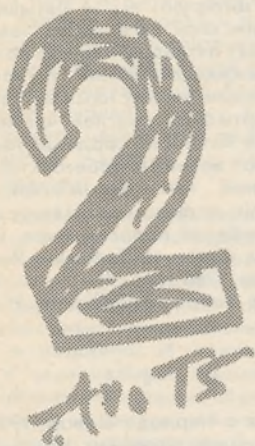
Этот рассказ о периоде между 1951 и 1971 годом всецело отражает мое видение. Я даже не могу сказать, сколько было на чужбине молодых латышей с таким же взглядом на это время и задачи, которое оно выдвигало, хотя меня одолевает законное подозрение, что было их не так уж и много: большинство моих сверстников шло, не очень раздумывая и сомневаясь, по проторенной дорожке. И все же: несмотря на то, что я описал здесь в основном свои собственные метания, мои собственные попытки решения «латышского вопроса» в условиях зарубежья, меня не оставляет надежда, что из этого рассказа можно догадаться, в чем заключался (и все еще состоит) этот вопрос, перед которым стояли мы все в равной мере (и стоим до сих пор).

Мюнстер, начало ноября 1988 г.

Биографическая справка

Родился в 1951 году в Баден-Бадене (ФРГ), учился в немецкой начальной школе в Раштатте (1958—1961), в Мюнстерской Латышской гимназии (1961—1970). Был редактором школьного журнала МЛГ «Снипис» (1967—1970), редактором журнала «ЭЛЯА. Информация» молодежного объединения латышей Европы (1971—1973). Соорганизатор 1-го семинара по культуре Советской Латвии во Флоренце (1973). Занимал ряд постов в упомянутом объединении. С 1970 г. по настоящее время изучает социологию, английский язык и литературу, а также коммуникционные науки. В 1976 г. женился на выросшей в Австралии латышке Ласме Залькальне, в семье растут две дочери — Ася и Яна. Автор многочисленных статей в латышских и немецких газетах. В последнее время занимается в основном вопросами экологии, общественной и культурной жизни Латвии.

«... И МЕЧТУ СВОЮ— ЛАТВИЮ»



Дайна Витола.

Беседа Эвы Рубене с преподавателем латышского языка Мюнстерской (ФРГ) латышской гимназии Дайной Витолой



Эва: Сколько лет ты уже работаешь в Мюнстере?
Дайна: С 1980 года. На первых порах вела несколько предметов, в том числе латышский язык, в начальных классах. В 1982 году уехала в Америку, в Каламазу — там занималась в Латышском учебном центре. Через год вернулась в Мюнстер, и с тех пор преподаю только латышский язык. Нагрузка немалая — 30 часов в неделю. Для немецкой школы это было бы очень много, там максимум — 24 часа в неделю. Много времени уходит и на подготовку к урокам. Трудности доставляет то, что дети — выходцы из разных стран — США, Швеции, Канады, даже из Новой Зеландии, Колумбии, Саудовской Аравии. Наши учителя владеют многими языками, к ним и прибегаем, если ребенку вначале трудно обходиться латышским. Если требуется что-либо пояснить, приводим примеры на других языках.

Главная проблема в том, что у детей очень разный уровень латышского образования. В больших городах, где действуют весьма крупные латышские организации, дети получают всестороннее латышское воспитание и образование. В маленьких же городах латышским языком пользуются лишь в домашнем обиходе. Ребенок, воспитавшийся в такой среде, доставляет немало хлопот. Но зачастую именно эти дети особенно стремятся к латышскому мироощущению.

Самую большую проблему для детей составляет то, что, оказавшись в нашей школе, они вынуждены все предметы изучать на латышском. Ведь до этого, посещая субботние школы, они лишь вскользь касались истории и географии, а то, что по-латышски можно формулировать мысль в биологии и математике, они даже не подозревали. Некоторым приходилось чрезвычайно трудно.

— Какие учебники ты используешь?

В нашем распоряжении очень хорошие латышские учебники, изданные в эмиграции. Авторы — Валерия Берзиня, Лидия Зиемеле, Язепс Лелис. Есть и несколько сборников упражнений для нелатышей. Объединение латышей Америки издает книги, предназначенные для субботних школ, но они мне не подходят. Я за несколько недель прохожу то, что они осиливают за год. И требования мои более высокие — стремлюсь к совершенству. Сама составляю упражнения, использую здесь, в Латвии, изданные учебники, а в качестве материала для чтения — газеты, журналы. Читаем, беседуем о прочитанном. Большое внимание уделяю разговорной речи — ведь запас слов, построение речи у латышей в Латвии и вне ее довольно сильно отличается. Я стараюсь развивать разговорную речь — чтобы не получилось так, что, встретившись через несколько лет, мы не поймем друг друга.

Трудность и в том, что нынешние дети языком страны обитания владеют значительно лучше, чем латышским. Дети моего поколения не владели ни немецким, ни английским, ни шведским — мы учебу начинали как латыши. А для моих теперешних учеников латышский язык чуть ли не иностранный.

— В чем ты видишь смысл своей работы, ведь известно, что уже в 3—4 поколениях эмиграция кончается, процесс ассимиляции почти неизбежен. Что ты чувствуешь именно как преподаватель языка, зная, насколько силен тыл другого языка, и то, что эти дети, скорей всего, никогда не будут жить в Латвии?

— Почему мы так стремимся воспитывать их латышами? Я думаю, что сила инстинкта, как у животных — оберегать своих. Это явление глубинное, врожденное, — удерживать потомков в своем русле: я латыш, и дети мои должны быть

латышами. Мне кажется, отцы наши и матери не анализировали это, они просто хотели передать своим детям то, что некогда было реальностью для них самих — язык, фольклор, традиции и мечту свою — Латвию.

Я отвлеклась, однако мы ведь о работе. В минуты отчаяния, правда, всякие мысли приходят: к чему все это, какого черта мы воспитываем их латышами. Но иначе нельзя! И работаю я не столько для того, чтобы они вернулись в Латвию, как для того, чтобы они ощутили общность со своим народом не только на Родине, но и со своим народом в Австралии, Швеции, Бразилии, повсюду в мире. Чтобы, приехав в Латвию, им не приходилось краснеть за свой латышский язык. Меня воодушевляет то, что через меня они обретают возможность поддерживать связь с Латвией. В минуты духовного взлета, я, конечно, умозрительно вижу, как все мои ученики собирают чемоданы и едут домой, но... будем реалистами.

— Мне представляется, что латыши в эмиграции гораздо выше, чем мы чтят свою принадлежность к латышскому народу. Да и познания в традициях, фольклоре, истории Латвии там намного глубже, чем здесь.

— Это понятно. Выросли мы среди чужеземцев, а они интересуются, спрашивают, что да как, какова история Латвии, что вы делаете в Сочельник, почему красите яйца на Пасху? Не сумеешь ответить, — останешься в проигрыше, а мы там, за границей, высоко держим честь и достоинство своего народа. Это во-первых. А во-вторых — родители наши отчаянно старались развить в нас латышское мироощущение. У нас нет той физической среды, в которой есть на что указать: вот мой отчий дом, вот мамина школа. Нам свой «отчий дом» приходится строить на фундаменте фольклора, народных традиций. Мы лишены всего, и именно поэтому мы «возделываем» нашу принадлежность к латышскому народу.

— Сегодня во всех народах ощущается большой, истинный интерес к своим корням, к родовому дереву. В какой степени это проявляется среди латышей вне Родины?

— В этом смысле латыши не являются исключением. В эмиграции создаются центры, куда родители везут своих детей. Это Каламазу, Мюнхен, Стокгольм, Лондон. Проблема в том, что не говорящих по-латышски детей все больше.

Расскажу о самом молодом центре — в Англии, где теперь устраиваются летние лагеря. Вначале была мысль: собирать как можно больше детей, а там уже дети, говорящие по-латышски, потянут за собой и остальных. Опыт, однако, показал, что язык страны обитания естественным образом оказался сильнее. И родители детей, владеющих латышским, отказались: «Зачем же мы стараемся говорить дома по-латышски, поддерживать национальный дух, если одно лето в лагере сметает все усилия. Съезжаются дети, не владеющие латышским, и все, конечно, начинают говорить по-английски».

Создали два потока: владеющие латышским интенсивно занимаются в соответствии со своим уровнем, а те, кто являются латышами, но языком не владеют, слушают в основном лекции на английском — о культуре и традициях нашего народа, разучивают песни, наши игры, хороводы. Пока они этим довольны, удовлетворены приобретенными знаниями. Полагаю, что воспитывать их латышами весьма нереально. Но если мальчика зовут Джон Берзиньш, то пусть знает, почему именно Берзиньш, а не Смит или Джоунс.

Но в целом явление это, конечно, приятное — родители умышленно меняют место жительства, ищут среду, в которой дети более сильно ощущали бы латышский быт.

Я выросла в маленьком городке Северной Англии, латышей моего возраста там было мало — на пальцах одной руки можно было сосчитать. Латышский быт ограничивался стенами дома: закроешь за собой дверь — и вот она, Латвия. Мы разговаривали, пели на своем языке. Я воспитана как в стародавние времена, когда работали

с песней; так, что мир латышской традиции был для меня реальностью. Но эта реальность существовала только дома. Выйдешь за дверь, а там — Англия.

Когда приехала в Мюнстер, меня больше всего удивило то, что на улице со мной здоровались по-латышски. Это было нечто такое, чего нигде, кроме Риги, не бывало. В первые месяцы я блаженствовала, вкушала это необычное ощущение. Вам здесь очень трудно представить себе, что возможно создать свою маленькую Латвию в Мюнстере, Лондоне, Стокгольме. Хоть она и не возмещает Латвии истинной, живой.

Эту маленькую Латвию мы и пытаемся создать для своих учеников. С некоторыми это удастся, с иными нет и не удастся уже никогда. Мы должны считаться с тем, что каждый ребенок — личность, и его желания не всегда совпадают с тем, к чему стремятся родители и учителя. Возможно, он будет непротив углубиться в латышскую жизнь настолько, чтобы прилично разговаривать, но не более, поскольку вполне уютно чувствует себя в среде не латышской, где, скажем, я никогда не ощущала душевного комфорта. У меня прекрасные друзья среди шведов, англичан, но лучше всего я себя чувствую в обществе латышей, хоть порой приходится нелегко...

— Ты бывала в Латвии раз десять. Не служит ли это поводом для некоторой подозрительности со стороны какой-то части эмигрантов?

— Да, приходилось ощущать косые взгляды. Но я согласна их переносить: поездки в Латвию слишком для меня дороги, чтобы от них отказываться! Приезжаю, чтобы наполнить себя звуками языка, звуками музыки. Латвия — моя мечта. Здесь живу в мире своей мечты. Да, здесь повсюду звучит русский язык, в Германии — немецкий, в Англии — английский. Но я не слышу того, чего слышать не желаю, воспринимаю лишь то, что необходимо моей душе. Будучи здесь, всегда стараюсь жить так, как живет мой народ, вплоть до стояния в очередях.

— В сущности ты стоишь одной ногой тут, а другой — там. И сомневаешься, смогла ли бы жить здесь, но знаешь, что не можешь быть там. Не воспринимаешь ли ты свою жизнь как трагедию?

— Трагедия в том, что я не живу нормальной жизнью. А нормальная жизнь для учителя латышского языка это — жить здесь и здесь учить латышскому языку. Я лишена возможности жить на своей земле, но все же имею возможность обучать своих. Этого я добилась. А тысячи латышей не имеют и этого. Трагедия ли моя жизнь? Во-первых, трагедия произошла с нашим народом — такая большая часть такого маленького народа находится в эмиграции. Мою жизнь трудно понять человеку, не соприкоснувшемуся с подобной участью. Мои английские друзья говорят: «Что ты потеряла в какой-то Германии, среди каких-то латышей? Приезжай обратно и работай.» Они не в состоянии понять, что мое место в Мюнстере, в гимназии. Да, я живу в латышском гетто, но я сама его выбрала. И если одна нога моя тут, а другая — там, то мысли всегда на Родине, а там — лишь оболочка. Физически — я там, а душой — на своей земле.

— Значит Родина для тебя — Латвия, хоть родилась ты в Англии.

— Есть такая пословица: «Не все, кто рождается на деревьях, — обезьяны». И то, что паспорт у меня английский, лишь дело случая. Родись я на пару лет раньше, был бы немецкий паспорт, еще пару лет — и я родилась бы в Латвии. Неужели я другой человек, коль родилась в 52-м а не в 42-м году, не понимаю, о чем тут может быть речь. Да, моя Родина есть и всегда будет Латвия. А место рождения — это для меня не важно.

— Ты говоришь, что лишена возможности жить и работать на Родине. Если бы такая возможность предоставилась, согласилась бы навсегда вернуться в Латвию?

— Да. Я обдумала этот шаг. Бывала здесь много раз и жила подолгу. Думаю, что хорошо освоила условия здешней жизни. Меня тянет к этой земле, к людям, меня тянет желание принадлежать этой земле.

**VEIDOSIM
SAVU
NĀKOTNI**



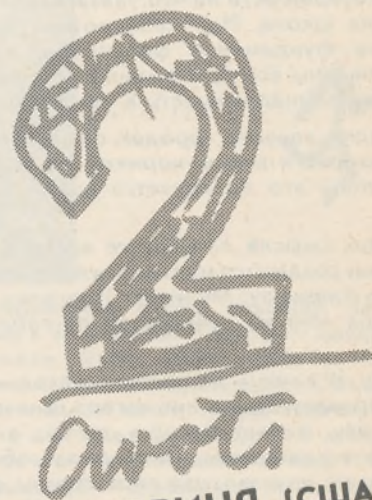
Рекламное издание



Латышский учебный центр имени Яниса Риекстиньша



Рита Лайма Криевиня и Шелли Яншевиц,
абсолютки ЛУЦ летом 1983 года.



РИТА ЛАЙМА КРИЕВИНЯ (США)

**Воспоминания
о Латышском учебном центре
имени Яниса Риекстиньша**

Было это довольно давно — ровно семь лет назад. На Нью-Йоркском вокзале «Пенн» я села в поезд, отправляющийся в небольшой городок Каламазу на срединном севере Америки. (Этот город обессмертил король джаза Глен Миллер, сочинив-

ший песню «У меня есть девочка в Каламазу».) Я была в числе 18 молодых людей, записавшихся на первый год занятий в только что основанном Центре по изучению латышского языка. Мне исполнился 21 год. И вот я в вагоне. Зачем! Я была убеждена тог-

да, что погружение в историю и мир духовных ценностей моего народа мне совершенно необходимо. Мой путь мог быть другим, я бы окончила художественную школу в Нью-Йорке, если бы... если бы в 1980 году не отправилась в Латвию на месячную



стажировку на отделение графики Академии художеств. Все увиденное, услышанное, прочувствованное здесь, на Родине, произвело на меня такое сильное впечатление, что я никак не могла примириться со столь скорым отъездом из страны наших отцов, где всё-всё, о чем рассказывали и что вбивали в нас учителя латышской школы, внезапно материализовалось в нечто конкретное и осязаемое. Я едва не заболела всем этим, и в результате года не прошло, как снова очутилась в Латвии, на сей раз, правда, на две недели, короткий миг, но моя убежденность в принадлежности Латвии, и только ей в этом мире, лишь окрепла. Богиня счастья не оставила меня своими заботами — 9 сентября я познакомилась с латышом из Латвии, через полтора года мы с ним поженились. Познакомилась, и меня снова увезли далеко за море, на чужбину, назад в суету Америки.

Летом 1981 года я бросила свою прекрасную, но баснословно дорогую художественную школу, и отныне, как огни маяка в ночной мгле, светил мне новосозданный Латышский учебный центр. У меня закачалась почва под ногами. Разрыв со школой и приключения на Родине побудили меня сделать этот шаг — посвятить целый год латышским студиям... И этот год стал одним из прекраснейших в моей жизни!

Осенью 1981 года здание, предназначавшееся для учебного центра, еще не было готово, хотя успели возвести фундамент. Я поселилась у Валдиса и Лалиты Муйжниексов, эта пара была душой учебного центра. Остальная латышская молодежь до рождества обитала в общежитиях Западно-Мичиганского университета. Кто именно? С востока, запада, центральных районов Америки, из Канады — Илга, Лаура, Шелли, Юрис, Аудра, Эгилс, Вита, Самуэль, Ингрида, Гунтис, Паулс, Сандра, Хелена, Илона, Алдис, Угис, Нора и Ларис. Вряд ли смогу ответить, что каждый из них надеялся здесь найти, что скрывалось за нашей общей целью. Насколько серьезны были наши побуждения и каким багажом вооружил нас этот учебный год, показало будущее.

Всю осень мы и занимались, и по-

могали строить здание центра. Работа продвигалась медленно, так как латыши отказались от посторонней помощи, чтобы сэкономить средства. Но понемногу наше здание росло — рядом с помещением студенческой корпорации американских ребят. Это было великолепное ощущение — мы, молодые, физическим трудом помогаем возводить здание, олицетворяющее так много надежд, которые уже стали сбываться.

Стояла чудесная осень. Я изменилась, моя душа чутко отзывалась на всё — так чувствует себя, наверное, каждый влюбленный! Утром вместе со своей хозяйкой и учительницей Лалитой Муйжниеце (дочерью Юлииса Лациса *) мы выезжали на занятия на ее маленьком оранжевом автомобиле.

Лалита преподавала нам грамматику латышского языка, письменные упражнения и латышскую литературу. К своим обязанностям она относилась с большим энтузиазмом, полностью посвящая себя профессии и студентам, сознание своей миссии ее не покидало. Уроки бывали ежедневно, кроме уик-энда, обычно с девяти до трех. Нам читали латышский, давали письменные работы, ставили живую речь, изучали фонологию латышского языка, преподавали введение в латышскую литературу, а также историю и политику Латвии. Я предпочитала литературу и упражнения в письме. Увлечлась чтением, с немалым увлечением выполняла письменные задания. В солнечной, заставленной цветами комнате днями напролет стучала на Лалитиной электрической пишущей машинке, сочиняя стихи и длинные-предлинные письма в Латвию.

Историю Латвии нам читал Янис Пеникис. Янис — мой «тип», у него привлекательное лицо. Часто на полях лекционного конспекта я набрасывала его портрет. Пеникис преподавал в свободной, неформальной манере, выживая из нас вопросы и замечания. Он сам законспектировал множество источников, работы большого числа авторов, увязывал глубокое и основательное рассмотрение истории нашего народа с наиболее значительными событиями европейской жизни.

Веселые минуты проводили мы в лаборатории фонетики, которую вела Анда Либерте из Торонто. Училась «правильно» говорить по-латышски, прослушивание своего произношения вызывало взрывы смеха, и поделом.

На протяжении всей осени я ездила в центр искусств Каламазу, где занималась в студии рисования. Несмотря на бесконечно интересные латышские студии, в душе щемило — все никак не могла пережить расставания с художественной школой. Жизнь в этой оторванной от американского

мира латышской среде казалась не совсем реальной, для практических целей бесполезной. Я полагаю, городок Каламазу хорошо известен многим американцам из-за своего смешного названия, и конечно, благодаря песне Глена Миллера. Город не велик, но и не мал. Несколько заводов, белые, негры, тихие жилые кварталы, не очень состоятельные жители, университет и много студентов. Довольно маленький бизнес-центр, в котором мы ошивались после уроков. И все же я как-то привыкла к размеренному ритму жизни этого города, у меня появилось время для мечтаний и медитации. Живут в Каламазу и латыши, есть латышская церковь с гимнастическим комплексом, где собираются латыши, есть хор (в котором пела и я), словом, этакая супермикрولاتышская среда. Разумеется, за эти годы учебный центр превратился в своего рода магнит, привлекающий все новых людей, и несколько латышских семей переехало в Каламазу, где дети могут посещать латышский детсад-продленку, для воспитания детей это весьма подходящий город. У Муйжниексов я жила в комнате их дочери Сармы, ходила на долгие прогулки с их старым псом Ремисом, занималась оздоровительным бегом, училась, ждала вестей из Латвии. Заболев бронхитом, читала стихи Визмы Белшевиц и плакала. Мне казалось, со мною что-то происходит, эти занятия должны сыграть какую-то роль в моей жизни, как латышка я не должна забывать латышский язык, это мой долг по отношению к родителям и предкам. Лалита Муйжниеце, светлая голова, давала нам импульс к активному чтению, более глубокому пониманию взаимосвязей между литературой и феноменом нашего народа.

Перед рождественскими каникулами (я провела их в семье, на восточном побережье) мы, студенты, переехали в новый центр! Какая радость светилась на наших лицах! Светлый, просторный, уютный центр, у каждого своя комната, и все вместе под одной крышей. Мы успели дружиться, и в доме воцарилась доброжелательная атмосфера. По очереди готовили ужин, поддерживали порядок. Пришла северная зима, снег валил валом, в школу приходилось брести между сугробов. Мы «прочесывали» довоенную литературу — Адамсонс, Чакс, Эзериньш, Бригадере, Барда и др. Молодая, влюбленная, я читала поэзию Фрициса Барды, и жизнь казалась прекрасной и удивительной. Слушая музыку, танцевали, дурачились, спорили, занимались. Люди дарили центру книги и картины. Было одно полотно Розенталса, один Яунсудрабиньш, Тоне был. Общественность проявила отзывчивость, не выпускала нас из своего поля зрения — этому придавалось большое значение, цель была серьезной — ук-

* Юлиис Лацис (1892—1941) — латышский писатель, журналист, общественный деятель, министр народного благосостояния в Народном правительстве Латвии, сменившем в июне 1940 г. правительство К. Улманиса.

репить в юных латышах сознание принадлежности к своему народу. Я хотела бы процитировать здесь главного инициатора центра Д-ра Валдиса Муйжниекса: «Исторические события последних сорока лет все яснее и отчетливее показывают нам, что только мы сами по-настоящему заинтересованы в будущем своего народа, государства и культуры. Друзья нас поддерживают постольку, поскольку это им выгодно. Они не станут особенно переживать, если у нас в изгнании не окажется больше людей, способных делать дело, но для нашего народа это будет большая трагедия».

Я считаю, что само существование и деятельность латышской общины на чужбине — уникальны. И хотя число ее активных членов уменьшается с каждым поколением, но все же находятся молодые люди, которые проявляют интерес к своим корням. Многие из них хоть разок побывали в Латвии.

Мы были очень разные по характеру — серьезные и легкомысленные, общительные и замкнутые, проявляющие интерес к общественной жизни и занятые больше собой. Меня можно причислить скорее к этой последней группе. Проявления латышской культуры на чужбине казались мне единственной заслуживающей внимания гранью жизни латышского зарубежья. Я, конечно, усматривала какой-то смысл в политической и общественной организации, но уделяла этому мало внимания. У каждого из нас были свои причуды, мы по-разному смотрели на мир, у нас были разные планы на жизнь (хотя многие еще брели впотьмах). Я жила с предощущением того, что уеду в Латвию, хотя в то время будущее было от меня сокрыто. Переписка с «другом» из Латвии превращалась в толстенный дневник, полный мечтаний, надежд, тоски, размышлений о стране предков. Хочу подчеркнуть, что волна этих экзальтированных эмоций скрасила мои занятия, сделала их глубже и плодотворнее.

За эти семь лет «библиотека учебного центра при поддержке общности... стала крупнейшей латышской библиотекой Америки. В ней насчитывается 14 732 книги, 420 периодических изданий (250 переплетенных томов), 192 микрофильма, 339 магнитофонных лент и кассет, 111 дисков, 35 картин и многое другое. Все полки в основном, а также в дополнительном библиотечном помещении заполнены. Возникла необходимость расширения или сооружения новой библиотеки и центра культуры и документации. На последнем конгрессе Объединения латышей Америки за это проголосовали все делегаты при четырех воздержавшихся». Понятно, что на первом году занятий никакой библиотеки еще не существовало. Но пожертвования уже

делались. Солидная библиотека моего деда Яниса Бичолиса, после его смерти в августе 1982 года, тоже очутилась в Латышском учебном центре.

Все эти годы печать Советской Латвии не замечала активности латышского зарубежья. Действия общины на чужбине в значительной мере оппонировали течению жизни здесь, на Родине, ввиду «незаконного включения Латвии в состав Советского Союза». Большинство зарубежных латышских изданий, в свою очередь, игнорировало все, что происходило в Латвии. Но латыш остается латышом, и если он любит землю своих отцов, то не преминет трудиться во благо отечества. За пределами Латвии живет много прекрасных латышских писателей, художников. Профессионалы. Глупо закрывать на это глаза и делать вид, что ничего такого не существует. Это чудо, что третье и четвертое поколение латышей, родившихся на чужбине, еще говорит по-латышски.

Я попала в Латышский учебный центр не случайно. В конце второй мировой войны родители моих родителей (сенатор Аугустс Румпетерс с сыновьями Висвалдисом и Илмарсом, филологи-балтисты Янис и Ливия Бичолиса с дочерьми Байбой, Гундегой и Лайлой) отправились в изгнание, спасаясь от призрака Сталина. Еще были свежи в памяти события июня 1941 года — массовая сталинская депортация. Моих родных прибило к холодным чужим берегам — лагеря для перемещенных лиц в Германии, потом Америка и новая жизнь у фабричного конвейера. И так, в черед серых будней, одна работа, другая, третья — до самой пенсии. Могу утверждать, что для них самыми светлыми всегда были годы жизни в довоенной Латвии. На чужбине Янис собрал огромное количество книг — он был заядлый книжник. Дедушка Аугустс часто рассказывал нам об истории Латвии, которую превосходно знал, а в детстве мы заслушивались его «рассказами о привидениях», действие которых происходило в древнелатышские времена, до вторжения крестоносцев. Моя мать Байба Бичоле стала поэтессой и учительницей латышского языка, а я... Я теперь живу в Латвии. Благодаря им, благодаря латышской основной школе и учебному центру.

Вот и все обо мне. Что делают остальные семнадцать? Кто женился, у кого уже дети. Смешанных браков среди наших нет. Работают по специальности, бывают на слетах латышей.

Я мрачно смотрю на будущее латышского зарубежья. В школах сокращается число учеников, смешанные браки способствуют отчуждению. Праздники песни приходят и уходят, одетые в национальные костюмы

парни и девушки говорят между собой по-английски. Связи с Родиной за эти годы почти что оборвались. Только события сегодняшнего дня внушают надежду на более активный обмен.

У нас был замечательный выпускной вечер. Цветущие, счастливые до предела, поющие песни, получающие поздравления — это были мы. Год завершен. Ощущение такое, что сама Латвия с нами на нашем торжестве. После выпуска — недельный семинар переводчиков, который вел Юрис Кронбергс из Швеции. Стремительно приближалось время расставания, и вот... В аэропорту Детройта я села в самолет и распрощалась с центром на семь лет.

Из моей рижской квартиры время, проведенное в Латышском учебном центре, кажется давно прошедшим. Как бы мне убедить читателей, что это не было потерянное время! Оно не было зряшным! Латышский учебный центр и латышская гимназия в Мюнстере (ФРГ) заслуживают восхищения. Жизнь на чужбине — подтверждение того, что латышский народ — работающий народ. «Для меня нет большей радости и нет горя горшего, чем счастье и беды латышского народа... Латышским школам суждено просветить латышский народ... Наш язык чистый и святой... У него нет недостатка ни в изяществе, ни в глубине, ни в богатстве и гибкости. Слова древней латышской речи звучат для нас голосом, слетающим с губ праотцов, это частица их былого сердца, прозрения их живой души, веселые искры их зоркого духа...» Этим словам Атиса Кронвалдса внимали латышские дети и юноши в Америке, Канаде, Европе, Австралии. СКОЛЬКО слышало — другой вопрос.

[P.S. В феврале минувшего года я вновь заглянула в Латышский учебный центр, спустя семь лет, и на этот раз вместе с мужем Андрисом и сыном Кришьянисом. Почти всё тут показалось мне знакомым... Другие лица, но тоже светлые, приветливые. Вот разве что огромная, перегруженная библиотека, которую предстоит расширить, — грандиозный проект разработал сам Гунарс Биркертс, но удается ли его осуществить... В этом здании витает особый дух, и каждый, кто проводит здесь свое время, это чувствует. В солнечном выставочном зале мы повесили фотоработы Андриса. Пусть почаще приезжают в этот гостеприимный дом надежды люди из Латвии! И мы тоже. Андрис подсказал мне мысль — почему бы впредь Латышскому учебному центру имени Яниса Риекстиньша не принимать — с учетом таяния зарубежья, — молодых людей из Латвии, которые могли бы учиться в Западно-Мичиганском университете. Поживем — увидим!]



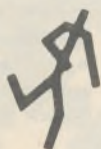
BANUTA NORA RUBESS

БАНЮТА РУБЕС

(КАНАДА)

ТАНГО ЛУГАНО

Музыкальная пьеса в двух действиях
Текст Баниюты Рубес
Музыка Даце Штавере-Аперане



Автобиографический очерк

Банюта Рубес родилась в канадском городе Торонто, в 1956 году. Она жила в Германии, в Англии, побывала на обоих берегах Канады, а сейчас обосновалась в своем родном городе. В частых скитаниях она приобрела интернациональный взгляд на развитие общества. Латвию она посещала четыре раза. В Королевском университете Канады (Queen's University) она стала бакалавром первой степени (B. A. Honours) по истории и драме. Позже она училась в Англии, была стипендиатом Роде (Rhodes) Оксфордского университета, получила докторскую степень, защитив диссертацию «Ян Райнис и проблемы национализма» («Jānis Rainis and the Problem of Nationalism»). Знания в сфере театра она приобрела в основном не в академиях, а в практической деятельности. Несколько лет она сотрудничала с английской экспериментальной группой «КОМПАНИЯ» («A COMPANY»), потом стала основателем «ТЕАТРАЛЬНОГО АНСАМБЛЯ 1982 ГОДА» («1982. THEATRRE COMPANY») — интернациональной группы, работавшей в Лондоне. Эта группа совершила турне по Англии, Германии, Швеции и Северной Америке. Среди остального они показывали и экспериментальную постановку пьесы Аспазии «СЕРЕБРЯНОЕ ПОКРЫВАЛО» на английском языке.

Начиная с 1983 года, Рубес приобретает известность в мире канадской культуры как писательница, режиссер и, время от времени, как актриса. Ее пьесы — пока осуществлено шесть постановок — в основном рассматривают права женщин. А самая последняя работа, джазовая пьеса («jazz play») «BOOM, BABY, BOOM!» (название непереводимо), проходит в Торонто, в 1959 году, когда Аустра Меднис в возрасте 21 года убегает из дома и, назвав себя «Shirley», исчезает в клубе эксцентрического джаза.

Экспериментировать с латышскими зрителями Рубес начала еще в студенческие годы со странствующим ансамблем «Последние шуты», в постановках которого была поэзия и коллажи сатирических скетчей, например «ПРОСВЕТЛЕННАЯ ЭМИГРАЦИЯ ИЛИ СЛОН И ЛАТЫШСКИЙ ВОПРОС», в 70-х годах. Бурю контroversий вызвал первый водевиль Рубес «ПОДВИГИ», который она сочинила вместе с композитором Штавере-Аперане и показала публике в Монреале на молодежном празднике песни 1979 года. (Позже в Торонто и Нью-Йорке). В 1983 году она выступала на VI Всемирном празднике песни латышской молодежи в Австралии, в городе Мельбурне со своим сольным спектаклем «ПОСЛЕДНИЕ ЛАТЫШИ». В 1987 году на празднике песен шербрукской молодежи была поставлена пьеса «ТАНГО ЛУГАНО» (композитор Даце Аперане), которую мы предлагаем вашему вниманию.

«ТАНГО ЛУГАНО» — сатирическая вымышленная история с привидениями.

События революции 1905 года вынудили Райниса и Аспазию в числе первых тайно, с фальшивыми паспортами покинуть Латвию. Они нашли убежище в маленьком швейцарском городке Кастаньоле, высоко в Альпах, у озера Лугано. Там Райнис и Аспазия провели 15 лет и вернулись в Латвию, в новообразованное государство, только в 1920 году.

В последующие 9 лет, вплоть до своей кончины в 1929 году, убежденный сединами поэт часто сетовал на политическую грызнию в Латвии, грозил отъездом на свою «вторую родину» — Кастаньолу.

Аспазия поначалу принимала бурное участие в политической жизни демократической Латвии, но после смерти Райниса она отошла от общества и жила очень уединенно до самой смерти в 1943 году.

Дома, в котором в Кастаньоле жили Райнис и Аспазия, уже нет, его снесли. В городке заботами латышей свободного мира создан прекрасный музей Райниса и Аспазии. Честь и хвала свершившим доброе дело!

НО,
ПРЕДСТАВИМ, ЧТО РАЙНИС НЕ УМЕР В 1929 ГОДУ,
А АСПАЗИЯ — В 1943-м; И ЧТО В 1929 ГОДУ ИМ
УДАЛОСЬ УЕХАТЬ ИЗ ЛАТВИИ И ТЕМ САМЫМ УБЕЖАТЬ
ОТ СКЛОК И СПЛЕТЕН. ЧТО БЫЛО БЫ, ЕСЛИ БЫ ОНИ
ОКАЗАЛИСЬ ЖИВЫ ТАМ, В КАСТАНЬОЛЕ? ЕСЛИ БЫ...
В ЭТОМ ВЫМЫШЛЕННОМ МИРЕ И ПРОИСХОДИТ НАША
ИСТОРИЯ.

Действие «Танго Лугано» разворачивается на чужбине, в доме поэтов в Кастаньоле. Музея Райниса и Аспазии нет и в помине, поэты до сих пор живы, они — бессмертны.

Предлагаю вниманию публики увлекательную фантастическую историю, надеюсь, она даст повод для интересных дискуссий в духе демократии.

БАНЮТА РУБЕС

Примечание: текст в кавычках — цитаты из произведений авторов, указанных в квадратных скобках.

Упомянутые числа и даты вытекают из следующей арифметики: за год рождения поэтов принимается 1865-й, в 1929 году они покинули Латвию, в 1945 году поссорились.



ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА:

АСПАЗИЯ, поэтесса

РАЙНИС, поэт

ТЕДИС ТИДЕМАНИС, латышский общественный деятель из Милвуоки

ДАЙРА ЛИЕЛМАНЕ, студентка

ХЕРМИНЕ ГРОДНЕ, сотрудник Министерства культуры Советской Латвии

УЛДИС ТОМСОНС, сотрудник Музея Райниса

Картина первая

Сцена окутана дымкой, в большом кресле-качалке сидит Ребенок, раскачивается и поет:

Едет поезд Яниса и Эльзы

Едет поезд Яниса и Эльзы
тихо-тихо, тихо-тихо.

Умолкают птицы, звери,
когда едет поезд
Яниса и Эльзы.

Только мишка с полки смотрит
и зовет вдогонку рельсам
поезд Яниса и Эльзы.
А в ответ лишь стук колес
тихий-тихий, тихий-тихий.

Звук уходящего поезда.
Гаснут огни.

Картина вторая

Одновременно читаются два доклада. В Риге выступает Хермине Гродне, в Милвуоки — Тедис Тидеманис.

ТЕДИС ТИДЕМАНИС — порядочный, консервативно настроенный латыш. Ему за сорок. Работает биохимиком в Милвуоки, лидер по натуре. Сам вызвался разыскать и привести в порядок швейцарский дом Райниса и Аспазии. Чтобы собрать необходимые для этого деньги, выступает на благотворительных собраниях с докладами о Кастаньоле и слайдами.

ХЕРМИНЕ ГРОДНЕ — работник Министерства культуры Советской Латвии, ей около 45 лет. Она только что выступила перед сотрудниками министерства с кратким сообщением о планах министерства относительно музея в Кастаньоле. Она недурна собой, но сурова, замкнута, нервозна. Следует тщательно избегать карикатурной трактовки образа.

На экране вид Кастаньолы.

Тедис + Хермине: В Кастаньолу! В швейцарский Риоде-Жанейро!

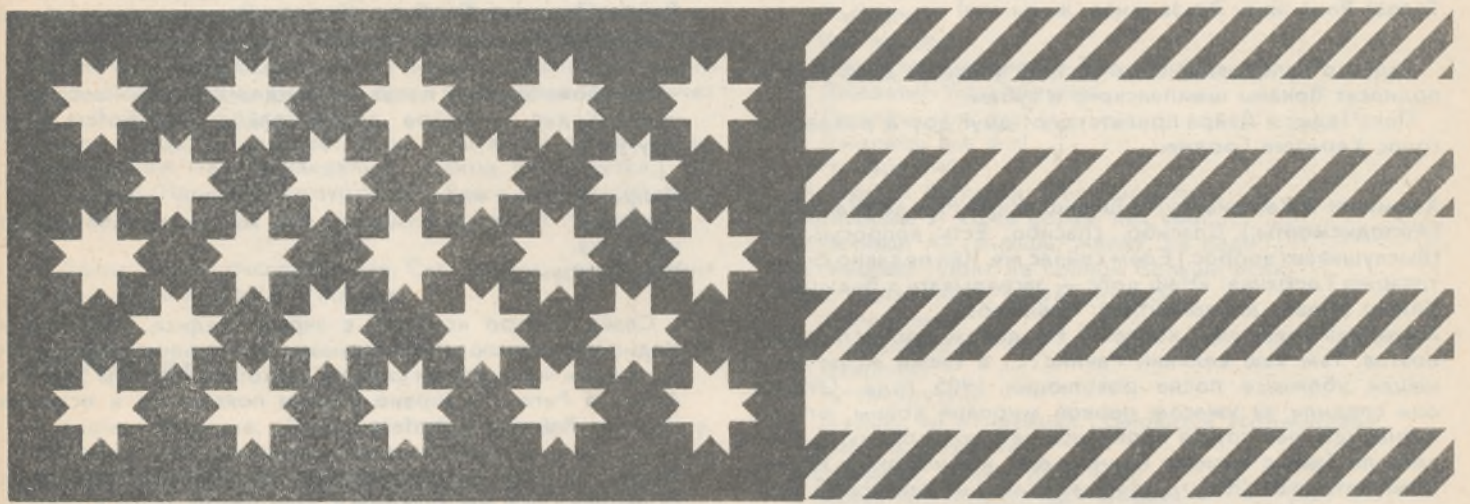
Звучат аплодисменты.

Тедис: Благодарю. После небольшого перерыва Дайра Лиелмане покажет снятые прошлым летом слайды своего путешествия в страну предков. Барышня! (Ищет Дайру среди публики.)

Входит Дайра Лиелмане с бутылкой шампанского. Улдис Томсонс тоже входит и, как бы в зеркале, отражает Дайру. У него в руках диапроектор.

ДАЙРА ЛИЕЛМАНЕ — девушка примерно 23 лет, родилась в Милвуоки. Ей, как лучшей абитуриентке Латышского общеобразовательного центра, присудили стипендию для поездки в Кастаньолу, чтобы в делегации была представлена «молодежь». Она недавно гостила в Латвии, заодно влюбилась в Улдиса Томсонса. Но во время поездки ей показалось, что Улдис чересчур следит за ней. А вдруг он чекист? Так Дайра и покинула Ригу, даже не попрощавшись с Улдисом.

УЛДИС ТОМСОНС — привлекательный латышский парень, примерно 28 лет. Выглядит очень мужественным, немного скован. Он только что завершил в Москве изучение музейных наук и приступил к работе в Музее Райниса. Его вместе с Хермине Гродне командируют в Кастаньолу. Образ следует оставить несколько неоднозначным: можно или нельзя доверять ему, публика должна решить сама.



Дайра: Ну, как докладик, удался?

Тедис: Главная работа — впереди. На нас возложен нелегкий труд.

Дайра: Как же это получается, чуть ли не вся делегация, целых пять человек, или заболевают в последнюю минуту, или с работой никак не расстанутся? Наша затея, кажется, не пользуется успехом.

Тедис: Это большая честь! Честь руководить, так сказать, спасательным отрядом нашего фонда. Райнис и Аспазия! Какой позор, что мы допустили запустение в их доме! Наконец-то! Возможно, нас ждут там литературные открытия.

Дайра: Ждут, под паутиной.

Тедис: Если только местные швейцарцы не извели все рукописи на обертку своих бутербродов.

Дайра: Там же итальянцы!

Тедис: Да полно Вам, барышня!

Дайра: Ну что Вы, Теди!

Тедис: Смотри, чтобы твое выступление было в порядке, как никак вечер благотворительный.

Тедис: Да, да, все мы готовы пожертвовать своему приходу, своему лагерю, своему центру, словом, всему, что под боком. А ведь то, что далеко, тоже наше, на сей раз в Кастаньоле. Дайра, обещаю Вам от своего имени, от имени всей семьи Тидеманисов... это дело чести всех латышей свободного мира, дело чести латышского общества Милвуоки, а также...

Завтра вылетаем, послезавтра вечером будем уже в Кастаньоле. С вокзала, ни на минуту не задерживаясь, без всяких кофепитий...

Дайра: Ну, хотя бы чашечку!

Тедис: Нет, нет! Без промедления отправимся на поиски дома поэтов, в котором они долгие военные годы ждали, не теряли надежды на возвращение в свободную Латвию, где им сулили...

Дайра: Да, да, найдем дом, приведем в порядок, все там устроим.

Тедис: Янис жив, Эльза жива, живы мы!

Тедис откупоривает шампанское, угощает Дайру. Оба подносят бокалы шампанского к губам.

Пока Тедис и Дайра приветствуют друг друга, раздается голос Хермине Гродне.

Хермине: В Кастаньолу! В швейцарский Рио-де-Жанейро! (Аплодисменты.) Спасибо, спасибо. Есть вопросы? Да? (Выслушивает вопрос.) Едем сейчас же. Как недавно сказал товарищ Горбачев: «Наш долг — заглядывать в будущее».

Улдис: (ставит диапроектор): Извиняюсь.

Хермине: Товарищи, коллеги! Не дадим пропасть дому поэтов. Там наш великий Райнис... а также Аспазия — нашли убежище после революции 1905 года. Оттуда они следили за ужасом первой мировой войны, оттуда пятнадцать лет спустя вернулись на свою родину. В Кастаньоле Райнис написал такие пьесы, как «Огонь и ночь», «Вей, ветерок!» (Кто-то прерывает ее, она некоторое время молчит.) Извините, товарищ Озолс. Вы правы, это всем известно... Совершенно верно, давно уже... Народ верит, что Министерство культуры нашей республики не даст погибнуть латышскому культурно-историческому памятнику. (Как бы отвечая еще на одну реплику.) Ну и юмор у вас, товарищ Грабовский. Какие еще привидения! Сомневаюсь. Как помощник со мной поедет наш новый референт Улдис Томсонс, он только что поступил на работу в Музей Райниса.

К Хермине присоединяется Улдис.

Улдис: Привидения там вряд ли будут. Хотя, когда я учился в Москве, мне там повстречался старичок с невероятным воображением, так он рассказывал просто потрясающие вещи о наших Янисе и Эльзе, что-то вроде фольклора, не стоит... Музей Райниса уже располагает небольшой коллекцией кастаньольских диапозитивов. Вот они...

Тедис: Прошу внимания! Перед вами выступит Дайра Лиелмане на тему «Вслед моим мечтам в Латвию». (Шепотом — Дайре.) Только говорите быстро, а то я упустил Карсона [Johny Carson — американская телезвезда].

Дайра: Как говорит Гунарс Салиньш: «В Латвию? Я обязательно поеду снова, да.» [Из стихотворения Салиньша «Чуть было не женился на одной.»] Ну, в одного чуть было не влюбилась, но... (О слайдах.) Это — Даугава. Как-то стою на понтонном мосту, луна светит — вечерок, что надо, тихо вокруг, только волны плещут. И тут издалека доносится музыка. Там, в нашей старушке Риге, один честный латыш играл и пел: «You've gotta fight/For the right/To Paaaarty!» [Отрывок популярной американской песенки. По-английски: «Ты должен бороться за право веселиться на празднике»]. Потрясающий момент!

Следующий слайд — церковь Петра.

Пока Дайра говорит, на экране Улдиса появляются слайды — виды Кастаньолы.

Улдис: А тут за углом маленькое Чимитеро, милое кладбище, Райнис любил посидеть там и поразмышлять о судьбах дорогого его сердцу латышского народа.

Следующий слайд на экране Дайры — забавный снимок Дайры.

Дайра: Разрешите представиться — Дайра Лиелмане, видный деятель Латышского образовательного центра.

Слайд — вид Риги.

Дайра: Вот она — я на шпиле Петровской церкви. Не прыгай, не прыгай!

Слайд — памятник Свободе.

Дайра: Памятник Свободе. Как-то в полночь я пошла туда с цветами и... не так быстро...

На обоих экранах появляется одно и то же изображение — Улдис и Дайра доверительно улыбаются друг другу.

Дайра: Этот не надо.

Хермине: Товарищ Томсонс, это же ваша собственная картинка.

Улдис: Извиняюсь.

Слайд быстро исчезает с экрана Улдиса. Хермине и Улдис продолжают разговаривать, а на экране Дайры один за другим чередуются слайды, на которых видны Улдис и Дайра в Риге. На экране Улдиса появляется и остается портрет Райниса и Аспазии.

Улдис: На этом мы заканчиваем наш небольшой доклад. (К экрану.) Все мы знакомы с этой парой, и мы с товарищем Гродне попытаемся найти след, оставленный поэтами на их «второй родине» Кастаньоле в Швейцарии.

Слышны аплодисменты.

Хермине: Дело сделано. В следующий раз поосторожней с личным архивом. А девчонка — ничего.

Улдис: Да, уж.

Хермине: Родственница?

Улдис: Ну, да.

Хермине: Тихий омут? А что это за таинственная история с привидениями, о которой и говорить нельзя?

Улдис: Ах, да, верно. Видите ли...

Дайра: (На ее экране все еще слайд, на котором она вместе с Улдисом). Дальше!

Улдис: Ну и, если бы так и было? Чтобы не заводить народ, объявили о сердечном приступе Райниса. Грандиозные похороны, а гроб-то — пуст.

Хермине: Невероятно. Но ведь Аспазия...

Дайра: Следующий!

Хермине: ... Аспазия ведь дожила до Великой Отечественной войны.

Улдис: А что если какая-нибудь актриса из Германии, похожая на Аспазию, долгие годы играла поэтессу? Воображаемая «Аспазия» ведь жила в отдалении от общества. И кто вообще ее видел?

Хермине: Потрясающе! Значит наши поэты лежат где-то на дне Даугавы... а, может быть, их уже унесло в море. Такова ваша история?

Улдис: Примерно так.

Дайра: Следующий!

Улдис: Я лично в это не верю.

Хермине: Ну как же, конечно, разве можно...

Дайра: Следующий... следующий... следующий!

Тедис: Итак, дамы поручили мне довести до вашего сведения, что имеется отменное пиво и на кухне всех ждет пицца от Joel's Pizza!!!

Наконец на обоих экранах изображение Райниса и Аспазии.

Улдис: Самоубийство нашей образцовой паре не к лицу. Скорее всего, они сели в поезд и сбежали обратно в Кастаньолу, чтобы прожить там еще хотя бы лет 300.

Хермине: Скорее всего, в гробу был нужный труп, а Аспазия жила обособленно, по-своему [по-русски].

Хермине уходит.

Дайра: У всякого, кто побывал в Риге, свой роман... Все они там женихи, да разводиться горазды... Не поймешь, чего им надо.

Улдис уходит.

Дайра: (Уверенно, меняя тон) О'кей, всем, кому еще неизвестно... Это — Райнис, а это — Аспазия. Настоящее его имя — Янис Плиекшанс, а ее — Эльза Розенберга. Оба — шикарные поэты, ну, и так далее. Это из-за них я в Кастаньолу еду. Кастаньолу они вообще-то любили, даже очень. Райнис писал: «Лугано-Кастаньола связывали нас полжизни, пятнадцать лет. И поныне душой постоянно стремлюсь к этому месту, а душа почти ежегодно влечет за собой туда и тело...»

Тедис: Душа... увлекает тело. (Пытается шутить.) Там привидения. Там привидения. (Дайра не смеется.) До свидания! (Прощается с публикой.) Всего доброго! До свидания!

Дайра уходит рассерженная. Свет гаснет. Экран уходит вверх. Звук уходящего поезда.

Картина третья

Улдис, Хермине, Дайра и Тедис выходят на сцену. В руках у них чемоданы и другие вещи. Группа становится лицом к публике.

Все вместе: Туризм!

Далее действующие лица выполняют разнообразные движения, изображая туристов: несут тяжелые чемоданы, фотографируют и др.

Тедис: Туризм!... Туризм — ровесник человечества. «Первые туристы — это рыбаки и охотники каменного века» [Ванагс].

Дайра: Последние туристы — японские бизнесмены и звезды рок-музыки.

Улдис: «Гляди, Гвидо, вон, турист», — говорил футурист. **Хермине:** «Беглые крепостные крестьяне — тоже туристы» [Ванагс].

Тедис: «Латыш тяжел на подъем, и большинство латышей дальше церкви, корчмы и мельницы не ступали.» Так пишет Карлис Ванагс в своей книге...

Все: Туризм!

Улдис показывает публике вещи.

Улдис: (Чемодан) Из Грузии.

(Туфли) Из Болгарии.

(Фотоаппарат) Из ГДР.

(Носовой платок) Из Америки. Дайра...

Дайра находит в кармане жакета фотографию Улдиса.

Дайра: Улдис.

Дайра поджигает фотографию, но все же не дает ей сгореть, задувает огонь.

Хермине вдруг взволнованно шарит по карманам.

Хермине: Мой паспорт!

Остальные: Где мой паспорт?! (Взволнованно ищут, находят).

Дайра: «Born in Milwaukee, 1965.»

Тедис: «Born in Jelgava, Latvia.»

Улдис: «Советский Союз».

Тедис: «United States of America.»

Хермине: (Взволнованно листает паспорт.) Виза! (Документ.)

Дайра: (Взволнованно роется в сумке.) Виза! (Кредитная карточка)

Обе находят. Довольны.

Тедис: «American Express».

Звучит музыка.

Все: Там. Здесь.

Hier. Da.

Монте брэ. Monte Bre.

Сан Сальвадор. San Salvatore.

Duomo di San Lorenzo.

Лугано.

Cassarate.

Casa Carlo Cataneo.

Castagnola!

Кастаньола!

Швейцарский Рио-де-Жанейро!

Джелати! Тутти-фрутти!

Джелати, э-э, э-э!

Джелати, э-э, э-э!

Тутти-фрутти!

Мужчины: Фигурка цвета шоколада...

Женщины: А кожа белая, как снег...

Мужчины: Ах, знаешь, милая, не надо...

Женщины: Горит на солнце больше всех.

Все: Потянулись, встрепенулись,

Обернулись

И пропели:

Джелати!

Тутти-фрутти!

Музыка на мгновение становится угрожающей.

Тедис: Привидения!

Остальные: При-ви-де-е-ни-я!

Вновь жизнерадостная музыка.

Все: Джелати!

Тутти-фрутти!

Мужчины: Ерунда!

Женщины: Жарко!

Мужчины: Мы куда?

Женщины: Душно!

Все: Прочь из дома, ноги в руки!

Джелати, э-э, э-э!

Джелати, э-э, э-э!

Снова несколько угрожающих тактов музыки.

Тедис: Привидения?

Остальные: При-ви-де-е-ения!

Все (орут): Какой прекрасный дивный день!

Да здравствует свобода, лень!

И не припомню больше я

Такого радостного дня,

Джелати!
Ура, ура, сегодня я
На волю вырвался, друзья!!
Джелати!
Тутти-фрутти!

Свет гаснет.

Картина четвертая

Внутренний вид дома в Кастаньоле. На среднем плане большая комната, всюду пыль, паутина. На стене портреты Райниса и Аспазии. Кресла и стулья покрыты простынями, всюду разбросаны невскрытые письма. Посреди комнаты кресло-качалка. Слева и справа еще по комнате. В одной сидит Аспазия, в другой — Райнис.

Комната Райниса аскетична — простая кровать, стол. Комната Аспазии напоминает будуар — подушки, увядшие цветы, запыленные бусы и т. д. В каждой комнате по сундуку.

Писателям по 122 года, они превратились в фантомов.

В начале картины каждый перебирает содержимое своего сундука.

Райнис: Валерьянка.

Аспазия: Закрепляющее.

Райнис: Мамин платок.

Аспазия: «Сонник, или Новейший толкователь снов» [латышское название в старой транскрипции].

Райнис: Покрывало, сестренка Лиза ткала.

Аспазия: «Сонник по знаменитому арабскому предсказателю снов Эюб Хасану» [латышское название в старой транскрипции].

Райнис: Бирутина маленькая библия.

Оба плаксиво утирают носы.

Оба: Паспорт!

Аспазия: Поддельный. Амелия Гейкина.

Райнис: Наглиньш. Артуро Наглино. Наглино-Ножино. Нож и его Ножовка. Надо же, не могли фамилию понежней выбрать, удирая в пятом году из Риги . . . Теперь было бы полегче. Артуро Пушок. Пушок и его Пушинка. Совушка. Так нет же, Нож и Ножовка, но так оно и вернее.

Аспазия: Амелия Гейкина и Артур Наглиньш. Иосиф мой, без своих братьев!

Оба встают, словно обоим показалось, что другой стучится в дверь. Прижав ухо к двери, оба поют.

Оба: Ты ли это!

Ты ли это?
Как дела?
Так, неплохо,
Только голова бела.
Пролетели наши годы,
Вот, дрожит рука.
Янис, жив ли?
Эльза, ты жива?
Ты далеко от меня, далеко,
Я от тебя еще дальше.
Сердце устало, оно холодно . . .
Ложь! Я с тобой, как и раньше!

Оба прекращают пение, садятся за свои столы и пишут письма.

Аспазия: Уважаемый!

Райнис: Почтеннейшая!

Аспазия: Бесподобный!

Райнис: Необыкновенная!

Оба: Заслуженный (заслуженная поэт) поэтесса . . .

Аспазия: Дорогой Янис! Почти 59 лет пролетело с тех пор, как мы тайно покинули родину. Кстати, что стало с этой актрисой из Германии, как ее там . . . Майя . . . Майя . . . Karstadtler.

Райнис: Эльзочка моя, Иночка. Родная ты . . . ведьмочка! Эта комната для меня склеп. Могила. Я не выходил отсюда с той самой ссоры, ты помнишь.

Аспазия: Кошмар. С 1945 года словом не перемолвились. Да ты представляешь хоть, что это значит? Это вредно для здоровья, мой милый!

Райнис: Прекратим эту тихую войну! Я хоть ноги смогу размять, из комнаты выглянуть. Но ты, ты, ты, наверное . . .

Аспазия: Я в своей комнатухе, как тигрица в клетке, а ты . . .

Оба: . . . ты носишься по всему дому!

Райнис: Иночка, гвоздичка ты моя упрямая, сдайся же наконец, постучи в дверь! Твой муженек простит тебя, ведь 59 лет сгнуло!

Аспазия: Надеюсь, что поддерживаешь в доме порядок. Новые занавески, пыли нет? . . . Ничего больше нет. Родины нет. Друзей нет. Песен нет.

Райнис: Я так много должен тебе рассказать! . . . Рассказывать нечего, разве — сколько морщин . . .

Аспазия: Да постучись же, наконец! И я буду знать, что ты раскаиваешься. Вот увидишь, я вихрем перед тобой распахну дверь, и мы вместе отпразднуем свой 123-й день рождения. 124-й?

Райнис: Стареем. Стареем мы . . . Я писал тебе ежедневно . . . то упрекая, то смиренно . . . а ты . . .

Аспазия: . . . А я как дура, все пишу письма. Пачками! Из-за меня гибнет канадский лес!

Райнис: . . . Если добавить дни, набегающие через каждые четыре года, то сегодня 15340-ое письмо . . .

Оба: . . . Но ответа нет . . .

Райнис: Твой любящий Янис (потом вычеркивает).

Аспазия: Твоя душечка Эльза (потом вычеркивает).

Оба вкладывают письма в конверты и выбрасывают за дверь.

Аспазия: «Путь
был долог и нелегок —
через пустыню, зной и холод.
Но к чему он нас привел?»

[Аспазия]

Райнис: «Климат новой Латвии мне противопоказан» [Райнис]. Qui si sana! [По-итальянски: «Тут выздоравливаешь!»]

Тут здоровье возвращается,
Душа обретает покой.
Горести забываются. Я
Умиротворен.
Тут я останусь.

Аспазия: Тут нельзя оставаться.

Оба: Одним лишь словом
можно ранить глубоко,
и жгет обида неумолимо долго.
Годами, как проклятие, оно
преследует, и сердцу больно.
Ты тщетно ждешь —
виновные мы оба.
Приди ко мне,
простим друг друга снова.

Ты далеко от меня, далеко,
Я от тебя еще дальше.

В другом ритме, взволнованно.

Райнис: Стучится кто-то,
Кто-то стучится.
Да, да, конечно стучится!

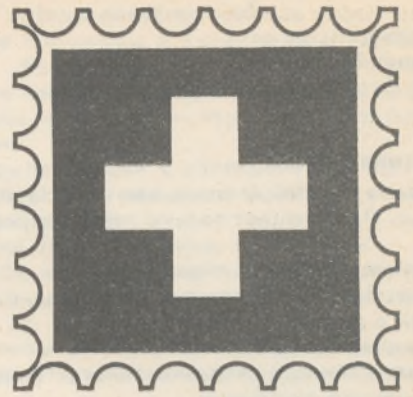
Аспазия: Зовет кто-то,
Кто-то зовет.
Зовет, не меня ли?

Пока звучит музыка, оба прихорашиваются, как-будто вот-вот войдет гость . . . никто не появляется.

Оба: Я жду тебя,
раскрой же дверь
и первым шаг
ступи ко мне!

Райнис: Я так одиноко!





Рисунки Кристиана Шица

Аспазия: Не поздно ли?

Оба (кресчендо): Ты ли это?

Ты жив/жива еще?

Аспазия: Ты ли это?

Райнис: Ты ли это?

Оба: Это... (шепотом) ты?

Картина пятая

Двери гостиной открываются. На пороге Хермине и Улдис. Их освещает только луна. В руках у них фонарики.

Хермине: Ой! Мне страшно!

Улдис: Вон, идет бледная покойница, с окровавленной головой в руках.

Хермине: Томсон!

Улдис: Райнис и Аспазия залетят сюда в каком-нибудь плазменной состоянии.

Хермине: Томсон, вас ждут неприятности!

Улдис: Вы же сами высказали непреклонное желание прийти сюда в полночь.

Хермине: Советский народ доверил нам исключительно важное неотложное дело. И вовсе еще не полночь.

Улдис: Министерские покровители вершин, ночные игры.

Хермине: Тем же путем, что и они... Как Бакунин, как Балабанова, как многие другие борцы за свободу.

Улдис: Я разбил колено, взбираясь на гору...

Хермине своим фонариком освещает сцену.

Хермине: Вы заметили что-нибудь?

Улдис: У вас каштановые волосы и хорошее настроение.

Хермине: Не заигрывайте! Кстати, тут электрические лампочки. Где-то должен быть выключатель. (Оба сходят со сцены через боковые двери). Моя дочурка в том возрасте, когда боятся темноты.

Двери гостиной вновь открываются. В них стоят Дайра и Тедис. У Тедиса в руках флажок Латвии и латышский подсвечник. У Дайры в руках фонарик.

Тедис: Победа! Победа! Я, Тедис Тидеманис, говорю от имени всех милвуоковцев... нет, от имени всех латышей Северной Америки... нет, от имени латышей всего свободного мира...

Дайра: ... крохотный шаг для латышской девушки, но огромный шаг для всей эмиграции! Тут пахнет щами, но... и сиренью тоже.

Тедис: Тут пахнет историей, барышня! Дышите глубже! Вбирайте историю в легкие!

Дайра: Дайра Лиелмане! Я из «Wall Street Journal»! Мир жаждет узнать, в чем заключается ваша проблема!

Тедис (вздрагивает): Зябко как-то...

Дайра: «I am of Latvian extraction. [По-английски: «Я латышского происхождения»].

Тедис: И даже жутковато...

Дайра: Лиелмане, малыш! Я из «National Inquirer». Вы действительно некрофилка?

Тедис: ... Знаете, когда я был маленьким мальчиком, поспорил, хватит ли у меня духу остаться одному в заброшенном доме, там якобы в качестве привидения расхаживал мужик с такой страшной деревянной ногой, говорили, он ею сына убил. Не помню даже, на что поспорили, на папиросу, наверное... Совсем мелюзгой был. Знаете, всю ночь просидел. Ну, и... с привидениями тоже повстречался и...

Вдруг зажигается полное освещение. Улдис и Хермине нашли выключатель в другой комнате.

Хермине: Победа! Свет! Боже мой... вы весь дрожите! Никак, впервые за границей, товарищ Томсон?

Улдис: Да нет же! Бывал в Грузии, в Таллине с комсомольцами. С первой женой в Варшаву съездили. А вот в капстранах еще ни разу не довелось.

Хермине: Вы только посмотрите на него! Какой примерный мальчик! Неужели у вас недостатков нет?

Улдис: Вот рождаемость в республике не улучшил, а так...

Хермине: Да полно вам. Я в чудеса не верю. Интересно, что за этой дверью?

Улдис поворачивает выключатель. Свет гаснет по всей сцене.

Дайра: Wow! [По-английски: «Ой!»] Ну и местечко! Сплошные привидения.

Тедис: То пролетела истерзанная душа Аспазии... Души поэтов... они на чужбине по сей день неприкаяны... Так и мы, Дайра, изгнанники...

Дайра: Истерзанная душа Аспазии?.. Но ведь они неплохо жили! Тут в горах хорошо!

Тедис: Но путь на родину им был закрыт.

Дайра: Кое-кто вернулся после пятого года... Скалбе, к примеру.

Тедис: Совершенно верно, и, хлоп в тюрьму!

Дайра: Правильно, и Райнис писал Скалбе письма. Райнис даже издавался в Латвии все те годы.

Тедис: Через цензуру, через цензуру.

Дайра: Но народ его услышал.

Тедис: Бессмертные пьесы и стихи. Все рождалось в муках, барышня, в муках. Когда царь и бароны куролесили в Латвии, Райнис душой переживал это, я уж не говорю о первой мировой войне...

Дайра: Они лежали тут на солнышке и учили итальянский. А в обед сочиняли стихи о мертвых латышах.

Тедис: Дайра, Дайра, как вы не понимаете, что...

Дайра: Мне все равно, о'кей?

Свет еще раз зажигается и гаснет.

Тедис: Мафия. перевалочный пункт мафии. Сюда наверное тайно доставляют наркотики.

Дайра: Дайра Лиелмане! К вам обращается Frankfurter Allgemeine. Сегодня разговор пойдет о гангстерах и парapsихологии...

Тедис: В самолете у меня был страшный сон. (Часы бьют двенадцать.) Мы стояли вдвоем, здесь, часы пробили двенадцать. (Достаёт нож.) И тогда, когда, тогда, тогда... (Дрожащим пальцем указывает на медленно открывающуюся дверь.)

Двери открываются настезь. На пороге стоят Улдис и Хермине.

Все: Туризм!

Улдис и Хермине входят на цыпочках. Тедис приставляет палец к спине Хермине наподобие ружья.

Тедис: Stick'em up! [По-английски: «Руки вверх!»]

Дайра вспрыгивает Улдису на спину, размахивая латвийским флажком словно пикой.

Хермине: Nicht schiessen! [По-немецки: «Не стреляйте!»]

Улдис ругается по-русски.

Дайра: Теди, это сербские террористы.

Хермине: Томсонс, на помощь! Стреляют.

Тедис вдруг останавливается в удивлении.

Тедис: Латыши! Дайра, латыши! А я вас чуть было не зарезал! Швейцарским ножом! В Швейцарии! (Смущенно смеется.) Простите! Откуда вы? Мы — та самая делегация из Милвуоки... Тедис Тидеманис...

Хермине: Американцы!

Тедис: Да, из Милвуоки. А вы?

Хермине: Из Латвии. Латыши из Латвии.

Тедис: Ах вон оно что...

Пауза.

Улдис: Да, мы из Риги. Хермине Гродне из Министрства

культуры. Улдис Томсонс — музей Райниса.

Тедис: Ах вон оно что . . .

Пауза.

Дайра: Тедис Тидеманис и Дайра Лиелмане. (Вызывающе.) Извиняюсь, конечно, за произношение.

Тедис: К чему извиняться! Произношение у девочки великолепное!

Пауза.

Дайра: Значит, так. Нам тут поручили музей Райниса и Аспазии . . .

Тедис: Не говори им, не говори ничего!

Улдис (к Хермине): Вот какие мы звери.

Хермине: Ш-ш-ш . . . Дорогие эмигранты . . .

Тедис: Эмигранты! Беженцы мы! Беженцы! Мы требуем независимости Латвии! Сейчас же!

Дайра: Я не эмигрировала, я родилась в Милвуоки . . .

Хермине: Ваши биографии меня мало интересуют. Мы тут по поручению министерства. Мы этот дом отмоем, наведем порядок, соберем документы. Бронзовая доска, торжественная речь, мэр города, камерный хор, статья в «Литература ун максла». — И дело сделано!

Тедис: Нет, нет! Мы по заданию свободных латышей. Мы это дом отмоем, наведем порядок, соберем документы. Бронзовая доска, красно-белое знамя, торжественная речь, мэр города, духовой оркестр, статья в «Лайкс». — И дело сделано!

Хермине: Архивистам плохо станет, если узнают, что тут любители орудовали.

Тедис: Любители?! Я — биохимик, истинный профессионал! С юных лет включился в латышское дело. Созывал конгрессы, выступал с докладами. Я — любитель?! Вот, Дайра Лиелмане — звезда Студенческого центра, изучает вычислительную технику, и к тому же в Гарварде. Дайра, скажи им что-нибудь!

Дайра: Кошмар!

Хермине: Как вы сказали?

Тедис: С ума сойти можно!

Улдис: Прошу спокойствия! Вернемся в гостиницу и там все спокойно обсудим.

Тедис: С микрофонами под столешницей? Или ваши ребята на видеокамеры перешли?

Улдис: (с досадой отворачивается) Ну, что ты с ним поделаешь!

Хермине перебирает письма.

Тедис: Эй, что вы там делаете? Не трогайте!

Хермине разворачивает письмо.

Хермине: Лучше нас вряд ли кто оценит все это по достоинству. (Рассматривает письма.) Ин-те-ресно!

Тедис: Ин-те-ресно?

Тедис тоже быстро хватает одно письмо.

Улдис: Прошу . . . только осторожно . . . бумага рассыпется в пыль . . .

Тедис: Пошел к черту!

Дайра демонстративно подбирает одно письмо у ног Улдиса.

Дайра (Улдису — sotto voce): Ты знал, что я тут буду?

Дайра (читает): «Из-за меня гибнет канадский лес.»

Аспазия: Из-за меня гибнет канадский лес.

Улдис (Дайре — sotto voce): На сей раз от меня не упорхнешь!

Хермине: Товарищ Томсонс! Не знаю, как у вас, а у меня голова кругом идет. Тут такие богатства сокрыты, как на пиратском острове. Тысячи неопубликованных писем наших народных поэтов сброшены в кучу, словно наспех. **Тедис:** Конечно же! . . . Узнав, что Латвия свободна, поэты бросили все, оставили навсегда, предали забвению, ведь каждый миг в изгнании мучителен — кто станет возиться со старыми письмами!

Моя сестра тоже зарыла горшки с вареньем, думала — после войны вернется, а вон, как вышло! Теперь она в Австралии, а консервы все еще . . .

Хермине: Очень мило! Тут литература, а не сласти.

Райнис: «Но попытайся же понять меня, можешь ли ты меня хоть раз понять, мы чужие друг другу, гордые одиночки.»

Улдис (читает): «Но попытайся же понять меня, можешь ли ты меня хоть раз понять, мы чужие друг другу гордые одиночки» [Райнис].

Аспазия: «Я плакала, плакала, но довольно с меня мокрого белья, мой темперамент слишком горяч.»

Дайра (читает): «Я плакала, плакала, но довольно с меня мокрого белья, мой темперамент слишком горяч» [Аспазия].

Тедис: Черт побери! Умели сказануть в былые времена!

Хермине: Судя по всему, между поэтами разразилась страшная ссора.

Тедис: Вернее, настоящая драма. Американские газеты пустят с продолжениями, число подписчиков возрастет, а красные в Риге сдохнут от зависти.

Хермине: Как вы сказали? Письма отправятся в Ригу!

Тедис (усмехается): В Ригу, да, в Ригу.

Хермине: Да, в Ригу!

Тедис: No way [по-английски: «Ни в коем случае»] в Ригу.

Хермине: Сейчас же в Ригу!

Улдис: Умоляю, компромисс!

Хермине: Тут никаких компромиссов быть не может!

Тедис: За каждое письмо, к которому притронетесь, я возьму три.

Хермине: Попробуйте!

Хермине и Тедис схватили вдвоем одно письмо и держат его.

Тедис: I am citizen of United States! [По-английски: «Я — гражданин Соединенных Штатов»] . . . Дайра, подсоби!

Хермине: Томсонс, помогите!

Так и не поделив письма, Хермине и Тедис, перебравываясь, удаляются.

Аспазия: «После той крупной ссоры мы еще отсчитывали года . . .»

Дайра (читает): «После той крупной ссоры мы еще отсчитывали года . . .» [Аспазия].

Райнис: Не ведаю даже, понедельник ли, четверг, я ли это, или кто другой, и где начало, а где конец.»

Улдис (читает): «Не ведаю даже, понедельник ли, четверг, я ли это или кто-то другой, и где начало, а где конец.» [Райнис].

Улдис и Дайра поют.

Это было давно,
Это было давно,
И лишь ветер листья уносит.
Это было давно.
Это было давно.

[Аспазия]

Картина шестая

Перемена обстановки. 1945 год.

Райнис и Аспазия входят в гостиную. Только что они писали стихи. Райнис доволен своей работой, Аспазия расстроена, отворачивается в огорчении.

Райнис: Лапушка моя ненаглядная, душечка задушевная, птичка райская, золотисто-прекрасная, развеселись, будь стойкой! Здесь такой покой!

Аспазия: Покой! Покой покойницкий. 1945-й год, а ты нас даже газет лишил. Может быть миром уже ящерицы правят, тебе все ничем. Раньше без газет даже дня бы не вытерпел.

Райнис: Тут покой. Покой Будды. Как в заснеженных Гималаях.

Аспазия: Прогуляться бы по Юрмале... Бог знает, как там сейчас. Может быть, тебя с восторгом встретили бы как президента Латвии, а милый-дорогой? А меня бы назначили директрисой театра. Поедем домой!

Райнис: «Домой? То сон меж двух дорог: одна — что было, другая — что грядет». У нас нет дома.

Аспазия: Все эти склоки в сейме и в Национальном театре кажутся теперь просто смешными.

Райнис: С 29-го года живем в мйре. Шестнадцать лет мира! Я написал шестнадцать пьес...

Аспазия: Я — ничего. А кто будет читать твои шедевры?

Райнис: Будущее. Будущее прочтет... «Я любил всех так нежно, а в ответ — только злые языки и мелкие подлости» [Райнис].

Аспазия: «Народ напрасно обижает, а ты свети ему» [Аспазия].

Сон

Райнис: Вчера меня сон донимал,
По-соседски заходит — я и не звал.
Рук синевою глаза прикрывает
И на ухо шепчет, что в сердце читает.
По-соседски заходит, я и не звал,
Вчера меня сон донимал.

Аспазия: «Сны прекрасны, хотя и не сбываются» [Аспазия].

Райнис: Сегодня мой сон на колени
Ко мне примостился. Как пес,
Все щеку мне лижет
И лапой тяжелой глаза прикрывает,
И на ухо шепчет, что в сердце читает:
жизнь — это сон...
а сон — он все таит.

И лишь одна боль

Сон сей питает.

Аспазия: «Сны прекрасны, хотя и не сбываются» [Аспазия].

Райнис: «Бело-синее небо Севера,

Детства миг случайный...»

Аспазия: Латышский мальчик, льняная головка...

Райнис: «То, что было и будет — прекрасно:

Братья в любви проживут свою жизнь» [Райнис].

Аспазия: «бело-синее небо Севера...»

Райнис: Других я снов хочу...

Аспазия: Легких...

Райнис: Где третий сын бредет по свету...

Аспазия: Находит клад...

Райнис: ...ото сна пробуждаются королевские дочки...

Аспазия: Других я снов хочу...

Райнис: Нежных, легких...

Аспазия: ...Где созревает твой посев...

Райнис: ...И урожай ты собираешь...

Аспазия: ...Где созревает твой посев

И урожай ты собираешь...

Оба: Других я снов хочу!

Райнис: Других снов!

Аспазия: Других снов!

Оба: «Прекрасны сны, хотя и не сбываются.

Аспазия: В сиянии они всплывают, исчезают...

Райнис: Душа горит, и речи умолкают...

Аспазия: «Всего лишь сон, но сердце согревается» [Аспазия].

Оба: Прекрасны сны,
прекрасны, прекрасны, прекрасны.

Райнис: Мы не поедем обратно. Мне вреден латвийский климат.

Аспазия: А я без климата Латвии чахну.

Райнис: Нет и нет. Миленькая моя, будет тебе. Останемся здесь.

Аспазия: Грезы — твоя родина, одни лишь грезы, видения-привидения. Сам уже привидением стал.

Райнис: Кому ты нужна в Латвии? Я-то еще ладно, а ты? Останемся!

Аспазия: Я задыхаюсь тут!

Райнис: Я должен работать! Работать!

Райнис запирается в своей комнате.

Аспазия: Хорошо! Сиди у себя, я у себя посижу. Ты и впрямь — Иосиф. Ты, Янис, упрямый Иосиф, упивайся своей святостью, покуда не осмеян и не растоптан. Поскитаешься еще по Египту!

Райнис распахивает дверь.

Райнис: Смотри! Я не смогу простить!

Аспазия направляется в свою комнату.

Аспазия: Меня простить! Это у меня есть, что тебе прощать!

Райнис запирается в своей комнате, Аспазия в своей. Оба нервно пишут письма.

Пока Райнис и Аспазия говорят, туристы возвращаются, нарочито медленно поднимают письма и направляются к средним дверям.

Райнис: Впредь нас будет разделять тишина, словно смерть, которая не может нас настичь, как бессмертие, которое нас ждет... Твой...

Аспазия: Я проклиная тебя. Пусть брошенные тобой слова вернутся к тебе, чтоб ты дальше первой строки не продвинулся! До судного дня, когда ты все же согласишься вернуться вместе со мной домой — addio bello! [По-итальянски: «Прощай, красавец!»]

Райнис: Addio! [По-итальянски: «Прощай!»]

Райнис и Аспазия каждый выбрасывают по письму, хлопывают дверь. С потолка начинают одно за другим падать письма.

Туристы: Нам другие сны нужны!

Нам другие сны нужны,

нам нужны другие,

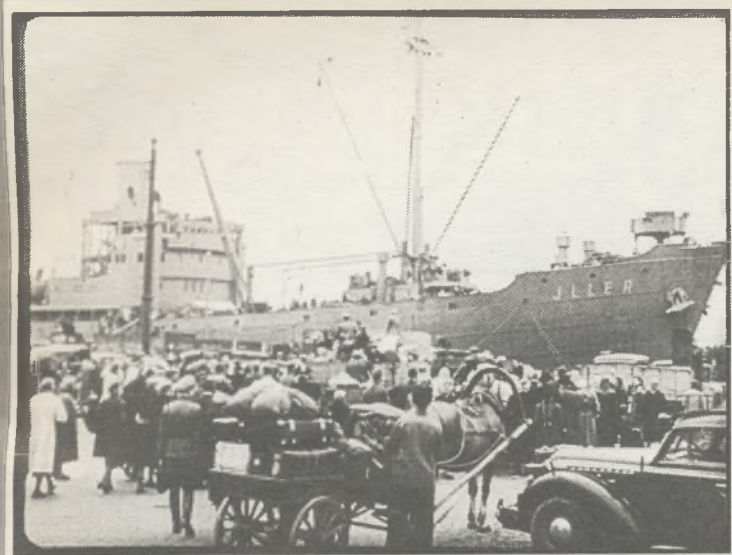
легкие, как пух.

Мы новых снов хотим!

С потолка на туристов падает целая лавина писем.

[Конец первого действия]





50 коп.

Индекс 77110

РОДНИК

ПРОЗА, ПОЭЗИЯ, ДРАМАТУРГИЯ, КУЛЬТУРА, ПУБЛИЦИСТИКА, КРИТИКА

